



НЕВИННЫЙ

СЮЖЕТ ОПАСНО ПОТРЕСКИВАЕТ
ОТ НАПРЯЖЕНИЯ, КАК ТОНКИЙ
ЛЕД ПОД НОГАМИ.

MAIL ON SUNDAY

ИЭН МАКЬЮЭН

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

Annotation

Иэн Макьюэн — один из «правлящего триумvirата» современной британской прозы (наряду с Джулианом Барнсом и Мартином Эмисом), лауреат Букеровской премии за роман «Амстердам».

«Невинный» с трудом поддается жанровому определению. Это и детектив, и психологический триллер, и историческая драма, и — что, пожалуй, самое главное — повесть об истинной любви. Действие романа разворачивается в послевоенном Берлине, на границе между Востоком и Западом. Фоном происходящего служат действительные события, хотя в их реальность верится с трудом — настолько они похожи на жутковатый фарс...

- [Иэн Макьюэн](#)

-

-

-

-

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)

- [14](#)

- [15](#)

- [16](#)

- [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [Эпилог](#)
 - [Примечание автора](#)
 -
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)

- [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
 - [38](#)
 - [39](#)
 - [40](#)
 - [41](#)
 - [42](#)
 - [43](#)
 - [44](#)
 - [45](#)
 - [46](#)
 - [47](#)
-

Иэн Макьюэн

Невинный, или Особые отношения

СЮЖЕТ ОПАСНО ПОТРЕСКИВАЕТ ОТ
НАПРЯЖЕНИЯ, КАК ТОНКИЙ ЛЕД ПОД
НОГАМИ.

MAIL ON SUNDAY



НЕВИННЫЙ

ИЗЕН
МАКЬЮЭН

Санкт-Петербург
ДОМИНО

Москва
ЭКСМО

2008

*Посвящается
Пенни*



Моя работа на главной площадке неоправданно осложнялась еще и тем (неоправданно, потому что сама нора от этого ничего не выигрывала), что как раз в том месте, где согласно моим вычислениям следовало быть этой главной площадке, почва была песчаной и очень рыхлой, и, чтобы создать красиво закругленные своды, ее приходилось тщательно утрамбовывать. Но единственным пригодным для этого инструментом был мой собственный лоб. И вот тысячи раз подряд, целыми днями и ночами я с разбегу бил лбом в эту стену и радовался, когда выступала кровь, поскольку это значило, что стена начинает уплотняться; таким образом, всякий должен признать, что я дорого заплатил за свою площадку.

Франц Кафка. «Нора»

После обеда мы посмотрели очень милый фильм: Боба Хоупа в «Принцессе и пирате». Потом мы посидели в Большом зале, слушая «Микадо»^[1], — граммофон играл чересчур медленно. Премьер-министр сказал, что это приводит на память «викторианскую эру, восемьдесят лет, которые стоят в истории нашего острова так же высоко, как эпоха Антонинов». Теперь же, однако, на нас пала «тень

победы»... После этой войны, продолжал премьер-министр, мы будем слабы, у нас не будет ни денег, ни сил и мы окажемся между двумя могучими державами, США и СССР.

Ужин с Черчиллем в его летней резиденции, через десять дней после Ялтинской конференции.

Джон Колвилл. «На обочинах власти: дневники с Даунинг-стрит, 1939–1955»

Говорил в основном лейтенант Лофтинг.

— Послушайте, Марнем. Вы только что приехали, откуда вам знать, какая тут жизнь. Немцы и русские нам не мешают. Французы тоже. А вот с американцами беда. Они ни в чем толком не разбираются. Хуже того — не хотят учиться, не хотят ничего слушать. Так уж они устроены.

Леонарду Марнему, служащему Министерства почт, ни разу не доводилось беседовать с американцем, но он хорошо изучил эту нацию в своем местном одеоне. Он улыбнулся, не размыкая губ, и кивнул. Потом достал из внутреннего кармана пальто посеребренный портсигар. Лофтинг поднял ладонь — жест, напоминающий индийское приветствие, — заранее отказываясь от угощения. Леонард положил ногу на ногу, вынул сигарету и постучал ее кончиком по крышке портсигара.

Рука Лофтинга метнулась над столом; в ней вспыхнула зажигалка, отрегулированная на максимальное пламя. Он снова заговорил, когда молодой штатский опустил голову, прикуривая.

— Вы же понимаете, что есть уйма совместных проектов, общие фонды, ноу-хау и тому подобное.

Но разве американцы знакомы хотя бы с азами коллективной работы? Сначала они соглашаются, а потом поступают, как им нравится. Действуют у нас за спиной, утаивают информацию, говорят с нами сверху вниз, как с недоумками. — Лейтенант Лофтинг поправил журнал, который был единственным предметом на его жестяном столе. — Нет, рано или поздно правительство будет вынуждено принять меры. — Леонард открыл было рот, но Лофтинг остановил его взмахом руки. — Вот вам пример. Я как представитель британской стороны отвечаю за подготовку соревнования по плаванию между секторами, которое состоится в следующем месяце. Никто не возьмется спорить с тем, что у нас, на городском стадионе, самый лучший бассейн. Естественно было бы организовать встречу там. Американцы согласились несколько недель назад. Но где же, по-вашему, будет проводиться соревнование? На юге, в их секторе, в какой-то грязной луже. И знаете почему?

Лофтинг проговорил еще минут десять. Когда все предательства американцев в подготовке спортивной встречи получили должное освещение, Леонард сказал:

— У майора Шелдрейка было для меня какое-то оборудование и секретные инструкции. Вы об этом ничего не знаете?

— Я хотел к этому перейти, — резко сказал лейтенант. Он сделал паузу, как бы собираясь с духом. Когда он заговорил снова, его голос едва не срывался от раздражения. — Между прочим, меня отправили сюда только затем, чтобы дожидаться вас. Когда пришло сообщение от майора Шелдрейка, было запланировано, что я получу от него все, что нужно, и передам дальше. Но сложилось так — я тут ни при чем, — что между отъездом майора Шелдрейка и моим прибытием прошло двое суток.

Он помолчал. Казалось, он заранее тщательно подготовил это объяснение.

— Очевидно, янки подняли черт знает какой шум, хотя груз, доставленный по железной дороге, был заперт в охраняемом помещении, а ваши запечатанные инструкции лежали в сейфе нашей штаб-квартиры. Они потребовали, чтобы кто-нибудь лично отвечал за все имущество в любое время. К нам пошли звонки от бригадира, который получил распоряжение из генштаба. Никто ничего не смог возразить. Они приехали на грузовике и забрали все — груз, конверт, все подчистую. Потом приехал я. И мне приказали ждать вас, что я и делал пять дней, убедиться, что вы тот, за кого себя выдаете, объяснить вам ситуацию и дать вот этот контактный адрес.

Лофтинг вынул из кармана почтовый конверт и протянул его над столом Леонарду. Одновременно с этим Леонард вручит ему свои верительные грамоты. Лофтинг помедлил. У него в запасе оставалось еще одно неприятное известие.

— И вот что. Теперь, когда ваше добро, не знаю уж, что там у вас, передано им, вы отправляетесь следом. Вас тоже передали. Пока что командовать вами будут они. Вы будете слушаться их приказов.

— Я готов, — сказал Леонард.

— По-моему, вам крупно не повезло.

Выполнив свой долг, Лофтинг встал и пожал ему руку.

Армейский шофер, который сегодня же привез Леонарда из аэропорта Темпельхоф, ждал его на автостоянке у Олимпийского

стадиона. Выделенная Леонарду квартира была в нескольких минутах езды отсюда. Капрал открыл багажник крохотного автомобильчика защитного цвета, но явно не считал, что в его обязанности входит доставать чемоданы.

Номер двадцать шесть по Платаненаллее был современным зданием с лифтом в вестибюле. Квартира Леонарда находилась на четвертом этаже и состояла из двух спален, большой гостиной, столовой, совмещенной с кухней, и ванной. В Тотнеме Леонард жил с родителями и каждый день ездил электричкой на Доллис-хилл. Он прошелся по комнатам, зажигая везде свет. Тут имелись разнообразные новшества. Был большой радиоприемник с кремowymi кнопками и телефон на одном из целого комплекта маленьких столиков, вставляющихся друг в друга. Рядом лежал план Берлина. Мебель была армейского производства: гарнитур из трех предметов, обитых материей с невнятным цветочным узором, пуф с кожаными кисточками, торшер, стоящий не совсем вертикально, а у дальней стены гостиной — бюро на толстых гнутых ножках. Леонард выбрал себе спальню и с удовольствием, не спеша распаковал вещи. Его собственный дом. Он не ожидал, что это будет так приятно. Он повесил свои костюмы — самый лучший, чуть похуже и серый, на каждый день, — в стенной шкаф, дверца которого отъезжала в сторону от легкого толчка. Шкатулка для сигарет, прощальный подарок родителей — внутри тиковое дерево, снаружи серебряное покрытие с гравировкой, его инициалами, — заняла почетное место на бюро. Рядом с ней расположилась тяжелая настольная зажигалка в форме неоклассической урны. Будут ли у него когда-нибудь гости?

Только устроив все по своему вкусу, он позволил себе усесться в кресло под торшером и вскрыть конверт. Его ждало разочарование. Внутри оказался бумажный листок, вырванный из блокнота. Адреса на нем не было — только имя, Боб Гласс, и берлинский телефонный номер. Он думал развернуть на обеденном столе план города, найти место, выбрать маршрут. А теперь придется выслушивать указания от незнакомого американца, да еще по телефону, которым он, несмотря на свой род службы, пользоваться не привык. У его родителей телефона не было, у друзей тоже, а на работе необходимость позвонить возникала редко. Пристроив на колене лист бумаги, он старательно

набрал номер. Он знал, как полагается говорить в трубку. Спокойно, уверенно: *Леонард Марнем на проводе. Вы ждали моего звонка?*

На другом конце линии сразу же выпалили: «Гласс слушает!»

Леонард мгновенно скатился к типичной английской манере, которой так хотел избежать в разговоре с американцем. Он промямлил:

— Алло, здравствуйте, извините за беспокойство, я...

— Это Марнем?

— Вообще-то да. Леонард Марнем на проводе. Вас, наверно...

— Записывайте адрес. Ноллендорфштрассе, десять, это около Ноллендорфплац. Будьте у меня завтра в восемь утра.

Отбой дали, когда Леонард повторял адрес как можно более дружелюбным тоном. Это было весьма неприятно. Несмотря на отсутствие свидетелей, он покраснел от смущения. Заметив себя в зеркале, он беспомощно подошел ближе. Его очки, в желтоватых пятнах от испарений телесного жира — такова, во всяком случае, была его теория, — по-дурацки оседлали нос. Когда он снял их, ему показалось, что в лице чего-то не хватает. На переносице с обеих сторон остались красные метки, точно щербины в самой кости. Надо привыкнуть обходиться без очков. То, что ему действительно нужно рассматривать, будет на достаточно близком расстоянии. Схема электрической цепи, нить накала в лампочке, другое лицо. Девичье. Хватит с него домашнего уюта. Он снова начал бродить по своим новым владениям, снедаемый неподконтрольными желаниями. Наконец он принудил себя сесть за обеденный стол, чтобы написать письмо родителям. Такие вещи всегда давались ему с трудом. Он набирал в грудь воздуха в начале каждой фразы и с шумом выпускал его в конце.

Дорогие мама и папа, добираться сюда было утомительно, но все прошло нормально! Я прилетел сегодня в четыре часа. У меня хорошая квартира с двумя спальнями и телефоном. Я еще не видел тех, с кем придется работать, но думаю, в Берлине мне понравится. Здесь идет дождь и дует ужасный ветер. Много развалин, это даже в темноте видно. Я еще не пробовал говорить по-немецки...

Вскоре голод и любопытство выгнали его под открытое небо. Он запомнил маршрут по карте и отправился на восток, к Райхсканцлерплац. В День победы Леонарду было четырнадцать — вполне довольно для того, чтобы успеть забить себе голову названиями и характеристиками боевых самолетов, кораблей, танков и пушек. Он следил за высадкой войск в Нормандии и их продвижением на восток по Европе, а до этого — на север по Италии. Только сейчас он стал забывать названия крупнейших битв. Ни один молодой англичанин, впервые приехавший в Германию, не мог не думать о ней как о стране, потерпевшей поражение, и не испытывать гордости победителя. Во время войны Леонард жил с бабушкой в валлийском поселке, над которым ни разу не пролетел вражеский самолет. Он никогда не держал в руках винтовки, а выстрелы слышал разве что в тире; несмотря на это, а также на то, что город освободили русские, он шагал по этому приятному жилому району Берлина (ближе к ночи ветер утих и заметно потеплело) уверенным шагом собственника, точно в такт речи Черчилля.

Насколько он мог судить, здесь проводились интенсивные работы по восстановлению городского хозяйства. Улицу только что заасфальтировали, а вдоль нее высадили стройные молодые платаны. Многие участки, на которых находились разрушенные дома, были расчищены. Землю разровняли, а старые кирпичи, с которых была сколота известка, сложили аккуратными штабелями. Новые дома, как и его собственный, не уступали в основательности постройкам прошлого века. В конце улицы он услышал голоса английских детей. Это возвращался к себе британский военный летчик с семьей — еще одна утешительная черточка в жизни покоренного города.

Он вышел на Райхсканцлерплац, огромную и пустынную. В охристом свете недавно воздвигнутых бетонных фонарей он увидел развалины величественного здания, от которого уцелела лишь нижняя часть стены с дырами окон первого этажа. Короткая лестница в центре вела к огромному входу с фронтоном, украшенному замысловатой каменной лепниной. Двери — должно быть, чрезвычайно массивные — были сорваны напроць, и в проеме время от времени вспыхивали фары машин, проезжающих по соседней улице. Трудно было не почувствовать мальчишеского восхищения при мысли о тысячах снарядов, сорвавших с домов крыши, разметавших по сторонам все их

содержимое и оставивших только фасады с зияющими окнами. Двенадцать лет назад он, наверное, раскинул бы руки, загудел, подражая двигателю, и на ми-нуту-другую превратился в совершающий победный рейд бомбардировщик. Он свернул в переулок и нашел *Eckkneipe*^[2].

В закуской стоял гул от голосов пожилых людей. Все посетители были не моложе шестидесяти, однако на Леонарда никто не обратил внимания, и он уселся за столик. Абажуры из пожелтевшей пергаментной бумаги и густой сигарный дым обеспечивали ему защиту от нескромных глаз. Он смотрел, как бармен наливает пиво, заказанное им с помощью тщательно отрепетированной фразы. Кружка была наполнена, поднимающаяся пена снята лопаточкой, затем кружку долили и дали пиву отстояться. Потом вся процедура повторилась. Лишь через десять минут бармен счел, что напиток доведен до нужной кондиции и его можно подавать. Изучив короткое меню, написанное готическим шрифтом, Леонард опознал и заказал *Bratwurst mit Kartoffelsalat*^[3]. Он запнулся, произнося эти слова. Официант кивнул и тут же отошел, словно боясь услышать, как коверкают его родной язык при новой попытке.

Леонард еще не был готов вернуться в тишину своей квартиры. Поев, он заказал вторую кружку пива, затем третью. Постепенно его внимание стала притягивать беседа троих мужчин за соседним столиком. Они говорили все громче. Леонард волей-неволей вслушивался в рокот голосов, которые сталкивались будто в стремлении не опровергнуть, а подчеркнуть точку зрения собеседника. Поначалу он улавливал только цельные, сливающиеся сочетания слогов и гласных, настойчивый рваный ритм, замедленную сочность немецкой речи. Но к концу третьей кружки его немецкий явно улучшился, и он уже различал отдельные слова, смысл которых доходил до него после секундного размышления. На четвертой он стал понимать некоторые словосочетания, поддающиеся мгновенной расшифровке. Учтя задержку на подготовку следующей порции, он заказал еще пол-литра. Именно на пятой кружке его немецкий совершил рывок вперед. Он уверенно распознал слово *Tod*, смерть, а чуть позже — *Zug*, поезд, и глагол *bringen*. Он услышал, как кто-то устало обронил во время паузы слово *manchmal*, иногда. *Иногда такие вещи бывают необходимы.*

Разговор снова набрал темп. Было ясно, что он подогревается взаимным хвастовством. Проявить нерешительность значило быть отмененным в сторону. Перебивали свирепо, каждый голос звучал со все более яростной настойчивостью, козыряя еще более броскими примерами, чем его предшественник. Освобожденные от угрызений совести пивом вдвое крепче английского эля, которое подавали в кружках немногим меньше пинты, эти люди пускались в откровенности, когда им следовало бы корчиться от ужаса. Они разглашали правду о своих кровавых деяниях по всему бару. *Mit meinen blossen Händen!* Моими собственными руками! Каждый проламывал себе путь к очередному рассказу, а его товарищи только и ждали случая, чтобы перехватить инициативу. Слышались издевательские реплики, злобное поощрительное ворчание. Остальные посетители закусочной, сгорбившиеся за своими разговорами, по-видимому, ничего не замечали. Один лишь бармен время от времени поглядывал в сторону троицы, несомненно, проверяя состояние их кружек. *Eines Tages werden mir alle dafür dankbar sein.* Придет день, и все меня за это поблагодарят. Когда Леонард встал и бармен подошел к нему сосчитать карандашные метки на его салфетке, он не удержался и посмотрел на своих соседей. Они были старше и щедушнее, чем он думал. Один из них заметил его, и двое других повернулись на своих стульях. Первый, с театральным радушием заправского пьяницы, поднял кружку. «Na, junger Mann, bist wohl nicht aus dieser Gegend, wie? Komm her und trink einen mit uns. Ober!»^[4] Но Леонард отсчитывал марки в руку бармена и притворился, что не слышит.

На следующее утро он встал в шесть часов и принял душ. Не торопясь выбрал одежду, поразмыслив над оттенками серого и насыщенностью белого. Он надел свой второй по качеству костюм, но потом снял его. Он не хотел выглядеть в том же духе, в каком говорил по телефону. Юноша в треугольной манишке и сверхтолстом жилете, утепленном его матерью, стоящий перед гардеробом, где висели три костюма и твидовый пиджак, смутно ощутил притягательность американского стиля. У него мелькнула мысль, что в закоснелости манер и впрямь есть что-то смешное. То английское, что было естественным для предыдущего поколения, теперь воспринималось как обуза. Оно делало его уязвимым. Американцам же с легкостью удавалось быть самими собой. Он выбрал спортивную куртку и ярко-

красный вязанный галстук, который почти спрятался под его домашним свитером с глухим воротом.

В доме номер десять по Ноллендорфштрассе, высоком узком здании, шел ремонт. Рабочим, которые отделяли вестибюль, пришлось отодвинуть стремянки, чтобы пропустить Леонарда на лестницу. Верхний этаж уже отремонтировали и застелили коврами. На его площадку выходили три двери. Одна из них была приотворена. Леонард услышал за ней жужжание. Перекрывая его, изнутри крикнули: «Это вы, Марнем? Заходите, не стойте там».

Он вошел в комнату, которая была чем-то средним между спальней и кабинетом. На одной стене, над неубранной постелью, висела большая карта города. Гласс сидел на заваленном вещами столе и подравнивал бороду электрической бритвой. Свободной рукой он размешивал растворимый кофе в двух кружках с кипятком. На полу стоял электрический чайник.

— Садитесь, — сказал Гласс, — Бросьте рубашку на кровать. Сахару сколько? Две?

Он насыпал сахару из бумажного пакета, сухого молока из банки и разболтал все это так энергично, что кофе выплеснулся на лежащие рядом бумаги. Когда напиток был готов, он выключил бритву и протянул Леонарду одну кружку. Пока Гласс застегивал рубашку, Леонард мельком увидел его кряжистое тело и жесткие черные волосы, которые росли даже на плечах. Американец застегнул воротник, тесно облегающий его толстую шею. Потом взял со стола галстук на резинке, который не надо было завязывать, и нацепил его одним махом. Он не совершал лишних движений. Он снял со стула пиджак и надел его, подходя к карте. Пиджак был темно-синий, помятый и кое-где вытертый до блеска. Леонард наблюдал. Есть способы носить одежду, которые совершенно ее обесценивают. Ты можешь носить что угодно.

Гласс стукнул по карте тыльной стороной ладони.

— Видели город?

На всякий случай, чтобы избежать очередного «если честно, вообще-то нет», Леонард покачал головой.

— Я только что смотрел отчет. Между прочим, там написано — хотя и так можно было догадаться, но тем не менее, — что от пяти до десяти тысяч здешних жителей работают в разведке. Это не считая

резерва. Только активно действующие. Шпионы. — Он откинул назад голову и нацелил бороду на Леонарда; потом опустил ее, удовлетворившись его реакцией, — Большинство из них добровольцы, люди, подрабатывающие этим от случая к случаю, дети — мальчишки, которые околачиваются в барах в надежде сшибить сотню марок. За пару кружек пива они продадут вам информацию. И купят тоже. Вы были в кафе «Прага»?

— Нет еще.

Гласс уже шагнул обратно к столу. Карта ему, собственно говоря, и не понадобилась.

— Там прямо чикагская фондовая биржа. Стоит взглянуть.

Он был дюймов на семь ниже Леонарда — примерно пять футов шесть дюймов. Он казался закупоренным в свой костюм. Он улыбался, но выглядел так, словно готов был разнести комнату. Усевшись, он громко хлопнул себя по колену и сказал: «Ну! С приездом!» На голове у него тоже росли жесткие темные волосы. Они начинались довольно высоко и были зачесаны назад, что придавало ему вид лобастого карикатурного ученого на сильном ветру. Однако борода его, напротив, выглядела инертной, свет терялся в ее массе. Она клином торчала вперед, как борода деревянного Ноя.

Из другой квартиры, через открытую дверь, потянуло сортирным запахом подгорелого хлеба. Гласс вскочил, захлопнул дверь ногой и вернулся на место. Потом как следует глотнул кофе, который показался Леонарду таким горячим, что он его едва пригубил. Напиток отдавал вареной капустой. Чтобы его пить, надо было сосредоточиться на сладости.

Не вставая со стула, Гласс подался вперед.

— Итак, что вам известно?

Леонард сообщил о своей встрече с Лофтингом. Его голос казался ему самому тонким и неестественным. Из уважения к Глассу он смягчал «т» и старался произносить «а» чуть иначе, на американский манер.

— Но вы не знаете, что это за оборудование и какие испытания вы должны проводить?

— Нет.

Гласс откинулся на спинку стула и сцепил руки на затылке.

— Тупица Шелдрейк. Вожжа под хвост попала, как только повышение получил. Он не оставил ответственного за ваше хозяйство. — Гласс сочувственно глянул на Леонарда. — Англичане есть англичане. Эти ребята на своем стадионе ничего не принимают всерьез. Слишком заняты тем, чтобы изображать из себя джентльменов. Тут уж не до работы.

Леонард не ответил. Он решил проявить патриотизм.

Гласс отсалютовал ему кружкой с кофе и улыбнулся.

— Но вы-то, технари, по-другому устроены, а?

— Возможно.

В этот миг зазвонил телефон. Гласс схватил трубку, послушал с полминуты, затем сказал: «Нет. Я сейчас еду». Он положил трубку и поднялся. Взяв Леонарда за руку, он повлек его к двери.

— Так вы ничего не знаете о складе? Никто не говорил вам об Альтглинике?

— Боюсь, что нет.

— Мы едем туда.

Они вышли на площадку. Гласс запер дверь тремя ключами. Он качал головой, улыбаясь себе под нос, и бормотал: «Ох уж эти англичане, этот Шелдрейк, безмозглый кретин».

Машина разочаровала Леонарда. По дороге от метро к Ноллендорфштрассе он видел пастельный американский автомобиль с хвостовыми стабилизаторами и множеством хромированных деталей. У Гласса оказался «жук» мышиного цвета, выглядевший так, словно его облили кислотой, хотя ему вряд ли исполнился год. Краска была шершавой на ощупь. Из салона удалили всю отделку: пепельницы, коврики, пластмассовые накладки с дверных ручек, даже набалдашник рычага переключения передач. Глушитель то ли отсутствовал, то ли был намеренно испорчен, чтобы сделать автомобиль полноценным образчиком серьезной военной техники.

Сквозь идеально круглую дырку в полу проглядывал кусок дорожного покрытия. Сидя в этой холодной, гулкой жестяной банке, они с ревом ползли под мостами вокзала Анхальтер. Гласс включил четвертую передачу и вел машину как автомат — видимо, такова была его обычная манера. На девятнадцати милях в час кузов трясся невыносимо. Их продвижение вперед было не робким, но властным: Гласс сжимал верх руля обеими руками и свирепо озирал прохожих и других водителей. Его борода стояла торчком. Он был американец в американском секторе.

Когда они выбрались на более широкую Гнайзенауштрассе, Гласс разогнался до двадцати пяти миль в час и, сняв правую руку с руля, положил ее на рычаг переключения передач.

— Сейчас, — крикнул он, усаживаясь в кресле поглубже, как пилот реактивного самолета, — мы едем на юг, в Альтглинике. Мы построили радиолокационную станцию в двух шагах от русского сектора. Слыхали об АН/АПР-девять? Нет? Это усовершенствованный локатор. Совсем рядом, в Шёнефельде, советская авиабаза. Будем ловить их сигналы.

Леонард встревожился. Он ничего не понимал в радарх. Его специальностью были телефоны.

— Ваши приборы хранятся там. Будете проверять оборудование. Если что понадобится, говорите мне, ладно? И никому больше. Все ясно?

Леонард кивнул. Он упорно смотрел вперед, думая, что произошла страшная ошибка. Однако он знал по опыту, что без крайней необходимости не стоит делиться своими сомнениями относительно рабочей процедуры. Немногословный работник делает — или кажется, что делает, — меньше ошибок.

Перед ними загорелся красный свет. Гласс сбросил скорость до пятнадцати, выжал сцепление и не отпускал педали, пока автомобиль не остановился. Потом он выключил передачу и повернулся направо, лицом к своему молчаливому пассажиру.

— Ну же, Марнем. Леонард. Ради Христа, расслабьтесь. Поговорите со мной. Скажите что-нибудь, — Леонард хотел было сказать, что ничего не понимает в радарах, но Гласс разразился серией негодующих вопросов: — Женаты вы или нет? Где вы учились? Что любите? О чем думаете? — Его прервало появление зеленого света и необходимость найти первую передачу.

Привыкший к аккуратности Леонард принялся отвечать на вопросы по порядку.

— Нет, я не женат. И пока не собираюсь. Я все еще живу с родителями. Закончил Бирмингемский университет, где изучал электронику. Вчера вечером я обнаружил, что люблю немецкое пиво. А думаю я о том, что, если вам нужен специалист по наладке радиолокаторов...

Гласс поднял руку.

— Мне можете не говорить. Все из-за этого кретина Шелдрейка. Мы едем не на радиолокационную станцию, Леонард. Вы это знаете. Я это знаю. Но у вас еще нет допуска третьей степени. Так что мы едем на локационную станцию. Самая дрянь, чистое унижение, начнется у ворот. Нас не будут пускать. Но это мои трудности. Вы любите девушек, Леонард?

— Если честно, то, пожалуй, да.

— Отлично. Сегодня вечером что-нибудь придумаем.

Через двадцать минут они выехали из пригорода на унылую, пустынную равнину. Потянулись широкие бурые поля с межевými канавами, заросшими мокрой путаной травой; однообразие нарушали лишь редкие деревья и телеграфные столбы. Фермерские дома жались к своим участкам, повернувшись спиной к дороге. Грязные проселки вели к недостроенным домам, зародышам будущих пригородов.

Посреди одного поля торчал даже огрызок многоквартирного жилого блока. Немного дальше, прямо у обочины, стояли лачуги из старых досок и бревен, крытые рифленным железом, — здесь, объяснил Гласс, жили беженцы с Востока.

Они свернули на дорогу поуже, которая перешла в проселок. Налево вела дорога со свежим покрытием. Гласс откинул голову назад и показал бородой. В двухстах ярдах от них, вначале едва заметная на фоне облетевшего сада, появилась их станция. Она состояла из двух главных строений. Одно было двухэтажным, со слегка покатой крышей, другое — низкое и серое, приткнувшееся к первому под углом — напоминало барак. Его окна, расположенные в один ряд, видимо, были заделаны кирпичом. На крыше этого второго здания скучились четыре шара, два больших и два маленьких, похожие на толстого человечка, раскинувшего в стороны толстые ручки. Около них торчали радиомачты, вычертившие красивый геометрический узор в унылом бледном небе. Были видны временные постройки, кольцевая служебная дорога, а за двойной оградой по всему периметру начиналась голая земля. У второго здания стояли три армейских грузовика, а вокруг, должно быть разгружая их, сустились люди в комбинезонах.

Гласс свернул на обочину и остановился. Путь им преграждал шлагбаум, перед которым, наблюдая за ними, стоял часовой.

— Я объясню вам, что такое первая степень. Армейскому инженеру, который строил это, было сказано, что он возводит склад, обычный военный склад. По инструкциям ему положено иметь подвальный этаж высотой в двенадцать футов. То есть глубиной. Это значит вынуть черт знает сколько земли, вывезти ее на самосвалах, найти подходящее место и прочее. Так в армии склады не строят. Поэтому командир отказывается работать без прямого распоряжения из Вашингтона. Тогда его отводят в сторонку, и тут он узнает, что существуют степени допуска и ему только что присвоили вторую. Здесь будет вовсе не склад, говорят ему, а радиолокационная станция, и глубокий подвал необходим для спецоборудования. Он, довольный, принимается за работу. Считает себя единственным строителем, которому известно что к чему. Но он ошибается. Будь у него третья степень допуска, он знал бы, что это вовсе не радиолокационная станция. Если бы Шелдрейк вас проинформировал, вы бы тоже знали.

И я знаю, но не имею права дать вам соответствующий допуск. В чем вся суть: каждый думает, что у него допуск высшей степени, какая вообще имеется, каждый считает, что знает всю подоплеку. Вы узнаете о более высокой степени, только когда ее получаете. Может, есть и четвертая. Не вижу, зачем она нужна, но я узнаю о ней, только когда мне ее дадут. А у вас...

Гласс остановился. Второй часовой вышел из будки и махнул им, приглашая подъехать. Гласс заговорил быстро:

— У вас вторая степень, но вы знаете, что есть третья. Это выброс, внештатная ситуация. Так что я вполне могу вам все рассказать. Но сначала мне надо обезопаситься.

Гласс подал машину вперед и опустил стекло. Он вынул из бумажника пропуск и протянул его часовому. Двое сидящих в машине уткнулись взглядом в пуговицы около пояса солдатской шинели.

Потом в окне появилось широкое дружелюбное лицо; глядя поверх коленей Гласса, часовой обратился к Леонарду:

— Ваши документы, сэр?

Леонард вынул из кармана рекомендательные письма, которыми его снабдили в исследовательской лаборатории на Доллис-хилл. Но Гласс пробормотал: «Только не это» — и отпихнул письма обратно, не дав часовому взять их. Потом он сказал:

— Отойди, Гови. Я вылезаю.

Вдвоем они зашагали к будке. Другой часовой, занявший пост перед шлагбаумом, держал винтовку перед собой, словно готовый отдать салют. Он кивнул проходящему мимо Глассу. Гласс и первый часовой вошли в будку. В открытую дверь было видно, как Гласс разговаривает по телефону. Через пять минут он вернулся и сунул голову в окно.

— Придется пойти туда объяснить, — Он уже отправился было к станции, но передумал и снова сел в машину, — И еще одно. Эти ребята у ворот ничего не знают. Даже про склад. Им просто велено охранять секретный объект. Они могут знать, кто вы, но не должны знать, что вы делаете. Так что лучше не показывайте свои письма кому попало. И вообще, давайте-ка их сюда. Я их суну в бумагорезку.

Гласс с силой захлопнул дверцу и зашагал прочь, на ходу запихивая в карман рекомендации Леонарда. Он нырнул под шлагбаум и направился к двухэтажному зданию.

После его ухода Альтглинике объяла тоскливая воскресная тишина. Часовой по-прежнему стоял посередине дороги. Его напарник сидел в будке. За проволоочной оградой все замерло. Грузовиков Леонард не видел — их закрывал угол низкого здания. Единственным звуком было неравномерное потрескивание металла. Это остывал жестяной кузов автомобиля. Леонард поплотнее запахнулся в свое габардиновое пальто. Ему хотелось выйти и размяться, но его смущал часовой. Поэтому он ждал, хлопая для согрева руками и стараясь держать ноги подальше от металлического пола.

Через некоторое время боковая дверь низкого здания отворилась, и оттуда вышли двое. Один из них повернулся, чтобы запереть дверь. В обоих мужчинах было футов по шесть с лишним. Стриженные ежиком, в свободных штанах защитного цвета и серых теннисках навыпуск, они точно не замечали холода. Расходясь в стороны, они стали перекидываться оранжевым мячом для регби. Они шли до тех пор, пока мяч не начал описывать гигантскую дугу, красиво вращаясь вокруг своей продольной оси. Это совсем не походило на обычное вбрасывание мяча двумя руками; это были подачи одной рукой, мощные, резкие движения из-за плеча. Леонард никогда раньше не видел, как играют в американский футбол, и не представлял себе этого даже с чужих слов. Эта привычная разминка с эффектным приемом мяча высоко, на уровне ключицы, выглядела чересчур нарочитой, в ней сквозило слишком много самолюбования для какой бы то ни было серьезной игры. Это была явная демонстрация физической удачи. Взрослые люди рисовались, как мальчишки. Их единственный зритель, англичанин в стилой немецкой машине, следил за ними с отвращением, но не в силах оторваться. Не было ровно никакой необходимости картинно откидывать левую руку в сторону перед каждой подачей или испускать идиотские кличи при ответном броске партнера. Но оранжевый шар парил в воздухе на волне этой свободной, ликующей мощи; и чистота его полета на фоне белого неба, безупречная симметрия его параболической траектории, уверенность, что мяч будет принят без осечки, были почти прекрасны, они как бы невольно опровергали все окружающее — бетон, двойную ограду с похожими на рогатки столбами, холод.

Леонарда завораживало и раздражало именно то, что эти двое взрослых так откровенно забавляются. Английские военные, любители

крикета, дождались бы общей тренировки, включенной в расписание, или в крайнем случае устроили игру экспромтом, но по правилам. Это же было чистое щегольство, ребячество. Они продолжали играть. Через пятнадцать минут один из них посмотрел на часы. Они направились к боковой двери, отперли ее и скрылись внутри. Минуту-другую после этого их отсутствие висело в воздухе над чахлой прошлогодней травой между оградой и низким зданием. Потом оно растворилось.

Часовой прошел вдоль полосатого шлагбаума, заглянул в будку к напарнику, потом вернулся на место и потопал ногами по бетону. Еще через десять минут из двухэтажного здания выскочил Боб Гласс. Рядом с ним шагал офицер американской армии. Они нырнули под шлагбаум, обогнув часового с обеих сторон. Леонард собрался вылезти из машины, но Гласс жестом велел ему открыть окно. Он представил военного как майора Эйнджелла. Потом он отступил назад, майор нагнулся к окну и сказал: «Добро пожаловать, молодой человек!» У него было длинное осунувшееся лицо, выбритое так тщательно, что щеки приобрели зеленоватый оттенок. На руках у майора были кожаные перчатки; он протянул Леонарду его документы.

— Спас от бумагорезки. — Он шутливо понизил голос. — Похоже, Боб малость завидует. Вы их лучше с собой не носите. Пускай лежат дома. Мы вам выдадим пропуск. — Холодную машину наполнил запах лосьона. Он походил на аромат лимонной шипучки. — Я дал Бобу разрешение познакомиться вас с нашим хозяйством. Но я не имею права приказывать часовым по телефону даже в особых случаях, так что пришлось выйти к ним самому.

Он отправился к будке. Гласс сел за руль. Шлагбаум подняли, и когда их машина проезжала ворота, майор в шутку отдал им честь, поднеся к виску только один палец. Леонард хотел было помахать в ответ, но решил, что это будет выглядеть по-дурацки, уронил руку и выдавил из себя улыбку.

Они затормозили около армейского грузовика перед двухэтажным зданием. Где-то за углом стучал дизельный генератор. Вместо того чтобы повести Леонарда ко входу, Гласс взял его под локоть и повернул к ограде; пройдя с ним по траве несколько шагов, он указал наружу. Ярдах в ста от ограды, за полем, на них смотрели в бинокль двое солдат.

— Русский сектор. Эти ребята с нас глаз не сводят. Очень интересуются нашей станцией. Отмечают всех, кто здесь появляется, все, что привозят и увозят. Вас они в первый раз видят. Если засекут, что вы появляетесь каждый день, наверно, дадут вам кодовое имя. — Они зашагали обратно к машине. — Так что первое правило: всегда держитесь как человек, пришедший на радиолокационную станцию.

Леонард хотел было спросить о людях, игравших в мяч, но Гласс уже потащил его за угол дома, говоря через плечо:

— Я думал проводить вас к вашим приборам, но это, в конце концов, подождет. Посмотрите, что тут делается. — Они завернули за угол и прошли между двумя ревущими передвижными генераторами. Гласс пропустил Леонарда в дверь, за которой был короткий коридор, а в конце его — следующая дверь с надписью: «Только для персонала». За ней действительно оказался склад — огромное помещение с бетонным полом, где тускло светили голые лампочки, рядами висящие на стальных прогонах. В запертых металлических отсеках лежали разнокалиберные деревянные ящики. Один конец склада был расчищен, и Леонард увидел там автопогрузчик, разворачивающийся на заляпанном маслом полу. Он пошел за Глассом вдоль отсеков с ящиками, на боках которых стояли трафаретные надписи: «Осторожно! Хрупкое оборудование».

— Остатки вашего добра еще здесь, — сказал Гласс, — но основная его часть уже в вашей комнате.

Леонард не задавал вопросов. Было ясно, что Гласс получает удовольствие от постепенного раскрытия тайны. Они встали на краю свободного пространства, наблюдая за погрузчиком. Там, где он остановился, лежали ровные штабеля изогнутых стальных секций около фута шириной и трех длиной. Их были десятки, если не сотни. Погрузчик как раз поднимал несколько штук.

— Это стальные облицовочные листы. Облитые каучуковым раствором, чтобы не гремели. Пойдем за ними, — Они пошли за погрузчиком, который начал спускаться в подвал по специальному пандусу. Водитель, маленький мускулистый человечек в армейском комбинезоне, повернулся и кивнул Глассу. — Это Фриц. Мы их всех зовем Фрицами. Человек Гелена^[5]. Слыхали про такого? — Леонард хотел ответить, но у него перехватило горло от запаха, поднимающегося снизу им навстречу. Гласс продолжал: — Фриц был

нацистом. Как и большинство людей Гелена, но этот жуть что творил, — Заметив реакцию Леонарда на запах, он откликнулся на нее сконфуженной улыбкой — ни дать ни взять польщенный хозяин. — Об этом после расскажу. Тут целая история.

Нацист отогнал автопогрузчик в дальний угол подвала и выключил двигатель. Леонард остановился у подножия пандуса рядом с Глассом. Запах шел от кучи земли, которая занимала две трети подвального помещения и почти достигала потолка. Леонард вспомнил свою бабушку — точнее, не ее саму, а уборную, стоявшую у нее в саду под вековой сливой. Там, как и здесь, царил полумрак. Деревянное сиденье было гладким, оттертым чуть ли не до белизны. Именно такой запах поднимался оттуда — вовсе не столь уж неприятный, противный разве что летом. Это был запах земли, влажной гнили и экскрементов, не полностью нейтрализованных химикатами.

— Сейчас еще ничего, было хуже, — сказал Гласс.

Погрузчик стоял у края ярко освещенной ямы. Она была двадцати футов глубиной и примерно такого же диаметра. К одной из свай, вбитых в пол шахты, был привинчен железный трап. Внизу, в стене шахты, зияло круглое черное отверстие — вход в туннель. Туда тянулись проведенные сверху кабели и провода. Там была и вентиляционная труба, которая шла от громко гудящего пневмонасоса, задвинутого к дальней стене подвала. Леонард увидел полевые телефонные линии, толстый пук электрокабелей и заляпанный цементом шланг, идущий от другого механизма, поменьше, который молчаливо темнел рядом с первым.

Около ямы стояли группой четверо или пятеро плечистых мужчин — позже Леонард узнал, что это так называемые военные прокладчики. Один из них следил за лебедкой, укрепленной на самом краю, другой говорил по полемому телефону. Он лениво поднял руку, приветствуя Гласса, затем отвернулся, продолжая говорить в трубку:

— Ты слышал, что он сказал. Вы прямо у них под ногами. Разбирайте его потихоньку, и чтоб никакого шума, не дай бог, — Он замолк, потом прервал собеседника: — Если ты, слушай меня, нет, слушай, слушай, если тебе охота психовать, то вылезай сюда и давай, — Он повесил трубку и обратился через яму к Глассу: — Опять перфоратор заело, сволочь. Второй раз за утро.

Гласс не представил Леонарда никому из прокладчиков, и они не обратили на него внимания. Точно невидимый, он двинулся вокруг шахты, чтобы получше разглядеть, что творится внизу. Так было здесь принято, и вскоре он сам привык к этому: ты говорил только с теми, чья работа была связана с твоей. Это объяснялось отчасти требованиями секретности, а отчасти, как он открыл позднее, неким профессиональным самодовольством, заставляющим людей игнорировать чужаков и говорить, глядя мимо них.

Он сделал несколько шагов по краю ямы, чтобы посмотреть, как происходит выгрузка. Из туннеля в шахту выкатилась по рельсам маленькая вагонетка. На ней был прямоугольный деревянный ящик с землей. Голый до пояса мужчина, толкавший вагонетку, окликнул человека у лебедки, но тот отказался спускать в яму стальной трос с крюком. Он крикнул вниз, что перфоратор заело и нет смысла опускать облицовочные листы ко входу в туннель, а значит, погрузчик не может освободиться от них и увезти ящик с землей, даже если его поднимут. Так что пусть он пока остается там.

Рабочий в шахте сощурился под яркими лампами, светившими ему в лицо. Он не расслышал. Человек на лебедке повторил объяснение. Рабочий замотал головой и упер в бока свои большие руки. Поднимай ящик, крикнул он, и пусть стоит наверху, пока погрузчик не освободится.

У механика был готов ответ и на это. Он сказал, что хочет воспользоваться паузой и проверить подъемный механизм. Какого хрена, сказал человек в шахте, пускай сначала вытащит ящик. Хрена тебе, сказал тот, что был наверху.

Человек снизу сказал, что сейчас поднимется наверх сам, и ему ответили, очень хорошо, валяй.

Человек в шахте свирепо вглядывался вверх. Его глаза были почти закрыты. Потом он прыгнул на нижнюю ступеньку железной лестницы. От предчувствия драки Леонарда замутило. Он посмотрел на Гласса. Тот сложил руки на груди и покачал головой. Рабочий добрался до конца лестницы и пошел вокруг ямы, мимо оборудования, в сторону лебедки. Механик демонстративно не поднимал головы, занимаясь своим делом.

Медленно, как бы ненароком, другие прокладчики переместились в сокращающееся пространство между двумя людьми. Послышались

невнятные успокаивающие голоса. Рабочий выдал длинную серию ругательств в адрес механика, который подтягивал отверткой какой-то болт и ничего не ответил. Это была ритуальная разрядка. Негодующего рабочего убеждали в том, что ему тоже стоит воспользоваться поломкой и устроить себе перекур. Наконец он зашагал к пандусу, бормоча что-то себе под нос и пиная подворачивающиеся под ногу камешки. Его уход не вызвал никакой реакции. Человек у лебедки сплюнул в шахту.

Гласс взял Леонарда под локоть.

— Они работают с конца августа, в три смены, круглые сутки.

По внутреннему коридору они прошли в административное здание. Гласс остановился у окна и еще раз показал в сторону наблюдательного поста за оградой из колючей проволоки.

— Посмотрите, куда мы добрались. Вон там, за их постом, кладбище, видите? А дальше стоят армейские машины. Они находятся у большой дороги, у шоссе Шёнефельдер. Сейчас мы прямо под ними, вот-вот пересечем дорогу.

До восточногерманских грузовиков было ярдов триста. Леонард видел движение на шоссе. Гласс направился дальше, и Леонард впервые ощутил, что раздражен его недомолвками.

— Мистер Гласс...

— Просто Боб.

— Вы наконец скажете мне, зачем все это?

— А как же. К вам это имеет прямое отношение. На той стороне дороги есть кювет, по которому проходят наземные линии связи русских с их высшим командованием в Москве. Все сообщение между восточноевропейскими столицами идет через Берлин. Это наследие старой имперской системы. Ваша работа заключается в том, чтобы сделать вертикальный подкоп и установить подслушивающие устройства. Мы сделаем остальное, — Гласс неуклонно двигался дальше, в приемную, где горели лампы дневного света, стоял автомат с кока-колой и тарахтели пишущие машинки.

Леонард поймал Гласса за рукав.

— Подождите, Боб. Я не умею делать подкопы, а что касается подслушивающих... словом, всего прочего...

Гласс испустил восторженный вопль. Он вынул из кармана ключ.

— Помереть можно. Я имел в виду англичан, чужак. А ваша работа здесь. — Он отпер дверь, сунул в щель руку, включил свет и пропустил Леонарда вперед.

За дверью оказалось большое помещение без окон. У стены стояли два лабораторных стола. На них Леонард увидел обычные приборы для проверки электрооборудования и паяльник. Все остальное пространство занимали одинаковые картонные ящики, сложенные штабелями по десять штук почти до самого потолка.

Гласс легонько пнул ногой ближайший ящик.

— Сто пятьдесят магнитофонов «Ампекс». Первым делом вы распакуете их и избавитесь от коробок. На заднем дворе есть мусоросжигатель. Это займет у вас дня два-три. Потом, у каждого аппарата должна быть вилка, тогда его можно будет проверить. Я научу вас заказывать нужные детали. Знаете, что такое включение по сигналу? Отлично. Их все надо будет соответствующим образом переделать. На это уйдет приличное время. Потом, наверное, поможете протянуть линии к усилителям. Дальше установка. Мы еще копаем, так что спешить вам некуда. Хорошо, если наладите все к апрелю.

Леонард почувствовал прилив необъяснимой радости. Он взял со стола омметр. Прибор был немецкого производства, в коричневом бакелитовом футляре.

— Для низких сопротивлений мне понадобится что-нибудь поточнее. И еще вентиляция. Здесь наверняка будет мешать конденсат.

Гласс поднял бороду, точно в знак поощрения, и дружески хлопнул Леонарда по спине.

— Вот это разговор. Почаще предъявляйте свои требования. Мы все будем вас за это уважать.

Леонард поднял глаза, ожидая увидеть на лице Гласса иронию, но тот уже выключил свет и открыл дверь.

— Начнете завтра, в девять ноль-ноль. А сейчас продолжим экскурсию.

Кроме всего предыдущего, Леонарду была показана только столовая, куда доставляли горячую пищу из казарм неподалеку, кабинет самого Гласса, а под конец туалеты и душевая. Эти удобства американец тоже продемонстрировал с явным удовольствием. Он торжественно сообщил о том, как легко засоряются унитазы.

Там же, пока они стояли у писсуаров, он поведал Леонарду всю обещанную историю, дважды ловко перейдя на бессодержательную болтовню при появлении посторонних. Воздушная разведка показала, что наиболее осушенный, то есть самый подходящий для прокладки туннеля участок расположен в районе кладбища на восточной стороне. После долгих дебатов от первоначального маршрута отказались. Рано или поздно русские должны были обнаружить туннель. Известие об американцах, оскверняющих немецкие могилы, послужило бы для советской пропаганды лишним козырем. Да и прокладчики не обрадовались бы осыпавшимся им на голову гробам. Поэтому туннель стали рыть к северу от кладбища, но на первом же месяце работ угодили в какую-то жижу. Инженеры заявили, что это неглубокий пласт грунтовых вод. Прокладчики сказали, идите понюхайте сами. Решив миновать кладбище, проектировщики провели туннель прямо через канализационный отстойник своей собственной станции. Было уже поздно менять курс.

— Вы не поверите, что нам пришлось одолеть, и все это было наше, а не чье-нибудь. Разложившийся труп по сравнению с этим конфетка. Послушали бы вы тогда наших ребят.

Они пообедали в столовой, просторной светлой комнате с рядами обычных пластиковых столиков и растениями в горшках у каждого окна. Гласс заказал обоим бифштексы с жареным картофелем. Такие огромные куски мяса Леонард видел разве что в магазине. Его шмат свешивался с тарелки, а челюсти болели и на следующий день. Спросив чаю, он вызвал настоящий переполох. Уже готовились поиски чайных пакетиков — повар был уверен, что они есть на складе. Леонард спас положение, соврав, что передумал. Как и его проводник, он завершил обед холодным лимонадом, выпитым прямо из бутылки.

Когда они шли обратно к машине, Леонард спросил, можно ли ему взять с собой электрические схемы магнитофонов «Ампекс». Он уже представлял себе, как ляжет на диван армейского производства и будет читать при свете торшера, пока за окном сгущаются сумерки. Они почти достигли выхода из здания.

Гласс был откровенно возмущен. Он остановился, чтобы придать больше веса своим словам.

— Вы что, рехнулись? Ни одну мелочь из этого здания ни в коем случае нельзя брать домой. Ясно вам? Ни схемы, ни записи, ни самую

паршивую отвертку. Понятно, черт побери?

Леонард сморгнул в ответ на грубость. В Англии он брал работу домой, даже сидел с ней на коленях, слушая радио вместе с родителями. Он поправил на носу очки.

— Да, конечно. Извините.

Когда они вышли наружу, Гласс осмотрелся, проверяя, нет ли рядом посторонних.

— Эта операция обходится правительству, американскому правительству, в миллионы долларов. А вы, британцы, просто оказываете нам содействие, например с этим вертикальным туннелем. Лампочки тоже ваши. Но знаете что?

Они стояли по обе стороны от машины, глядя друг на друга поверх крыши. Леонард постарался придать своему лицу вопросительное выражение. Он не знал что.

Гласс еще не отпер дверцу.

— Я вам скажу. Все это политика. Думаете, мы не могли бы установить «жучки» сами? Думаете, у нас нет своих усилителей? Мы разрешили вам сотрудничать только в политических целях. Чтобы показать, что у нас с вами особые отношения, только и всего.

Они сели в машину. Леонард жаждал остаться один. Изображать вежливость было мучительно, а ответная агрессия была для него исключена.

— Это очень любезно с вашей стороны, Боб, — сказал он. — Спасибо.

Его ирония пропала втуне.

— Не благодарите меня, — сказал Гласс, включая зажигание, — Просто соблюдайте правила. Думайте, что говорите, с кем водите знакомство. Помните своих земляков, Бёрджесса и Маклина^[6].

Леонард отвернулся к окну. Он чувствовал, как жар гнева заливает его лицо и шею. Они миновали сторожевую будку и вывалились на открытую дорогу. Гласс заговорил о другом — о том, где можно хорошо поесть, о высоком проценте самоубийств, о последнем киднэппинге, о местном увлечении оккультизмом. Леонард отвечал угрюмо и односложно. Они проехали лачуги беженцев, новые постройки и вскоре опять вернулись к руинам и восстановительным работам. Гласс настоял на том, чтобы довезти Леонарда до самой

Платаненаллее. Он хотел запомнить дорогу и осмотреть квартиру «из профессиональных и технических соображений».

Часть их пути пролежала по Курфюрстендамм. Гласс с явным удовлетворением отметил величавую элегантность новых универмагов, стоящих бок о бок с развалинами, толпы покупателей, знаменитый «Отель-ам-Цоо», неоновые вывески «Чинзано» и «Боша», которые еще не зажглись. У мемориальной церкви кайзера Вильгельма с обрубленным шпилем возникла даже небольшая пробка.

Вопреки смутным ожиданиям Леонарда Гласс не стал обыскивать квартиру и проверять, нет ли в ней подслушивающих устройств. Он только прошелся по комнатам, останавливаясь посреди каждой из них и озираясь вокруг. Леонард пожалел, что осмотру подверглась также и спальня с незаправленной постелью и его вчерашними носками на полу. Но он ничего не сказал. Он сидел в гостиной и ждал очередного инструктажа по вопросам секретности, когда Гласс наконец вернулся.

Американец развел руками.

— Поразительно. Глазам своим не верю. Вы видели, где живу я. Как паршивой мелкой сошке из Министерства почт могли достаться такие хоромы? — Гласс воззрился на Леонарда поверх бороды, словно и впрямь ожидал ответа. Леонард не знал, как реагировать на оскорбление. Подобный опыт в его взрослой жизни отсутствовал. Он был вежлив с другими, и они, как правило, бывали вежливы с ним. Его сердце сильно забилося, мешая собраться с мыслями.

— Наверное, вышла ошибка, — сказал он.

Без видимых усилий меняя тему, Гласс сказал:

— В общем, я заскочу примерно в семь тридцать. Прогуляемся по здешним местам.

Он направился к выходу. Обрадованный тем, что им, скорее всего, не придется драться на кулаках, Леонард проводил своего гостя до двери с искренними, вежливыми изъявлениями благодарности за утреннюю экскурсию и предстоящий вечер.

Когда Гласс ушел, он вернулся в гостиную. В его душе боролись смутные, противоречивые чувства. Дыхание отдавало мясом, как у собаки. В животе было до сих пор тяжело, он вздулся от газов. Леонард сел и распустил галстук.

Двадцать минут спустя он сидел за обеденным столом, заправляя ручку чернилами. Он вытер перо тряпочкой, предназначенной специально для этой цели. Придвинул к себе лист бумаги. Теперь, когда у него появилось рабочее место, он был доволен, несмотря на трудности с Глассом. Ему хотелось привести все в порядок. Он готовился впервые в жизни составить перечень необходимых закупок. Он поразмыслил о том, что ему нужно. Думать о еде было трудно. Он совсем не испытывал голода. У него и так есть все самое главное. Работа, место, где его ждут. Ему выпишут пропуск, он стал членом коллектива, одним из посвященных. Вошел в тайную элиту, в те глассовские пять — десять тысяч, которые придавали смысл существованию этого города. Он написал: «Salz». Он много раз видел, с какой легкостью составляет подобные списки его мать. Она брала лист почтовой бумаги «базилдон-бонд» и писала: фарш — 1 ф, морк, — 2 ф, карт. — 5 ф. Такой примитивный код не годился для члена разведывательной организации, участника операции «Золото» с допуском третьей степени. Да и готовить он не умел. Он вспомнил о том, как устроен быт Гласса, зачеркнул «Salz» и написал: «Kaffee und Zucker». Слово, означающее сухое молоко, — *Milchpulver* — пришлось отыскать в словаре. Теперь писать стало проще. По мере удлинения списка он точно изобретал и определял самого себя. Ему не нужны продукты в доме — вся эта возня, обывательщина. При курсе двенадцать дойчмарок за фунт он может позволить себе по вечерам есть в закусочной, а днем — в столовой Альтглинике. Он снова заглянул в словарь и написал: «Tee, Zigaretten, Streichholzer^[7], Schokolade». Последний предназначался для того, чтобы повышать уровень сахара в крови, если придется работать по ночам. Встав из-за стола, он перечел список. Он чувствовал себя именно тем человеком, образ которого сквозил за этими строчками: свободным, мужественным, серьезным.

Он прогулялся до Райхсканцлерплац и нашел несколько магазинов на одной из улиц близ закусочной, где вчера ужинал. Дома, стоявшие некогда вплотную к мостовой, были снесены, и за ними, футах в шестидесяти, обнажился второй ряд строений, полуразрушенные

верхние этажи которых были открыты взору. В воздухе парили комнаты с трех стен, с нетронутыми каминами, обоями, выключателями. В одной стояла ржавая кровать, дверь другой была распахнута в пустоту. От следующей комнаты осталась единственная стена, гигантская почтовая марка из попорченных непогодой цветастых обоев на куске штукатурки, торчащем над мокрой кладкой. Дальше виднелся островок из кафельной плитки, иссеченный шрамами канализационных труб. На последней стене был пилообразный след лестницы, зигзагами поднимающейся на пять этажей. Лучшее всего сохранились сквозные дымоходы — они перечеркивали комнаты, создавая единое сообщество каминов, каждый из которых раньше претендовал на уникальность.

Заняты были только первые этажи. У обочины на высоких шестах красовалась афиша с тщательно выписанными названиями всех магазинов. Утопанные тропы вились меж грудками камней и ровными кирпичными штабелями ко входам, прячущимся под висячими комнатами. Торговые залы были ярко освещены и выглядели почти богато — выбор здесь оказался не хуже, чем в любом небольшом универсаме Тотнема. В каждом магазине стояла маленькая очередь. Не было только растворимого кофе. Ему предложили молотый. Продавщица из *Lebensmittelladen*^[8] могла отпустить ему лишь двести граммов. Она объяснила почему, и Леонард кивнул, сделав вид, что понял.

По пути домой он купил в уличном киоске *Bockwurst*^[9] и кока-колу. Когда он ждал лифта в своем доме на Платаненаллее, двое мужчин в белых комбинезонах прошли мимо него и стали подниматься по лестнице. У них были ведра с краской, стремянки и кисти. Он встретился с ними взглядом; когда он пропускал их, прижавшись к стене, произошел обмен невнятными «гутен тагами». Он уже стоял перед своей дверью, на шаривая ключ, когда услышал разговор этих мужчин на площадке внизу. Голоса были искажены бетонными ступенями и гладкими стенами лестничного колодца. Слов Леонард не разобрал, но ритм, звучание были определенно английскими, лондонскими.

Леонард оставил покупки у двери и крикнул вниз: «Эй!» Только услышав собственный голос, он осознал, насколько одиноким себя

чувствовал. Один из мужчин опустил на пол стремянку и поглядел вверх: «Да-да?»

— Так вы англичане, — сказал Леонард, спускаясь.

Второй мужчина появился из квартиры, расположенной прямо под Леонардовой.

— Мы думали, вы немчура, — объяснил он.

— А я думал, вы. — Теперь, стоя перед этими людьми, Леонард не очень хорошо понимал, чего ему, собственно, было надо. Они смотрели на него без дружелюбия, но и без враждебности.

Первый снова поднял стремянку и внес ее в квартиру.

— Живете здесь, стало быть? — спросил он через плечо.

Последовать за ним казалось естественным.

— Только что приехал, — ответил Леонард.

Эта квартира была гораздо больше, чем его. Потолки здесь были выше, а холл, широкий и просторный, ничем не напоминал тесную Леонардову прихожую.

Второй мужчина вошел следом с ворохом простынь в руках.

— Обычно они дают подряды своим. Но эту мы делаем сами.

Леонард ступил за ними в большую гостиную без мебели. Он наблюдал, как они расстилают простыни на полированном деревянном полу. Казалось, им приятно рассказывать о себе. Они были призваны по закону о воинской повинности, служили в корпусе связи, но теперь не торопились возвращаться домой. Им нравилось пиво с сосисками, и девушки тоже. Разговаривая с Леонардом, они взялись за работу: начали чистить дерево шкуркой, обернутой вокруг кусков резины.

Первый мужчина, который был из Уолтемстоу, сказал:

— Этим девочкам вполне хватает того, что вы не русский.

Его друг из Льюишема согласился с ним.

— Русских они ненавидят. Когда те пришли сюда, в мае сорок пятого, они тут так зверствовали, страшное дело. А у этих девчонок, у них у всех есть старшие сестры, или мамы, или бабки даже, которых изнасиловали или зарезали, — они все кого-нибудь знают, все помнят.

Первый мужчина опустился на колени у плинтуса.

— Наши приятели были здесь в пятьдесят третьем, дежурили на Потсдамерплац, когда те начали палить в толпу, прямо по женщинам с детишками, — Он поднял глаза на Леонарда и дружелюбно сказал: — Чистые подонки, что говорить, — И добавил: — Так вы не из армии.

Леонард сказал, что он инженер из Министерства почт, присланный сюда для наладки внутренних армейских линий. В первый раз ему довелось воспользоваться легендой, согласованной с Доллисхилл. Он почувствовал себя неловко перед этими людьми: ведь они были вполне откровенны. Он с удовольствием рассказал бы им, как вносит свою лепту в борьбу с русскими. После обмена еще несколькими репликами соседи повернулись к нему спиной, и их внимание поглотила работа.

Они распрощались, затем Леонард пошел наверх и внес в квартиру свои покупки. Раскладывать их по полкам было приятно; у него поднялось настроение. Он заварил себе чай и уселся отдыхать в мягкое кресло. Если бы рядом был журнал, он полистал бы его. Чтением книг он никогда особенно не увлекался. Он заснул, сидя в кресле, и проснулся всего за полчаса до выхода, к которому еще надо было успеть подготовиться.

Когда Леонард в сопровождении Боба Гласса спустился на мостовую, он увидел в «жуке», на переднем сиденье для пассажира, еще одного человека. Его фамилия была Рассел, и он, должно быть, заметил их в зеркальце, потому что выскочил, когда они подходили к машине сзади, и энергично потряс Леонарду руку. Он сказал, что работает диктором на «Голосе Америки» и составляет сводки для РИАС, западноберлинской радиостанции. На нем была вызывающе красная спортивная куртка с золотыми пуговицами, кремовые брюки с отутюженными стрелками и туфли с кисточками, но без шнурков. После взаимных представлений Рассел потянул за рычажок, чтобы сложить сиденье, и жестом пригласил Леонарда забираться назад. Как и у Гласса, сорочка у Рассела была расстегнута, и под ней виднелась белая нижняя рубашка, доходящая до самой шеи. Когда они отъезжали, Леонард нащупал в темноте узел своего галстука. Он решил, что не стоит снимать его, поскольку американцы могли уже обратить на него внимание.

Видимо, Рассел считал своим долгом сообщить Леонарду как можно больше информации. Он говорил с профессиональной гладкостью, четко произнося все слоги, без пауз между предложениями и ни разу не повторившись. Он делал свою работу, называя улицы, по которым они проезжали, отмечая степень повреждений в результате бомбежек и недостроенные служебные здания.

— Район Тиргартен. Вам стоит заглянуть сюда при дневном свете. Вряд ли увидите тут хоть одно дерево. Те, что уцелели при бомбежках, сожгли сами берлинцы — отапливали подвесную дорогу. Гитлер называл ее «осью Восток — Запад». Теперь это улица Семнадцатого июня, в честь восстания в позапрошлом году. Там, впереди, памятник русским солдатам, которые взяли город, а название вон того знаменитого здания вам наверняка известно...

Гласс сбросил скорость, когда они ехали мимо контрольного пункта западноберлинской полиции и таможни. Дальше стояли человек пять восточных полицейских. Один из них осветил фонариком номерной знак машины и махнул рукой, пропуская их в русский

сектор. Они миновали Бранденбургские ворота. Здесь было гораздо темнее. Другие автомобили вообще перестали попадаться. Однако чувствовать воодушевление было трудно, так как Рассел продолжал свою лекцию и не споткнулся, даже когда машину тряхнуло на колдобине.

— Эта пустынная улица когда-то была нервом города, одним из самых известных проспектов в Европе. Унтер-ден-Линден... А там штаб-квартира истинного правительства Германской Демократической Республики, советское посольство. Раньше на этом месте был отель «Бристоль», когда-то один из самых модных...

Гласс до сих пор не подавал голоса. Теперь он вежливо вмешался:

— Извини, Рассел. Леонард, мы с вами начинаем с Востока, чтобы потом вы смогли оценить контраст. Сейчас едем в гостиницу «Нева»...

Это вдохновило Рассела на новые комментарии.

— Прежде она была отелем «Нордланд», второразрядным заведением. Теперь там еще хуже, но все равно это лучшая гостиница во всем Восточном Берлине.

— Рассел, — сказал Гласс, — тебе срочно надо выпить.

Было так темно, что они видели в дальнем конце улицы свет, косо падающий на мостовую из вестибюля «Невы». Выйдя из машины, они обнаружили, что рядом есть и другой источник света — голубая неоновая вывеска кооперативного ресторана напротив гостиницы, «Деликатесы». Только его запотевшие окна говорили о том, что он не окончательно покинут людьми. Когда они вошли в «Неву», швейцар в коричневой ливрее молча проводил их к лифту, где еле хватило места для них троих. Они поднимались медленно, стоя под тусклой лампочкой; их лица находились чересчур близко друг к другу, и это мешало продолжать беседу.

В баре было человек тридцать — сорок, они тихо сидели над своими бокалами. На эстрадной площадке в углу перебирали листы с нотами двое музыкантов, кларнетист и аккордеонист. Вдоль стен висели довольно грязные розовые портьеры в блестках и с кисточками; такой же материей была обита и стойка. Огромные люстры под потолком не горели, у зеркал в позолоченных рамах были отбиты края. Леонард хотел было пойти к стойке, чтобы для начала угостить своих спутников, но Гласс провел его к столику у крошечного паркетного пятачка для танцев. Его шепот показался Леонарду громким.

— Не доставайте свои деньги. Платим только восточными марками.

Наконец к ним подошел официант, и Гласс заказал бутылку русского шампанского. Когда они подняли бокалы, музыканты заиграли «Red Sails in the Sunset»^[10]. На танцплощадку никто не вышел. Рассел вглядывался в темные углы, потом встал и начал пробираться куда-то между столиками. Вернулся он с худой женщиной в белом платье не по размеру. Они наблюдали, как энергично он ведет ее в фокстроте.

Гласс покачал головой.

— Он не разглядел ее в полумраке. Эта не годится, — предсказал он, и действительно, по окончании танца Рассел отдал вежливый поклон, предложил женщине руку и проводил ее обратно к дальнему столику.

Подойдя к ним, он пожал плечами:

— Они тут на диете, — и, на минуту вернувшись к своей дикторской манере, сообщил им данные о среднем уровне потребления калорий в Восточном и Западном Берлине. Потом он перебил сам себя, заметив: — А, да черт с ним, — и заказал вторую бутылку.

Шампанское было сладкое, как лимонад, и чересчур газированное. Его трудно было воспринимать как серьезный алкогольный напиток. Гласс и Рассел обсуждали «германский вопрос». Сколько еще времени будет продолжаться отток беженцев через Берлин на Запад, прежде чем Демократическую Республику постигнет полный экономический крах из-за недостатка рабочей силы?

У Рассела были наготове цифры — сотни тысяч людей ежегодно.

— И это их лучшие люди, три четверти моложе сорока пяти. Я бы дал еще три года. После этого восточногерманское государство просто не сможет существовать.

— Государство будет существовать, пока существует его правительство, — сказал Гласс, — а правительство останется до тех пор, пока это нужно Советам. Здесь будет очень паршиво, но Партия это переживет. Вот увидите, — Леонард кивнул и пробормотал что-то в знак согласия, но высказать свое мнение не решился. Подняв руку, он удивился, когда официант подошел к нему так же, как подходил к другим. Он заказал очередную бутылку. Никогда еще он не был так счастлив. Они находились в сердце коммунистического лагеря, пили

шампанское коммунистов, они были серьезными работниками, обсуждающими государственные дела. Разговор перешел на Западную Германию — на Федеративную республику, которую собирались сделать полноправным членом НАТО. Рассел считал такое решение ошибкой.

— Попомните мое слово, это тот самый пресловутый Феникс из пепла.

— Если мы хотим, чтобы Германия была свободной, придется разрешить ей быть сильной, — сказал Гласс.

— Французы на это не пойдут, — ответил Рассел и повернулся за поддержкой к Леонарду. В этот момент принесли шампанское.

— Я расплачусь, — сказал Гласс. Когда официант ушел, он сообщил Леонарду: — Вы должны мне семь западных марок.

Леонард разлил вино по бокалам; мимо их столика прошла та худая женщина с подругой, и разговор принял другое направление. Рассел сказал, что немецкие девушки самые жизнерадостные и смелые на свете. Леонард заметил, что, если ты не русский, осечки у тебя быть не может.

— Они все помнят приход русских в сорок пятом, — заявил он спокойно и авторитетно. — У каждой русские изнасиловали или избили старшую сестру, мать, а то и бабу.

Американцы не согласились с ним, но восприняли его слова всерьез. Они даже посмеялись над «бабкой». Слушая Рассела, Леонард как следует отхлебнул из бокала.

— Русские ушли из страны вместе с войсками. Те, что остались в городе — офицеры, комиссары, — обходятся с девушками вполне прилично.

— Всегда найдется курица, готовая лечь с русским, — согласился Гласс.

Теперь музыканты играли «How You Gonna Keep Them Down on the Farm?»^[11]. Приторное шампанское уже не лезло в рот. Леонард облегченно вздохнул, когда официант принес три чистых бокала и бутылку охлажденной водки.

Они снова заговорили о русских. Рассел окончательно оставил свою профессиональную манеру. Его влажное лицо блестело, отражая яркий цвет куртки. Десять лет назад, сказал Рассел, он приехал сюда двадцатидвухлетним лейтенантом в составе передовой группы

полковника Фрэнка Хаули: ее отправили в Берлин в мае сорок пятого для занятия американского сектора.

— Мы думали, что русские — славные ребята. Они понесли миллионные потери. Это были герои, здоровые, веселые парни, которые глушат водку стаканами. А мы всю войну заваливали их техникой. Так что они просто обязаны были дружить с нами. Но все это было до нашей встречи. Они вышли и заблокировали дорогу в шестидесяти милях к западу от Берлина. Мы вылезли из грузовиков с распростертыми объятиями. У нас были наготове подарки, нам не терпелось устроить настоящее знакомство. — Рассел схватил Леонарда за руку. — Но они были холодны! Холодны, Леонард! Мы достали шампанское, французское шампанское, но они к нему не притронулись. Соизволили только пожать нам руки. Они заявили, что могут пропустить всего пятьдесят машин. Заставили нас разбить лагерь в десяти милях от городской черты. А наутро проводили в город с плотным эскортом. Они нам не доверяли, мы им не нравились. С первого же дня они стали видеть в нас врагов. Пытались помешать нам наладить жизнь в нашем секторе.

Так пошло и дальше. Они никогда не улыбались. Не хотели сотрудничать. Они ввали, совали нам палки в колеса, грубили по любому поводу. Они всегда говорили чересчур жестко, даже если речь шла о какой-нибудь мелкой технической детали. А мы всю дорогу повторяли себе: ну ладно, они натерпелись в войну, да и вообще у них все по-другому. Мы уступали им, этикие простачки. Толковали об Объединенных Нациях и новом мировом порядке, а они тем временем похищали и избивали политиков-некоммунистов по всему городу. Нам понадобился почти год, чтобы наконец поумнеть. И знаете что? Когда бы мы ни сталкивались с ними, с этими русскими офицерами, у них вечно был страшно несчастный вид. Точно они боялись, что в любую минуту могут получить пулю в спину. Ведут себя как говно и даже удовольствия не получают. Поэтому я так и не научился их ненавидеть. Во всем виновата политика. Эта дрянь лезет сверху.

Гласс снова разливал водку. Он сказал:

— А я их ненавижу. Хотя с ума, конечно, не схожу, не то что некоторые. Ты можешь сказать, что ненавидеть надо их систему. Но ни одна система без помощников не продержится. — Он поставил бокал, выплеснув немного водки на стол. Ткнул пальцем в лужицу, — То, что

навязывают комми, жалко, жалко и неэффективно. А теперь они распространяют это насильно. В прошлом году я был в Варшаве и Будапеште. Это ж надо уметь нагнуть на людей такую тоску! Они все понимают, но не останавливаются. Да вы поглядите вокруг! Леонард, мы привезли вас в самое шикарное заведение в их секторе. Посмотрите на него. Посмотрите на тех, кто здесь сидит. Вы только взгляните на них!

Рассел поднял руку.

— Спокойно, Боб.

Гласс уже улыбался.

— Ладно, ладно. Буянить не буду.

Леонард огляделся. Он различал в полумраке головы посетителей, уткнувшихся в свои бокалы. Бармен и официант, стоящие рядом у стойки, отвернулись в другую сторону. Музыканты наигрывали что-то вроде жизнерадостного марша. Это было последним, что он воспринял ясно. На следующий день он не мог вспомнить, как они покинули «Неву».

Должно быть, они пробрались между столиков, спустились вниз в тесном лифте, прошли мимо швейцара в коричневой ливрее. Около машины темнело окно кооперативного магазина, внутри были пирамиды банок с сардинами и портрет Сталина в обрамлении из красной гофрированной бумаги с надписью белыми буквами, которую Гласс и Рассел, запинаясь, перевели хором: *«Нерушимая дружба советского и немецкого народов — гарантия мира и свободы»*.

Потом они очутились на границе секторов. Гласс выключил мотор, у них проверили документы, посветили в машину фонариками, в темноте приближались и удалялись чьи-то шаги — стальные подковы стучали по мостовой. Затем они проехали указатель, возвещающий на четырех языках: *«Вы покидаете Демократический сектор Берлина»*, а вслед за ним другой, с надписью на тех же языках: *«Здесь начинается Британский сектор»*.

— Сейчас мы на Виттенбергплац, — крикнул Рассел с переднего сиденья.

Они увидели в окно медсестру из Красного Креста, сидевшую у подножия гигантской свечи с настоящим пламенем наверху. Рассел попытался возобновить свою лекцию.

— Сборы в пользу *Spatheimkehrer*, поздних репатриантов, сотен тысяч немецких солдат, которых все еще удерживают русские...

— Десять лет! — сказал Гласс. — Да брось ты. Они уже не вернутся.

Следующим местом оказался столик среди десятков других, стоящих в огромном шумном зале; оркестр на сцене почти заглушал голоса джазовой обработкой песни «Over There»^[12], а к меню была приколата брошюрка, на сей раз только с немецким и английским текстами, плохо напечатанная — буквы прыгали и налезали друг на друга. *«Добро пожаловать в Танцевальный дворец, полный технических чудес, лучшее из лучших место для отдыха. Сто тысяч электрических контактов гарантируют... — это слово разбудило в его душе какой-то смутный отклик, — гарантируют бесперебойную работу Современной сети настольных телефонов, объединяющей двести пятьдесят аппаратов. Каждый вечер Настольная пневматическая почта пересылает от одного посетителя к другому тысячи записок и маленьких подарков — это уникальное и прекрасное развлечение. Знаменитые фонтаны РЕЗИ завораживают своей красотой. Поразительно, что из девяти тысяч отверстий каждую минуту исторгается по восемь тысяч литров воды. Световые эффекты обеспечиваются работой ста тысяч цветных лампочек».*

Гласс запустил пальцы в бороду и широко улыбался. Он что-то сказал, но ему пришлось прокричать то же самое:

— Здесь-то получше!

Но из-за шума было невозможно начать разговор о преимуществах Западного сектора. Перед оркестром били разноцветные струи: они взлетали вверх, падали и качались из стороны в сторону. Леонард старался не смотреть на них. Они проявили благоразумие, спросив пива. Как только ушел официант, рядом возникла девушка с корзиной роз. Рассел купил одну и вручил Леонарду, а тот оборвал стебель и заткнул цветок за ухо. Неподалеку сидели два немца в баварских куртках; в трубе пневматической почты за их столиком что-то простучало, и немцы склонились над выпавшим оттуда пенальчиком. Женщина в расшитом блестками костюме русалки целовала дирижера оркестра. Раздался громкий свист и выкрики. Оркестр начал играть, женщине дали микрофон. Она сняла очки и с сильным акцентом запела «It's Too Damn Hot»^[13]. Немцы, кажется,

были разочарованы. Они смотрели в направлении столика футах в пятидесяти от них, где две хихикающие девицы валились друг другу в объятия. За ними была полная народу танцплощадка. Женщина на эстраде спела «Night and Day», «Anything Goes», «Just One of Those Things» и напоследок «Miss Otis Regrets»^[14]. Потом все встали, крича, топая ногами и требуя еще.

Оркестр сделал перерыв, и Леонард опять заказал всем пива. Рассел старательно огляделся и заявил, что слишком пьян и ему не до девиц. Они поговорили о Коуле Портере и назвали свои любимые песни. Рассел сказал, что отец одного его знакомого работал в больнице, куда доставили Портера после дорожной аварии; это было в тридцать седьмом. Почему-то врачей и сестер попросили не отвечать на вопросы репортеров. После этого разговор перешел на секретность. Рассел сказал, что на свете чересчур много секретов. Он смеялся. Должно быть, он кое-что знал о работе Гласса.

Гласс ошетинился. Он откинул голову назад и *воззрился* на Рассела поверх бороды.

— Знаешь, какой курс в моем университете был самый лучший? Биология. Мы изучали эволюцию. И я понял одну важную вещь. — Теперь он включил в свое поле зрения и Леонарда. — Это помогло мне выбрать профессию. Потому что тысячи, нет, миллионы лет у нас уже были здоровенные мозги, неокортекс, так? Но мы не говорили друг с другом и жили как последние свиньи. Ничего не было. Ни языка, ни культуры, ничего. А потом вдруг бац! И все есть. Вдруг оказалось, что без этого уже никуда, обратной дороги нет. Так почему это вдруг произошло?

Рассел пожал плечами.

— Благодаря Господу Богу?

— Черта с два! Я скажу вам почему. Раньше мы все целыми днями болтались вместе, делали одно и то же. Жили кучами. Язык был ни к чему. Если появлялся леопард, не было никакого смысла спрашивать: «Эй, ребята, кто это там идет по тропинке?» Леопард! Все его видели, все начинали скакать и орать, чтобы отпугнуть его. Но что происходит, когда кто-нибудь на минутку уединяется по своим личным делам? Когда он видит леопарда, он знает что-то, чего другие не знают. И знает, что они этого не знают. У него есть то, чего нет у других, у него есть *секрет*, и это начало его индивидуальности, его сознания. Если он

хочет поделиться своим секретом и побежать к остальной компании, чтобы предупредить их, у него возникает нужда в языке. Это создает базу для появления культуры. Но он может и промолчать в надежде, что леопард слопаёт вождя, который давно мешал ему жить. Тайный план, который требует ещё более развитой индивидуальности, большего сознания.

Оркестр заиграл быструю громкую пьесу. Глассу пришлось прокричать свой вывод: «Секретность сделала нас людьми!» — и Рассел поднял стакан с пивом, приветствуя это заключение.

Официант истолковал его жест по-своему и очутился рядом, так что заказали ещё по кружке, а когда блестящая русалка под восторженные крики появилась перед оркестром, около их стола что-то внезапно прошуршало, из трубы вылетел пенальчик, уткнулся в латунный ограничитель и замер. Они безмолвно уставились на него.

Потом Гласс взял его и отвинтил крышку. Вынув сложенный листок бумаги, он расправил его на столе.

— Ого! — крикнул он. — Да это вам, Леонард!

На один смятенный миг ему почудилось, что это от матери. Ему должно было прийти письмо из Англии. Но сейчас уже поздно, подумал он, и вдобавок никто не знает, куда он отправился.

Все трое склонились над запиской. Их головы заслоняли свет. Рассел стал читать вслух. «An den jungen Mann mit der Blume im Haag». Юноше с цветком в волосах. «Mein Schöner, я наблюдала за тобой из-за своего столика. Было бы славно, если бы ты подошел и пригласил меня на танец. Но если не можешь, просто улыбнись мне — я буду счастлива. Извини, что помешала, всего наилучшего, столик 89».

Американцы вскочили на нош, высматривая столик, но Леонард все ещё сидел, не выпуская листка из рук. Он снова перечел немецкие слова. Это послание не было для него сюрпризом. Теперь, оказавшись в его руках, оно скорее подталкивало его к узнаванию, к принятию неизбежного. Конечно, так это и должно было начаться. Если он хотел быть честным с самим собой, ему оставалось только признать, что в глубине души он всегда ждал этого.

Его подняли на ногу. Развернули и подтолкнули в направлении другого конца зала. «Глядите, вон она». Поверх голов, сквозь плывущие вверх клубы сигаретного дыма, подсвеченные огнями эстрады, он различил одинокую женщину. Гласс с Расселом

разыгрывали шутливую пантомиму, смахивая пыль с его пиджака, поправляя ему галстук, получше укрепляя цветок у него за ухом. Потом они оттолкнули его, как лодку от причала. «Ну! — сказали они. — Вперед!»

Он медленно дрейфовал к ней, и она следила за его приближением. Она оперлась локтем на столик, а подбородок положила на ладонь. Русалка пела: не сиди под яблонькой ни с кем, только со мной, ни с кем, только со мной. Он подумал — как потом оказалось, правильно, — что его жизнь сейчас изменится. В десяти футах от нее он улыбнулся. Он подошел, как раз когда оркестр кончил играть. Он стоял, слегка покачиваясь, держась за спинку стула, выжидая, пока утихнут аплодисменты, и когда они стихли, Мария Экторф сказала на безупречном английском, ее едва заметный акцент лишь ласкал слух: «Потанцуем?» Леонард извиняющимся жестом дотронулся до своего живота. Там смешались три абсолютно разных напитка.

— Простите, это ничего, если я сяду? — сказал он. И он сел, и они сразу же взялись за руки, и прошло много минут, прежде чем он смог вымолвить очередное слово.

Ее звали Мария Луиза Экдорф, ей было тридцать лет, и она жила в Кройцберге, на Адальбертштрассе — в двадцати минутах езды от дома Леонарда. Она работала машинисткой и переводчицей в маленькой автомастерской британской армии, в Шпандау. Был муж по имени Отто, который неожиданно появлялся два-три раза в год и требовал денег, иногда пуская в ход кулаки. Квартира у нее была двухкомнатная, с крошечной кухонькой за занавеской, и добираться туда надо было по темной деревянной лестнице в пять пролетов. На каждой площадке из-за дверей слышались голоса. В водопроводе не было горячей воды, а холодный кран зимой не разрешалось закрывать до конца, чтобы не замерзли трубы. Английскому она научилась от бабки, которая до и после Великой войны работала в Швейцарии, учительницей-немкой в школе для английских девочек. Семья Марии переехала в Берлин из Дюссельдорфа в 1937-м, когда ей было двенадцать. Отец был местным представителем компании, производившей коробки передач для грузовиков. Теперь ее родители жили в Панкове, в русском секторе. Отец служил кондуктором на железной дороге, мать тоже нашла себе работу: паковала на фабрике электрические лампочки. Они до сих пор не простили дочери, что в двадцать лет она вышла замуж против их воли, и не нашли утешения даже в том, что оправдались худшие их предсказания.

Иметь в своем распоряжении целую двухкомнатную квартиру было для одинокой бездетной женщины почти роскошью. Жилья в Берлине не хватало. Соседи с ее площадки и с той, что была под ней, держались отчужденно, но те, кто жил ниже и знал о Марии меньше, были по крайней мере вежливы. Она дружила кое с кем из молодых работниц мастерских. В день знакомства с Леонардом ее сопровождала некая Дженни Шнайдер, весь вечер протанцевавшая с сержантом французской армии. Кроме того, Мария состояла в клубе велосипедистов, пятидесятилетний казначей которого был безнадежно влюблен в нее. В прошлом апреле кто-то украл из подвала их дома ее велосипед. Она мечтала довести свой английский до совершенства и когда-нибудь поступить переводчицей на дипломатическую службу.

Часть этого Леонард узнал, когда передвинул свой стул так, чтобы ему не было видно Гласса и Рассела, и заказал Марии «пимс»^[15] с лимонадом, а себе еще пива. Остальное выяснялось постепенно и с большими трудами в течение многих недель.

Наутро после посещения «Рези» он был у ворот Алытлиннике в восемь тридцать, за полчаса до срока, — последнюю милю он прошел от поселка Рудов пешком. Его поташнивало, он устал, хотел пить и еще не до конца протрезвел. Проснувшись сегодня, он обнаружил на столике рядом с кроватью клочок картона, оторванный от сигаретной пачки. Мария написала на нем свой адрес, и теперь он лежал у него в кармане. Ручку она попросила у приятеля Дженни, французского сержанта, а писала, положив картонку Дженни на спину, покуда Гласс и Рассел ждали в машине. В руке Леонард держал пропуск на радиолокационную станцию. Часовой взял его и пристально поглядел ему в лицо.

Подойдя к комнате, которую он теперь считал своей, Леонард обнаружил, что ее дверь открыта, а внутри собирают инструменты трое мужчин. По-видимому, они проработали здесь всю ночь. Ящики с магнитофонами были сложены посередине. Все стены занимали закрепленные на болтах полки, достаточно глубокие, чтобы разместить на них вынутые из ящиков приборы. До верхних полок можно было добраться с помощью маленькой библиотечной стремянки. В потолке проделали круглую дырку для вентиляционного воздуховода; к отверстию была только что привинчена железная решетка. Где-то над потолком уже гудел вытяжной вентилятор. Отступив в сторону, чтобы дать рабочему вынести лесенку, Леонард заметил на своем рабочем столе дюжину коробок с электрическими вилками и новые инструменты. Он рассматривал их, когда рядом появился Гласс с охотничьим ножом в зеленом холщовом чехле. Его борода сверкала на электрическом свете.

Он не стал тратить время на приветствия.

— Вскрывать будете вот этим. Распечатывайте по десять приборов кряду, ставьте на полки, потом выносите пустые ящики на задний двор и сжигайте дотла. Ни в коем случае не появляйтесь с ними перед зданием. За вами будут следить. Смотрите, чтобы ничего не уносило ветром. Вы не поверите, но какой-то умник нанес на ящики трафаретом порядковые номера. Когда выходите из комнаты,

обязательно запирайте ее. Вот вам ключ, под вашу ответственность. Распишитесь за него здесь.

Один из рабочих вернулся и стал шарить по комнате. Леонард вздохнул и сказал:

— Хороший был вечер. Спасибо, — Он хотел, чтобы Боб Гласс спросил о Марии, оценил его победу. Но американец повернулся к нему спиной и рассматривал полки.

— Когда вынете приборы, их надо будет укрыть материей, чтобы не пылились. Я закажу. — Рабочий опустился на четвереньки и оглядывал пол. Носком своего грубого ботинка Гласс указал на шило.

— И местечко славное, — продолжал Леонард, — Честно говоря, я до сих пор не совсем в форме.

Рабочий поднял инструмент и вышел. Гласс пинком захлопнул за ним дверь. По наклону его бороды Леонард понял, что сейчас его будут распекать.

— Послушайте меня. Вы думаете, экая важность, распаковать приборы и сжечь ящики. Думаете, это может сделать и уборщик. Так вот, вы не правы. В этом проекте важно все, абсолютно *все*, каждая мелочь. Есть ли хоть какая-нибудь уважительная причина для того, чтобы сообщать мастеровому, что вчера вечером мы с вами выпивали вместе? Подумайте серьезно, Леонард. Что может связывать старшего офицера с простым техником из британского Министерства почт? Этот рабочий — солдат. Он может пойти с приятелем в бар и упомянуть там об этом, безо всякого злого умысла. А на соседнем табурете будет сидеть смышленный мальчишка-немец, который привык держать ушки на макушке. Таких в этом городе сотни. Потом он пойдет напрямик в кафе «Прага» или еще куда-нибудь со своим товаром. Пятьдесят марок за информацию, а если повезет, то и вдвое больше. Мы копаем прямо у них под ногами, мы в их секторе. Если нас обнаружат, они будут стрелять на поражение. И никто их не осудит.

Гласс подошел ближе. Леонард почувствовал себя неуютно, и не только из-за близости другого человека. Ему было стыдно за Гласса. Он явно переигрывал, и Леонарда тяготила необходимость быть единственным зрителем этого спектакля. Он снова не знал, какой реакции от него ждут. Дыхание Гласса отдавало растворимым кофе.

— Я хочу, чтобы вы выработали абсолютно новое отношение ко всему. Как только вам захочется что-нибудь сделать, остановитесь и

подумайте о последствиях. Идет война, Леонард, и вы — солдат на переднем крае.

Когда Гласс ушел, Леонард подождал, затем открыл дверь, глянул по коридору в оба конца и лишь после этого поспешил к фонтанчику с питьевой водой. Вода была холодная, с металлическим привкусом. Он пил, не отрываясь, несколько минут. Когда он вернулся в комнату, Гласс был там. Он покачал головой и поднял ключ, оставленный Леонардом. Потом вложил его англичанину в руку, сомкнул на нем его пальцы и удалился без единого слова. Леонард покраснел, несмотря на похмелье. Чтобы поддержать себя морально, он вынул из кармана взятую у Марии картонку с адресом. Прислонился к ящикам и медленно перечитал его. *Erstes Hinterhaus, fünfter Stock rechts, Adalbertstrasse 84*^[16]. Он провел рукой по верху ящика. Светлая оберточная бумага была почти телесного цвета. Его сердце работало как храповик, с каждым ударом закручиваясь все туже и туже. Как он вскрыет все эти коробки в таком состоянии? Он прислонился к картону щекой. Мария. Ему надо отдохнуть, как еще прояснить мысли? Но перспектива неожиданного возвращения Гласса была столь же невыносимой. Абсурд, стыд, хитросплетения секретности — он не мог решить, что хуже.

Застонав, он спрятал клочок с адресом, дотянулся до верхней коробки и стащил ее на пол. Затем вынул из чехла охотничий нож и воткнул в нее. Картон поддавался легко, как плоть, и он почувствовал и услышал, как под кончиком ножа треснуло что-то хрупкое. Его охватила паника. Срезав крышку, он разгреб опилки и вынул листы спрессованной гофрированной бумаги. Разорвав суровую марлю, в которую был завернут магнитофон, он увидел на месте, предназначенном для установки бобин, длинную косую царапину. Одна из регулировочных ручек раскололась надвое. Он с трудом разрезал оставшийся картон. Затем вынул прибор, присоединил к нему вилку и, поднявшись по стремянке, поставил на самую верхнюю полку. Сломанную ручку он положил в карман. Потом надо будет составить заявку на замену.

Помедлив только для того, чтобы снять пиджак, Леонард принялся вскрывать другую коробку. Час спустя на полке стояли еще три прибора. Резать клейкую ленту и верхние клапаны было легко. Но углы были укреплены дополнительными слоями картона и скобками,

которые мешали ножу. Он решил работать без остановки, пока не одолеет первые десять коробок. К обеденному перерыву он распаковал десять магнитофонов и поставил их на полки. У двери выросла груда картона высотой в пять футов, а рядом с ней — куча опилок, достающая до самого настенного выключателя.

Столовая была пуста — только за одним столиком сидели грязные прокладчики, не обратившие на Леонарда никакого внимания. Он снова заказал бифштекс с картошкой и лимонад. Прокладчики тихо переговаривались и посмеивались. Леонард напряг слух. Он разобрал произнесенное несколько раз слово «шахта» и решил, что они проявляют неосторожность, говоря о деле. Едва он управился с едой, как вошел Гласс, сел за его столик и спросил, как продвигается работа. Леонард сообщил о своих успехах.

— Это отнимает больше времени, чем я думал, — заключил он.

— А по-моему, все в порядке, — сказал Гласс. — Вы делаете десяток утром, десяток после полудня, десяток вечером. Тридцать ящиков в день. Пять дней. В чем проблема?

Сердце Леонарда пустилось в галоп, потому что он решился высказать свои мысли. Он залпом выпил лимонад.

— Вообще-то, честно говоря, вы ведь знаете, что моя специальность электротехника, а не распаковка ящиков. Я готов делать все, что понадобится, в разумных пределах, потому что понимаю, как это важно. Но я рассчитывал иметь немного свободного времени по вечерам.

Гласс ответил не сразу; выражение его лица не изменилось. Он смотрел на Леонарда, ожидая дальнейшего. Наконец он сказал:

— Вы хотите обсудить продолжительность рабочего дня? Поговорить о разделении труда? Будем устраивать тут базар, как комми в британских профсоюзах? После того как вам выдали пропуск, ваша работа здесь состоит в том, чтобы выполнять приказы. Не нравится — я свяжусь с Доллис-хилл и попрошу, чтобы вас отозвали. — Потом он встал, и черты его лица смягчились. Прежде чем уйти, он коснулся плеча Леонарда и сказал: — Ладно, не унывайте, дружище.

В результате Леонард целую неделю, а то и больше занимался лишь тем, что вскрывал картонные ящики, сжигал упаковочные материалы, присоединял к магнитофонам вилки, нумеровал их и

ставил на полки. Он работал по пятнадцать часов в день. Дорога тоже отнимала у него не один час. С Платаненаллее он ехал на метро до Гренцаллее, а там садился на сорок шестой автобус, идущий в Рудов. Оттуда надо было двадцать минут шагать пешком по унылой проселочной дороге. Ел он в столовой и в *Schnellibiß*^[17] на Райхсканцлерплац. Он мог думать о Марии по дороге, или когда ворошил длинным шестом горящие картонные коробки, или когда жевал у ларька очередную Bratwurst. Он знал, что, будь у него чуть больше свободных минут и не выматывайся он так на работе, это превратилось бы в навязчивую идею, он влюбился бы по-настоящему. Ему не хватало времени сесть спокойно, чтобы не клонило в сон, и подумать об этом как следует. Ему не хватало досуга, граничащего со скукой, когда распускаются цветы фантазии. Все его мысли занимала работа; при его болезненной аккуратности даже выполнение примитивных служебных операций действовало на него гипнотически и исключало всякую возможность отвлечься.

Одетый как Дедушка Время из школьной пьесы, в чужой широкополой шляпе и армейской шинели до самых галош, он проводил много времени у своего костра. Мусоросжигатель оказался хилой, постоянно теплящейся горелкой, кое-как защищенной от дождя и ветра низкой кирпичной стеной с трех сторон. Рядом стояли два десятка мусорных баков, а немного дальше — мастерская. За грязной дорогой находилась погрузочная площадка, где круглый день скрежетали рычагами передач приезжающие и отъезжающие грузовики. У него было строгое распоряжение не покидать костра, пока все не сгорит до конца. Некоторые листы тлели очень медленно, и даже с помощью бензина не удавалось заметно ускорить процесс.

У себя в комнате он концентрировался на уменьшающемся штабеле коробок на полу и растущем числе приборов на полках. Он говорил себе, что опустошает ящики ради Марии. Это была проверка на постоянство, работа, с помощью которой он доказывал, что чего-то стоит. Этот труд он посвящал ей. Он втыкал нож в картон и испарывал его ради нее. Думал он и о том, насколько просторнее станет его комната, когда он закончит, и как он тогда оборудует свое рабочее место. Он сочинял для Марии беспечные записки, в которых с хитроумной небрежностью назначал ей встречи в пивной поблизости от ее дома. Но, снова оказываясь на Платаненаллее незадолго до

полночи, он уже не мог справиться с усталостью, чтобы вспомнить точный порядок слов или начать придумывать все заново.

Много лет спустя Леонард без малейшего труда мог представить себе лицо Марии. В его памяти оно излучало свет, как лица на некоторых старинных портретах. Можно сказать, в нем было что-то почти двухмерное: линия волос обрамляла высокий лоб, а на другом конце этого длинного, безупречного овала был подбородок, хрупкий и одновременно нежный, так что, если она наклоняла голову в своей трогательной манере, ее лицо принимало вид диска, было скорее плоским, чем объемным, — такое лицо мог бы написать вдохновенной кистью какой-нибудь великий художник. Волосы Марии были удивительно тонкими, как у ребенка, и часто выбивались из-под детских заколок, какие тогда носили женщины. Ее глаза были серьезными, но не грустными, зелеными или серыми в зависимости от освещения. Ее лицо не подкупало живым обаянием. Она постоянно грезила, часто отвлекалась на мысли, которые не хотела делить с другими, и чаще всего на ее лице царило выражение рассеянной настороженности — голова чуть поднята и слегка наклонена в сторону, указательный палец левой руки тербит нижнюю губу. Если заговорить с ней после паузы, она могла встрепенуться. У нее была такая внешность, такие манеры, которые мужчины легко толкуют на свой лад. В ее тихой отрешенности можно было увидеть проявление женской силы, а в спокойном внимании — признак детской беспомощности. С другой стороны, в ней действительно могли совмещаться эти противоположности. Например, кисти ее рук были маленькими, она стригла ногти по-детски коротко и никогда их не красила. Однако она брала на себя труд покрывать ногти на ногах огненно-красным или оранжевым лаком. Руки у нее были тонкие, она не могла поднять совсем небольшую тяжесть и даже раму обыкновенного, легко открывающегося окна. Зато ее стройные ноги были сильными и мускулистыми — возможно, благодаря экскурсиям на велосипеде, закончившимся, когда ее отпугнул от клуба его угрюмый казначей, а ее велосипед украли из общего подвала.

Для двадцатипятилетнего Леонарда, который не видел ее пять дней, поскольку с утра до ночи сражался с картоном и опилками, который хранил как залог их знакомства один лишь клочок такого же картона с ее адресом, ее облик был ускользающим. Чем сильнее он

напрягал память, тем больше, дразня его, расплывались ее черты. Он сохранил о ней лишь общее впечатление, но и оно таяло под его пылким испытующим взором. В его мозгу возникали сцены, в которых он хотел бы участвовать, подходы, которые требовали проверки, но все, чем оделяла его память, — это было некое присутствие, сладостное и манящее, однако невидимое. Он уже позабыл акцент, с которым она произносила английские фразы. Он начал сомневаться, что узнал бы ее, встретив на улице. Единственной определенностью было впечатление от полутора часов, проведенных за ее столиком в танцевальном клубе. Тогда он любил это лицо. Теперь оно исчезло, оставив по себе только любовь, которой почти нечем было питаться. Он должен был увидеть ее снова.

Только на восьмой или девятый день Гласс позволил ему передохнуть. Все магнитофоны стояли на полках, двадцать шесть из них были проверены и снабжены устройством включения по сигналу. Утром Леонард лишних два часа продремал в эротической духоте теплой постели. Потом он побрился, принял душ и, завязав на поясе полотенце, прогулялся по квартире, будто открывая ее заново, чувствуя себя ее полновластным хозяином. Он слышал, как отделочники передвигают внизу стремянку. Для всех остальных сегодня был рабочий день — кажется, понедельник. Наконец-то у него появилось время на эксперимент с молотым кофе. Вышло не очень здорово, кофейная гуща и нерастворившееся сухое молоко скопились в центре, когда он помешивал напиток, но он был счастлив, завтракая в одиночестве бельгийским шоколадом, прижимая босые ступни к ребрам раскаленной батареи и обдумывая план своей кампании. Его ожидало непрочтенное письмо из дома. Он небрежно вскрыл его ножом, словно просматривать почту по утрам за завтраком было для него привычным делом. *«Спасибо тебе за письмо, рады, что ты понемногу обживаешься...»*

Он собирался придумать ненавязчивое послание Марии, но почему-то чувствовал, что прежде следует завершить процесс одевания. Наконец одевшись и написав то, что хотел (*«Мы с Вами познакомились в „Рези“ на прошлой неделе, и Вы были так добры, что дали мне свой адрес, так что, надеюсь, Вас не удивит моя записка, и Вы, конечно, не обязаны на нее отвечать...»*), он понял, что ждать ответа по крайней мере три дня явно выше его сил. К тому времени он

опять окажется в призрачном мире своей комнаты без окон и пятнадцатичасового рабочего дня.

Он налил вторую чашку кофе. Гуща осела. У него возник другой план. Он отнесет ей записку, чтобы узнать, когда она возвращается с работы. Напишет, что проходил мимо и будет ждать в такой-то закусочной на соседней улице, в шесть часов. Пустые места можно заполнить позже. Он немедленно принялся за дело. Полдюжины попыток не принесли ему удовлетворения. Он хотел добиться небрежности и убедительности. Она должна была подумать, что он черкнул записку, стоя у ее двери, что он забежал туда, надеясь застать ее, и лишь потом вспомнил, что она на работе. Он не хотел показаться навязчивым, а тем более серьезным и глуповатым.

К полудню вокруг него были разбросаны черновики. Окончательный вариант он держал в руках. *«Случайно забрел в ваши края и решил заскочить, повидаться»*. Он положил его в конверт и по ошибке запечатал. Потом взял нож и вскрыл письмо, представляя себе, что он — это она, сидящая у своего стола, только что вернувшаяся с работы. Он расправил письмо и перечел его дважды, как могла бы сделать она. Тон был безупречен. Он нашел другой конверт и встал. До вечера оставались еще долгие часы, но он знал, что не удержится и пойдет сейчас же. В спальне он переоделся в лучший костюм. Достал из вчерашних брюк обтерханный клочок картона с адресом, хотя уже выучил его наизусть. Развернул на неубранной постели план города. Поразмыслил о том, стоит ли надевать ярко-красный вязаный галстук. Он раскрыл дорожный набор по уходу за обувью и, выбирая маршрут, начистил до блеска свои лучшие черные туфли.

Чтобы убить время и в полной мере насладиться предприятием, он дошел пешком до Эрнст-Ройтер-плац, а затем поехал на метро до «Котбусер-тор» в Кройцберге. И все же он оказался на Адальбертштрассе чересчур рано. Дом номер восемьдесят четыре был не больше чем в пяти минутах ходьбы. Таких разрушений, как в этом районе, он не видел нигде. Впрочем, даже без них место выглядело достаточно уныло. Фасады многоквартирных корпусов, особенно вокруг дверей и окон, были в щербинах от пуль — видимо, здесь шли напряженные уличные бои. Каждое второе или третье здание было наполовину выпотрошено или стояло без крыши. Целые дома были разрушены, и их обломки лежали там же, где упали: из груд мусора

торчали стропила и ржавые трубы. После двух недель, проведенных в городе, где он ходил по магазинам, ел, пользовался транспортом и работал, его прежнее восхищение разрухой казалось ребяческим, отталкивающим.

Когда он перешел Ораниенштрассе и увидел, как на расчищенной площадке строят дом, это зрелище его порадовало. Тут же он заметил бар и направился к нему. Этот бар под названием «Bei Tante Else»^[18] вполне подходил для его целей. Он вынул свою бумажку и вписал на пустые места названия бара и улицы. Потом, под влиянием неожиданного импульса, ступил внутрь. Он помедлил рядом с кожаной занавеской, пока его глаза привыкали к темноте. Здесь было тесно и полно народу, почти как в туннеле. Поодаль за одним из столиков сидели и пили несколько женщин. Одна из них тронула себя под подбородком, чтобы привлечь внимание к галстуку Леонарда, и протянула руку. «Keine Kommunisten hier!»^[19] Ее подруги рассмеялись. На мгновение их манеры и показной шик навели его на мысль, что все они явились сюда с какой-то шумной полуофициальной вечеринки. Потом он сообразил, что это проститутки. За другими столиками, уронив головы, спали мужчины.

Когда он выбирался назад, еще одна женщина окликнула его, и это снова вызвало смех.

На улице он остановился. Это место не годилось для встречи с Марией. Он не хотел и сидеть здесь один, дожидаясь ее. С другой стороны, если исправить записку, сразу станет видно, что она сочинена не на ходу. Поэтому он решил подождать у ее дома, а когда Мария придет, он извинится и прямо скажет, что не ориентируется в этом районе. Заодно будет и повод для разговора. Может, это даже покажется ей забавным.

Восемьдесят четвертый дом ничем не отличался от прочих. Кривая линия из пулевых отметин над окнами первого этажа, должно быть, осталась от пулеметного обстрела. Широкие открытые ворота вели в полутемный внутренний двор. Между булыжниками пробивались сорняки. Недавно опорожненные мусорные баки валялись как попало. Стояла тишина. Дети еще не вернулись из школы. Где-то готовили то ли поздний обед, то ли ранний ужин. Он слышал запах жареного лука. Вдруг он пожалел о том, что пропустил свой обычный бифштекс с картошкой.

По другую сторону двора стоял, видимо, нужный ему флигель. Он направился туда и вошел в узкую дверь. Наверх вела крутая деревянная лестница. На каждой площадке было по две квартиры. Он шел мимо детского плача, музыки, доносящейся из приемников, смеха, а выше какой-то человек повторял с плачущим ударением на втором слоге: «Папа? Папа? Папа?» Он был здесь непрошеным гостем. Изощренная нечестность его плана начала угнетать Леонарда. Он достал из кармана конверт, чтобы опустить его в щель на двери и уйти как можно быстрее. Ее квартира была на самом верху. Потолок здесь был ниже, чем на других этажах, и это подогревало его стремление сбежать. Ее зеленая дверь, в отличие от прочих, была свежеевыкрашена. Он бросил конверт в щель и вдруг совершил необъяснимый поступок, абсолютно ему не свойственный. Он взялся за ручку двери и нажал. Возможно, он ждал, что дверь будет заперта. Возможно, это было одним из тех бессмысленных маленьких действий, которыми полна ежедневная жизнь. Дверь подалась и раскрылась настежь, и там, прямо перед ним, стояла она.

Квартиры в домах, расположенных за старыми берлинскими зданиями, с давних пор были самыми дешевыми и перенаселенными. Когда-то здесь жили слуги, чьи хозяева занимали более удобные апартаменты с окнами, выходящими на улицу. У тех же, кто селился во флигелях, окна выходили либо во двор, либо в узкое пространство, разделявшее соседние здания. Так что откуда этим зимним вечером взялся солнечный свет, падавший на пол между ними из открытой двери ванной — в его косом рыже-золотистом столбе плавали пылинки, — осталось тайной, которую Леонард так и не дал себе труда разрешить. Возможно, солнечные лучи отражались от окна напротив. Но как бы там ни было, в тот момент это выглядело добрым знаком. У самого края солнечного клина лежало письмо. За ним абсолютно неподвижно стояла Мария. На ней были юбка из толстой шотландки и красный кашемировый свитер американского производства, подарок ее верного поклонника, отказаться от которого у нее не хватило ни бескорыстия, ни душевной черствости.

Они смотрели друг на друга поверх солнечного света, и оба молчали. Леонард пытался сформулировать приветствие в форме извинения. Но как объяснить столь целенаправленный поступок, как открывание двери? Ему мешала сосредоточиться и радость по поводу того, что ее красота получила подтверждение. Значит, он не зря так маялся. Мария же, не узнавая Леонарда в первые секунды, вначале была парализована страхом. Его внезапное появление вызвало к жизни память десятилетней давности о солдатах, которые обычно приходили парами и распахивали двери без предупреждения. Леонард же ошибочно прочел на ее лице понятную враждебность хозяйки к незваному гостю. А слабая улыбка облегчения, когда Мария наконец узнала его, внушила ему, что он прощен.

Проверяя свою удачу, он шагнул вперед и подал ей руку.

— Леонард Марнем, — сказал он, — Помните, в «Рези»?

Даже теперь, когда Мария больше не чувствовала опасности, она отступила назад и скрестила руки на груди.

— Что вам угодно?

Такой прямой вопрос привел Леонарда в замешательство, но это оказалось в его пользу. Он покраснел, замялся, а потом вместо ответа поднял свое письмо и протянул ей. Она открыла конверт, вынула оттуда единственный листок бумаги и, прежде чем начать читать, глянула поверх него на Леонарда — убедиться, что он не подходит ближе. Как блеснули белки ее серьезных глаз! Леонард стоял, беспомощный. Он вспомнил, как отец просматривал при нем его школьные табели с очень неважными отметками. Как он и предполагал, она перечла записку во второй раз.

— Что это значит — «заскочить»? Вот так открыть дверь — это и есть «заскочить»? — Он хотел пуститься в объяснения, но она уже смеялась, — И вы предлагаете мне зайти в «Bei Tante Else»? В эту дыру для проституток? — К его изумлению, она запела. Это был куплет из песенки, которую часто передавали по «Голосу Америки». «С чего ты решил, будто я из таких девчонок?» Бруклинский акцент в устах немки — что может звучать сладостнее! Леонард едва не упал в обморок. Он был жалок, он был восхищен. В отчаянной попытке обрести равновесие он поправил мизинцем очки на носу.

— Честно говоря... — начал он, но она обошла его, направляясь к двери и говоря с шутливой серьезностью:

— А почему вы явились ко мне без цветка в волосах? — Она закрыла дверь и заперла ее. Потом, сияя улыбкой, соединила руки. Похоже, она и вправду была рада его видеть, — Ну, — сказала она, — не выпить ли нам чаю?

Они стояли в комнате величиной примерно десять на десять футов. Не поднимаясь на цыпочки, Леонард мог бы приложить ладонь к потолку. Окна выходили во внутренний двор, напротив был ряд таких же окон. Если подойти ближе и поглядеть вниз, можно было заметить опрокинутые мусорные баки. Мария убрала с единственного удобного стула учебник английской грамматики, чтобы Леонард мог сесть, пока она возится в кухоньке, устроенной в нише за занавеской. Леонард видел собственное дыхание, поэтому не стал снимать пальто. Он уже привык к жарко натопленным, на американский манер, складским помещениям; в его квартире тоже были мощные батареи, которые регулировались откуда-то из подвала. Он дрожал, но здесь даже холод был чреват надеждой. Ведь он делил его с Марией.

У окна был обеденный стол, на нем кактус в горшке. Рядом стояла свеча в бутылке из-под вина. Интерьер дополнялся двумя простыми стульями и книжным шкафом, на голом полу лежал заляпанный персидский ковер. К стене около двери, которая, как решил Леонард, вела в спальню, была пришпилена черно-белая репродукция ван-гоговских «Подсолнухов», вырезанная из журнала. Больше взгляду не на чем было задержаться — разве что на кучке туфель в углу, вокруг железной сапожной колодки. Обстановка комнаты Марии не имела решительно ничего общего с изысканным, аккуратным беспорядком тотнемской гостиной Марнемов с ее радиолой красного дерева и Британской энциклопедией в специальном шкафчике. Эта комната ни на что не претендовала. Можно было съехать отсюда завтра же без всякого сожаления, ничего не взяв с собой. Комната выглядела одновременно голой и захлавленной, неряшливой и интимной. Пожалуй, она вызывала вполне определенное чувство. Здесь ты мог начать все сначала с самим собой. Человеку, с детства привыкшему лавировать среди материнского фарфора, даже старавшемуся не замарать руками обоев, было странно и приятно думать, что эта неопрятная, ободранная комната может принадлежать женщине.

Она выливали чайник в маленькую раковину, где пара кастрюль едва держалась на стопке грязных тарелок. Он сидел за столом, глядя, как замедленно колышется подол ее толстой юбки, как теплый кашемир еле прикрывает верх складок клетчатой материи, глядя на ее ноги в тапочках и теплых носках. Вся эта зимняя шерсть успокаивала Леонарда, который сразу же ощутил бы угрозу в женщине, одетой провокационно. Шерстяные вещи предполагали ненавязчивую интимность, и теплоту, и самое тело, уютно и застенчиво прячущееся под их покровом. Она заваривала чай по-английски. У нее была чайница британского производства, и она подогрела чайник. Это также подействовало на Леонарда умиротворяюще.

В ответ на его вопрос она рассказала, что, когда начинала работать в своих военных мастерских, «РЕМЕ», в ее обязанности входило трижды в день заваривать чай для командира и его заместителя. Она поставила на стол две белые армейские кружки — точно такие же, как были в его квартире. Его несколько раз угощали чаем молодые женщины, но он до сих пор не встречал ни одной, которая не потрудилась бы перелить молоко в молочник.

Она села против него, и они стали греть руки о большие кружки. Он знал по опыту, что, если не сделает громадного усилия, все покатится по обычной колее: за вежливым вопросом будет следовать вежливый ответ, затем новый вопрос. Давно ли вы здесь живете? Далеко ли вам ехать на работу? У вас сегодня выходной? И пойдет катехизис. Только паузы будут прерывать неумолимое течение вопросов и ответов. Они станут взывать друг к другу издали, с соседних горных пиков. И вскоре он с отчаянным нетерпением будет ждать шанса уйти, остаться наедине с собственными мыслями после неуклюжего прощания. Уже теперь они заметно отделились от наполненности первых минут их встречи. Он спросил о том, почему она так заваривает чай. Еще один подобный шаг, и дела уже не поправить.

Она поставила кружку и спрятала руки глубоко в карманы юбки. Она легонько постукивала тапочкой по ковру. Ее голова была чуть наклонена — может быть, она ждала чего-то или отбивала ритм песенки, звучащей у нее в голове? Возможно, той же самой — «Забирай свою норку и жемчуг, прощай, миленок...»? Он никогда не видел, чтобы женщина отстукивала такт ногой, но знал, что ему нельзя ударяться в панику.

Это было чувство, корнящееся где-то в глубине, далеко под разумными соображениями и даже интуицией, — что ответственность за развитие событий лежит целиком на нем. Если он не найдет простых слов, которые сблизят их, провал будет лишь на его совести. Что бы такое сказать, не банальное, но и не бестактное? Она снова взяла кружку и смотрела на него с полуулыбкой, почти не разомкнувшей губ. «Не слишком тоскливо вам тут одной?» прозвучало бы чересчур двусмысленно. Она может подумать, что он набивается к ней в сожители.

Не в силах дольше выносить молчание, он все-таки выбрал светский разговор и начал было спрашивать: «Давно вы тут живете?», но она вдруг поспешно перебила его своим вопросом:

— Как вы выглядите без очков? Пожалуйста, покажите. — Это последнее слово она протянула дольше, чем считал бы разумным любой носитель языка, отчего по животу Леонарда пробежал тонкий, трепетный холодок. Он быстро снял с лица очки и замигал на нее. Он неплохо различал то, что находилось от него не дальше трех футов, и

черты ее лица смазались лишь отчасти, — Ага, — спокойно произнесла она. — Так я и думала. У вас очень красивые глаза, а вы их все время прячете. Никто не говорил вам, какие они красивые?

Что-то подобное говорила мать Леонарда, когда ему было пятнадцать и он только начал носить очки, но это вряд ли подходило к случаю. У него возникло ощущение, что он медленно поднимается в воздух.

Она взяла его очки, сложила их и вернула на стол, к горшку с кактусом.

Его собственный голос показался ему сдавленным.

— Нет, никто.

— А другие девушки?

Он покачал головой.

— Значит, я первая вас открыла? — Это прозвучало шутливо, но в ее взгляде не было насмешки.

Он почувствовал, как в ответ на ее комплимент расплывается в дурацкой мальчишеской ухмылке, но ничего не мог с собой поделаться.

— И ваша улыбка, — сказала она.

Она отвела с глаз прядь волос. Ее лоб, высокий, овальный, напомнил ему предположительный облик Шекспира. Он не был уверен, что ему стоит сообщать ей об этом. Молча он взял ее за руку, едва закончившую движение, и они сидели так минуту или две, как во время их первой встречи. Она сплела свои пальцы с его, и именно в этот миг, а не потом в спальне или еще позже, когда они рассказывали о себе с большей свободой, Леонард ощутил, что накрепко связан с ней. Их руки идеально подходили друг к другу, пожатие было сложным, нерасторжимым, в нем было бесконечно много точек соприкосновения. На этом скудном свету, да еще без очков, он уже не различал, какие пальцы принадлежат ему. Сидя в темнеющей стылой комнате, так и не сняв плаща, держа ее за руку, он чувствовал, что расстается со всей прежней жизнью. И это было восхитительно. Что-то изливалось из него, перетекало из его ладони в ее, что-то поднималось в ответ по его руке, по груди, стискивало ему горло. Единственная мысль кружилась в голове: это оно, так вот как это бывает, это оно...

Наконец она отняла свою кисть, сложила руки на груди и выжидательно посмотрела на него. Без всяких причин, разве что из-за

серьезности ее взгляда, он начал оправдываться.

— Я бы пришел раньше, — сказал он, — но мне приходилось работать круглые сутки. И потом, честно говоря, я не знал, захотите ли вы меня видеть и вообще узнаете ли.

— У вас есть еще подруги в Берлине?

— Нет-нет, ничего такого, — У него не вызвало сомнений ее право на этот вопрос.

— А в Англии были?

— Почти нет.

— Сколько же их было?

Он помедлил, прежде чем кинуться головой в омут.

— Ну, честно говоря, ни одной.

— Ни одной подруги?

— Да.

Мария наклонилась вперед.

— То есть вы никогда...

Он не в силах был услышать какое бы то ни было окончание фразы.

— Нет, никогда.

Она прижала руку ко рту, чтобы подавить готовый вырваться смех. В пятьдесят пятом году было не так уж удивительно, что человек, подобный Леонарду по характеру и воспитанию, не имеет полового опыта к концу двадцать пятого года жизни. Признаться в этом — вот что заслуживало удивления. Он сразу же пожалел о своих словах. Она справилась со смехом, но лицо ее начало краснеть. Это их сплетенные пальцы заставили его решить, будто он может говорить откровенно. В этой голой комнатке с несколькими парами туфель, где жила одинокая женщина, не считавшая нужным возиться с молочниками и салфеточками на чайном подносе, казалось возможным ничего не приукрашивать.

Впрочем, он не ошибся. Румянец на щеках Марии был вызван стыдом при мысли о том, что Леонард обязательно поймет ее смех неправильно. В действительности это был нервный смех, вызванный облегчением. Ее вдруг освободили от тягостного ритуала обольщения. Теперь ей не надо было исполнять принятую в таких случаях роль и ждать оценки своей игры, сравнения ее с игрой других женщин. Ее страх перед физическим насилием пропал. Ее не заставят делать

ничего, что ей не хотелось бы. Она была свободна — они оба были свободны в выборе правил. Они вместе будут изобретать их. Она и вправду открыла для себя этого робкого англичанина с пристальным взглядом и длинными ресницами, он достался ей первой и будет принадлежать только ей. Эти мысли она сформулировала позже, когда осталась одна. А тогда все они вылились в единственный возглас облегчения и восторга, который она почти успела подавить.

Леонард сделал большой глоток из кружки, поставил ее на стол и сказал бодрым, неуверенным голосом: «Ну вот». Потом надел очки и поднялся. После их рукопожатия для него не было более тоскливой перспективы, чем отправиться отсюда прочь — обратно по Адальбертштрассе, вниз в метро и снова в свою квартиру, к пустой кружке из-под кофе и черновикам его дурацкого письма, рассыпанным по полу. Он видел все это мысленным взором, застегивая пояс своего габардинового пальто, но понимал, что после такой ошибки, как его унижительное признание, он должен уйти. Румянец на лице Марии делал ее еще милее, но и свидетельствовал об истинном масштабе его промаха.

Она тоже встала и шагнула, преграждая ему путь к двери.

— Мне правда пора идти, — объяснил Леонард, — работа и вообще... — Чем хуже ему становилось, тем беззаботней звучал его голос. Он начал обходить ее со словами: — Чай был просто великолепный.

— Я хочу, чтобы вы остались, — сказала Мария.

Именно это он и мечтал услышать, но он уже слишком пал духом для того, чтобы повернуть вспять, был слишком прикован мыслями к своему поражению. Он направлялся к двери.

— У меня встреча в шесть.

Это был отказ от последней надежды. Леонард сам удивлялся своей лжи. Он хотел остаться, она хотела, чтобы он остался, а он ничего не мог поделать. Словно кто-то лишил его воли, и он не мог поступить так, как велели ему собственные интересы. Жалость к себе убила в нем обычную способность придирчиво оценивать ситуацию и здравый смысл, и он очутился в туннеле, единственным выходом из которого было заманчивое самоуничтожение.

Он возился с непривычным замком, а Мария стояла прямо у него за спиной. Ей было до некоторой степени известно, как уязвима

мужская гордость, хотя это и поныне удивляло ее. Несмотря на внешнюю невозмутимость, мужчины легко обижаются. Их настроение подвержено резчайшим перепадам. Подхваченные вихрем непривычных эмоций, они склонны маскировать свою неуверенность агрессией. К тридцати годам она имела не такой уж богатый жизненный опыт, судила в основном по своему мужу да одному-двум знакомым солдатам, склонным впадать в буйство по любому поводу. Этот юноша, возившийся у двери, чтобы уйти, больше походил на нее саму, чем на ее бывших приятелей-мужчин. Она-то знала, каково ему сейчас. Когда тебе стыдно, ты стремишься еще сильнее испортить дело. Она легонько дотронулась до его спины, но он не почувствовал этого через пальто. Ему казалось, что он сочинил правдоподобное объяснение и теперь имеет право остаться наедине со своими муками. Для Марии же, за плечами которой было освобождение Берлина и брак с Отто Экдорфом, любое проявление ранимости в мужчине означало возможность душевного контакта с ним.

Наконец дверь была открыта, и он обернулся попрощаться. Неужто он и впрямь верил, что ее обманула его вежливость и вымышленная причина ухода, что она не замечает его отчаяния? Он говорил ей, как ему жаль, что приходится убегать, и снова благодарил за чай, и протягивал ей руку — пожатие! — когда она вдруг сняла с него очки и ушла с ними назад в гостиную. Не успел он двинуться за ней вслед, как она уже сунула их под подушечку на стуле.

— Послушайте, — сказал он и, дав двери затвориться позади себя, сделал один шаг в комнату, затем другой. И вот он снова очутился там. Он ведь хотел остаться, а теперь его вынудили. — Мне правда нужно идти, — Он стоял посредине крохотной комнатки в нерешительности, все пытаясь изобразить запоздалое английское негодование.

Она была рядом, и он видел ее отчетливо. Как это было прекрасно — не бояться мужчины. Это позволяло ей испытывать к нему симпатию, иметь собственные желания, а не просто откликаться на его. Она взяла его руки в свои.

— Но я еще не рассмотрела как следует ваших глаз, — Затем, с прямотой немецких девушек, которую так восхвалял Рассел, добавила: — *Du Dummer! Wenn es für dich das erste Mai ist, bin ich sehr glücklich.* Я очень счастлива, что у тебя это впервые.

Ее «это» и задержало Леонарда. Он снова вернулся к «этому». Все, что они здесь делали, было частью «этого», его первого раза. Он посмотрел сверху на ее лицо, этот диск, чуть отклоненный назад в соответствии с их семидюймовой разницей в росте. С верхней трети этого ровного овала спадали вниз пряди и завитки детских волос. Она была не первой девушкой, которую он целовал, но первой, кому это, похоже, нравилось. Ободренный, он сунулся языком ей в рот, как, по его представлениям, было положено.

Она чуть отодвинула от него лицо. Она сказала:

— *Langsam*. Спешить некуда, — И они поцеловались с дразнящей легкостью. Самые кончики их языков лишь коснулись друг друга, и в этом была особая прелесть. Затем Мария шагнула мимо него и достала из-под кучи обуви электрокамин.

— Времени хватит, — повторила она, — Мы можем провести неделю вот так, — Она обняла себя, чтобы показать.

— Правда, — ответил он, — Можем, — Его голос прозвучал неожиданно тонко. Он пошел за ней в спальню.

Она была побольше гостиниой. На полу лежал широкий матрас — тоже непривычная вещь. Одну стену занимал мрачный гардероб полированного дерева. У окна стоял крашеный комод, рядом с ним сундук для белья. Сев на сундук, Леонард смотрел, как она включает камин.

— Раздетыми слишком холодно. Ляжем в одежде, — Действительно, в воздухе был виден пар от их дыхания. Она скинула тапочки, он развязал ботинки и снял пальто. Они забрались под стеганое одеяло и легли обнявшись, как она предлагала, и поцеловались снова.

Хотя и не через неделю, но лишь через несколько часов, уже после полуночи Леонард ощутил, что наконец может назвать себя прошедшим инициацию, взрослым в полном смысле этого слова. Однако, к его восторгу, граница, отделяющая невинность от познания, оказалась размытой. По мере того как согревалась постель, а за ней потихоньку и вся комната, они начали помогать друг другу раздеваться. С ростом кучи на полу — свитеры, толстые рубашки, шерстяное белье и теплые носки — постель и самое время становились более просторными. Мария, наслаждаясь возможностью влиять на ход событий по своему вкусу, сказала, что сейчас как раз

пора целовать и облизывать ее всю, от самых кончиков пальцев на ногах до верха. Так и получилось, что Леонард, на середине этой весьма кропотливой работы, сначала проник в нее языком. Это был настоящий перелом в его жизни. Но таким же был и момент получасом позже, когда она взяла его в рот и принялась лизать и сосать, и делать что-то зубами. Если говорить о чисто физических ощущениях, это был пик всех шести часов, а может быть, и всей его жизни. Наступил долгий перерыв, когда они лежали тихо, и в ответ на ее вопросы он рассказал ей о школе, родителях и трех одиноких годах в Бирмингемском университете. Она более сдержанно поведала ему о своей работе, о клубе велосипедистов и влюбленном казначее, и о своем бывшем муже Отто, который раньше служил в армии сержантом, а потом спился. Два месяца назад он появился после годичного отсутствия, дважды ударил ее по голове наотмашь и потребовал денег. Это было не первым его нападением, но местная полиция бездействовала. Иногда они даже угощали его выпивкой. Отто убедил их в том, что он герой войны.

Эта история временно пригасила желание. Леонард оделся и поджентльменски спустился на Ораниенштрассе за бутылкой вина. Люди и машины сновали туда-сюда, не замечая великих перемен. Вернувшись, он застал ее за плитой в мужском халате и тех же теплых носках: она готовила картошку и омлет с грибами. Они съели все это в постели, с черным хлебом. Мозельское было приторным и терпким. Они отпили его из кружек и оба сделали вид, что им понравилось. Всякий раз, откусывая хлеб, он чувствовал ее запах на своих пальцах. Она захватила с собой свечу в бутылке и теперь зажгла ее. Кучка уютного барахла и грязные тарелки отодвинулись в тень. Серный запах спички повис в воздухе, смешиваясь с запахом от его пальцев. Он попытался вспомнить и шутливо воспроизвести проповедь, однажды слышанную им в школе, — о дьяволе и соблазне, и женском теле. Но Мария не поняла или самих слов, или того, почему надо говорить это ей и находить забавным, и погрузилась в сердитое молчание. Они лежали в полумраке, опершись на локти, и прихлебывали из кружек. Спустя несколько минут он коснулся тыльной стороны ее ладони и сказал: «Извини. Глупая история». Она простила его, повернув руку и сжав в ответ его пальцы.

Потом она устроилась у него на плече и проспала с полчаса. Все это время он лежал, упиваясь гордостью. Он изучал ее лицо — редкие брови, нижнюю губу, чуть оттопыривающуюся во сне, — и думал, каково было бы иметь ребенка, дочь, которая вот так спала бы у него под боком. Она проснулась освеженной. И захотела, чтобы он лег на нее. Он сгорбился, целуя ее соски. Потом они поцеловались — теперь, когда он знал, что делать с языком, это было вполне приятно. Они разлили остатки вина и чокнулись кружками.

Из того, что совершалось дальше, он запомнил только две вещи. Первую — что это было похоже на просмотр фильма, о котором все только и говорят: заранее его трудно себе представить, но когда ты уже в зале, то половину узнаешь, а другую открываешь. Тесная скользкая гладкость, например, оказалась не хуже, чем он надеялся, — даже лучше, поскольку вся прочитанная литература не подготовила его к приятному ощущению трения чужих лобковых волос о его собственные. Другая вещь внушала беспокойство. Он много читал о преждевременной эякуляции, гадал, будет ли она у него, и теперь опасался, что да. И не сами движения угрожали этой оплошностью. Он чувствовал близость срыва, когда смотрел ей в лицо. Она лежала на спине, поскольку они делали это, как она потом научила его говорить, *auf Altdeutsch*^[20]. Пот переиначил ее прическу, слепив волосы в извилистые пряди, а ее руки были закинута за голову с раскрытыми ладонями, как у сдающихся в плен персонажей комиксов. В то же время она смотрела на него снизу ласково, понимающе. Именно эта комбинация отрешенности и нежного внимания и была для него чересчур хороша, чересчур совершенна, и он вынужден был отводить глаза или закрывать их и думать о... да-да, об электрической схеме, особенно сложной и красивой, той, которую он выучил наизусть, оснащая магнитофоны «Ампекс» устройствами включения по сигналу.

На проверку всех магнитофонов и добавление к ним нужных устройств ушло четыре недели. Леонарду нравилось работать в комнате без окон. Само однообразие работы увлекало его. Когда он справлялся с очередным десятком приборов, приходил молодой служащий, сгружал их на тележку с резиновыми колесами и отвозил по коридору в комнату звукозаписи. Там уже работали новые сотрудники, в том числе англичане. Но Леонарда с ними не познакомили, и он держался от них в стороне. В свободные минуты он любил дремать, а в столовой всегда выбирал пустой столик. Гласс забегал один-два раза в неделю, вечно в спешке. Подобно другим американцам, он жевал резинку, но делал это истово, как никто другой. Благодаря этому и синюшным полукружьям под глазами он походил на суетливого грызуна, ведущего ночной образ жизни. В его бороде не было седых волос, но она выглядела менее черной. Она рассохлась и потеряла форму.

Однако его манеры остались прежними. «График выполняется, Леонард, — говорил он с порога, слишком торопясь дальше, чтобы зайти. — Мы уже почти на той стороне шоссе Шёнефельдер. Каждый день прибывают новые люди. Работа кипит!» И исчезал, прежде чем Леонард успевал отложить паяльник.

Действительно, после середины февраля Леонард уже с трудом находил в столовой незанятый столик. В окружающем гуле он слышал и английские голоса. Вместе с бифштексом ему теперь привычно подавали чашку чая с заранее размешанными в ней тремя-четырьмя ложками сахара. Из-за русских наблюдателей с биноклями многие англичане носили американскую форму со знаками различия войск связи; прибыли прокладчики вертикального туннеля, специалисты, знающие, как подкапывать мягкую землю под телефонными кабелями без риска обрушить ее себе на голову. Появились и люди из британских войск связи, в чью задачу входило установить в конце туннеля усилители. Некоторые лица были знакомы Леонарду по Доллис-хилл. Кое-кто из этих новоприбывших кивал в его сторону, но не подходил к нему. Возможно, им не хотелось нарушать правила секретности, но, скорее всего, они просто брезговали общением с

техническим работником низшего звена. В Лондоне они тоже никогда с ним не заговаривали.

А секретность в столовой соблюдалась не так уж строго. С ростом числа посетителей нарастал и шум разговоров. Гласс был бы возмущен. Маленькие группки людей со всего здания обсуждали свои дела, усевшись кружками. Леонард — он ел один, погруженный в мысли о Марии, до сих пор изумляющийся переменам, которые произошли в его жизни, — иногда против воли ловил обрывки беседы за соседним столиком. Его мир сузился до лишенной окон комнаты и постели, которую он делил с Марией. В любом другом месте ее квартиры было попросту чересчур холодно. Он стал здесь посторонним по своей воле, а теперь невольно превращался в соглядатая, в шпиона.

Однажды он услышал забавную историю, которую двое прокладчиков вертикального туннеля поведали своим американским коллегам. Оказывается, прежде этого туннеля был другой, в Вене. Его прорыли в сорок пятом разведчики из МИ-6; длиной в семьдесят футов, он вел из частного дома в пригороде Шве-хат к кабелям, связывающим штаб советских оккупационных войск в отеле «Империял» с советским командованием в Москве. «Им нужна была крыша, — сказал один прокладчик. Товарищ положил руку на его запястье, и он стал говорить тише, так что Леонарду пришлось напрячь слух, — Нужна была крыша на все то время, пока люди ходят туда-сюда и устанавливают аппаратуру. И тогда они открыли там магазинчик, где продавался импортный харрисский твид^[21]. Решили, что венцев вряд ли заинтересует такой товар. И что же? Местные жители толпами повалили за этим твидом. Выстроились в очередь, и первая партия разошлась в считанные дни. А эти бедолаги, вместо того чтобы заниматься своим делом, с утра до вечера заполняли накладные и отвечали на телефонные звонки. Пришлось им в конце концов закрыть лавочку».

«И тут, — сказал американец, когда все отсмеялись, — на вашей сцене появился наш герой».

«Правильно, — ответил англичанин, — туда приехал Нельсон, Нельсон...» — и как раз это имя, которое Леонарду еще предстояло услышать, заставило компанию осознать всю тяжесть допущенного ими нарушения. Разговор переключился на спорт.

Спустя несколько дней своими впечатлениями делились другие прокладчики, как вертикальной шахты, так и горизонтальной. Почти все истории, которые слышал Леонард, рассказывались для развлечения. Американцы опять вспомнили, как им пришлось тянуть туннель через свой же канализационный отстойник. Раздался громкий смех, и голос с английским акцентом вызвал новый взрыв веселья замечанием: «Да тут только и знаешь, что копаешься в собственном дерьме!» Потом один из американцев рассказал, как его с пятнадцатью товарищами — всех их специально отобрали для этой работы — заставили рыть пробный туннель в Нью-Мексико, чтобы затем приступить к прокладке берлинского. «Тот же тип почвы, вот в чем была идея. Хотели определить оптимальную глубину и проверить, не будет ли оползней и оседаний. И мы рыли...» — «И рыли, и рыли», — подхватили его приятели. «Через пятьдесят футов стало ясно, что глубже не надо, и никаких оползней не было. Думаете, работы свернули? Видали вы когда-нибудь такую бессмысленную картину? Туннель в пустыне, из ниоткуда в никуда, четыреста пятьдесят футов длиной. Четыреста пятьдесят футов!»

Очень часто обсуждалось, сколько времени понадобится русским или восточным немцам, чтобы обнаружить камеру для подслушивания, и что произойдет после этого. Удастся ли операторам покинуть ее, начнут ли русские стрелять, успеют ли наши закрыть стальные двери? Когда-то планировалась установка зажигательных средств для экстренного уничтожения секретного оборудования, но потом решили, что риск большого пожара слишком велик. В одном пункте сходились все, включая Гласса. На эту тему существовало даже предварительное исследование ЦРУ. Если русские когда-нибудь и обнаружат туннель, им придется хранить по этому поводу молчание. У них просто не хватит духу признаться в том, что прослушивались линии связи их верховного командования. «Молчание молчанию рознь, — сказал Леонарду Гласс. — Но на свете нет ничего похожего на великое русское молчание».

Была и другая история, которую Леонард слышал несколько раз. От случая к случаю она немного менялась в деталях и действовала сильнее всего на новичков, на тех, кто еще не был знаком с Джорджем. Поэтому в середине февраля она звучала в столовой довольно часто. Впервые Леонард услышал ее, стоя в очереди. Билл Харви, глава

берлинского отделения ЦРУ, фигура далекая и могущественная — Леонард ни разу не видел его даже мельком, — иногда посещал их туннель с проверкой. Поскольку Харви был известным в Берлине человеком, он появлялся здесь только ночью. Однажды он сидел на заднем сиденье автомобиля и слушал, как его шофер и другой солдат впереди жаловались на свою личную жизнь. «Никуда я не вылезая, а уж как охота», — сказал один. «Я тоже, — отозвался его друг, — Единственный, кому в последнее время удалось разок побаловаться, это Джордж», — «Счастливчик Джордж!»

Людям, работающим на складе, полагалось жить в относительной изоляции. Никто не знал, что они могут сболтнуть какой-нибудь фройляйн в минуту слабости. Степень гнева Билла Харви в ту ночь зависела от рассказчика. В одних версиях он просто требовал к себе дежурного офицера, в других — носился по зданию в ярости, подогретой алкогольным опьянением, и дежурный не знал, куда деваться от страха. «Найдите этого подлеца Джорджа и вышвырните его отсюда!» Начались поиски. Выяснили, что Джордж — это пес, местная дворняга, которую здешние рабочие прикормили «на счастье». В дальнейшем Харви якобы спокойно произнес в стремлении сохранить лицо: «Мне плевать, что он о себе думает. Он огорчил моих людей. Избавьтесь от него».

Спустя месяц главное задание Леонарда было выполнено. Четыре последних магнитофона, которые следовало снабдить устройствами включения по сигналу, были упакованы в два ящика специальной конструкции с английскими замками и холщовыми ремнями для дополнительной надежности. Эти приборы предполагалось использовать в самом конце туннеля. Ящики погрузили на тележку и отвезли в подвал. Леонард запер свою каморку и от нечего делать забрел в комнату звукозаписи. Эта просторная комната, освещенная лампами дневного света, была все же недостаточно велика для того, чтобы операторы могли свободно расположиться в ней вместе со своими ста пятьюдесятью приборами. Магнитофоны были расставлены на металлических полках, по три один над другим и в пять рядов. Между рядами ползали на четвереньках люди, прокладывая кабели питания и другие провода; вокруг и переступая через них сновали другие, с бобинами пленки, корзинами для входящих и исходящих бумаг, картонными ярлыками и липкой

лентой. Двое монтеров сверлили стену электродрелями, чтобы повесить на нее секцию картотечных ящичков длиной в двадцать футов. Еще кто-то уже наклеивал на эти ящички номерки из картона. У двери был сложен высокий, в человеческий рост, штабель из пачек бумаги и чистой магнитофонной пленки в простых белых коробках. С другой стороны от двери, в самом углу, зияла дыра — кабели уходили через нее в подвал, потом в шахту и дальше в туннель, туда, где вскоре должны были установить усилители.

Леонард провел на складе почти год, прежде чем понял систему работы в комнате звукозаписи. Прокладчики вертикального туннеля вели шахту к канаве на дальней стороне шоссе Шёнефельдер, где были протянуты под землей три кабеля. В каждом было по сто семьдесят два провода, обеспечивающих как минимум восемнадцать каналов связи. Весь хаотический поток информации, которая круглые сутки передавалась по этим линиям, состоял из телефонных разговоров и кодированных телеграфных сообщений. В комнате звукозаписи отслеживались только сигналы, шедшие по двум-трем проводам. Главный интерес представляли передвижения русских и восточногерманских телефонистов-ремонтников. Если бы возникла опасность, что туннель вот-вот обнаружат, что зверь — так Гласс иногда называл другую сторону — ворвется в подземные помещения и покусится на жизнь наших людей, первое предупреждение можно было бы получить с этих линий. Что касается остального, то записи телефонных разговоров отсылались в Лондон, а телеграфных сообщений — для декодирования в Вашингтон, на армейских самолетах с вооруженной охраной. Десятки дешифровщиков, среди которых было много русских эмигрантов, трудились в маленьких комнатках на Уайтхолле и временных казармах, в изобилии понастроенных между памятником Вашингтону и мемориалом Линкольна.

Стоя у двери комнаты звукозаписи в день окончания своей работы, Леонард был озабочен только одним: как бы найти себе новое занятие. Он принялся помогать немцу постарше, бывшему человеку Гелена, которого видел за рулем автопогрузчика, когда явился сюда впервые. Немцы уже перестали быть экс-нацистами, они превратились в соотечественников Марии. И Леонард с «фрицем», электриком по специальности, чье настоящее имя было Руди, зачищали провода и

закрепляли их в соединительных муфтах, надевали на кабели питания дополнительную изоляцию и фиксировали их на полу, чтобы никто о них не споткнулся. Обменявшись вначале именами, они трудились в дружественном молчании, передавая друг другу кусачки и одобрительно хмыкая по завершении каждой мелкой операции. То, что он может спокойно работать бок о бок с этим местным жителем, который, по словам Гласса, «жуть что творил», казалось Леонарду очередным свидетельством его новообретенной зрелости. Крупные пальцы Руди с расплуснутыми кончиками орудовали быстро и ловко. Как всегда, ближе к вечеру включили добавочное освещение, принесли кофе. Пока англичанин сидел на полу, прислонившись к стене, и дымил сигаретой, Руди продолжал свое дело: он отказался от перекура.

Еще позже комната начала понемногу пустеть. К шести Леонард с Руди остались одни и заработали быстрее, принявшись за последний ряд соединений. Наконец Леонард встал и потянулся. Теперь он снова мог позволить себе думать о Кройцберге и о Марии. На дорогу туда уйдет меньше часа. Он уже снимал со спинки стула пиджак и вдруг услышал с порога чей-то голос, назвавший его по имени. Протягивая руку, к нему шел человек, слишком худой для своего двубортного костюма. Руди, направлявшийся к выходу, пожелал Леонарду доброй ночи через плечо незнакомца. Леонард в наполовину надетом пиджаке откликнулся на прощание, пожимая протянутую ему руку.

Во время этой небольшой сумятицы Леонард автоматически, почти бессознательно произвел оценку манеры держаться, внешнего вида и голоса, по которым один англичанин определяет общественное положение другого.

— Джон Макнами. Один наш работник заболел, и мне понадобится еще пара рук в туннеле на всю следующую неделю. С Глассом уже договорились. У меня есть полчаса, если хотите, я сразу покажу вам что и как. — У Макнами были мелкие желтоватые зубы; довольно редкие, они к тому же выдавались вперед. Отсюда легкая шепелявость, за которой, впрочем, угадывался акцент коренного лондонца. Его тон был почти приятельским. Отказа явно не предполагалось. Макнами уже шагнул прочь из комнаты звукозаписи, но в его авторитетности ощущался некий изъян. Леонард понял, что он ученый, состоящий на государственной службе. Такие попадались среди его учителей в Бирмингеме, один-двое таких принимали участие

в исследованиях лаборатории на Доллис-хилл. Это был особый разряд нечестолубивых талантливых людей, в сороковые годы получивших ответственные посты в государственных организациях в связи с нуждами войны. Леонард уважал тех, кого знал. В разговорах с ними он не испытывал неловкости и не запинаясь, как перед выпускниками привилегированных частных школ, людьми вроде тех, кто кивал ему в столовой и кто имел возможность спокойно продвигаться по службе благодаря сносному знанию латыни и древнегреческого.

В подвале им пришлось постоять и подождать у шахты. Кто-то впереди искал пропуск, чтобы предъявить его охраннику. Поблизости источала холодный смрад наваленная до потолка земляная куча. Макнами топал ногами по грязному бетону и потирал костлявые белые руки. По дороге Леонард захватил из своей комнаты шинель, раздобытую для него Глассом, однако на Макнами был только серый костюм.

— Внизу будет гораздо теплее, когда включим усилители. Как бы жарко не стало, — сказал он, — Нравится вам здесь работать?

— Проект очень интересный.

— Вы наладили все магнитофоны. Утомились, наверное. — Леонард знал, что не стоит жаловаться начальству, даже если тебя на это вызывают. Макнами показал дежурному свой документ и расписался, чтобы пропустили Леонарда.

— Да нет, ничего.

Вслед за старшим спутником он спустился по лестнице в яму. Около входа в туннель Макнами поставил ногу на рельс и нагнулся завязать шнурок. Его голос звучал тихо, и, чтобы расслышать вопрос, Леонарду пришлось слегка наклониться.

— Какой у вас допуск, Марнем?

Охранник у края шахты смотрел вниз, на них. Неужели и он, подобно часовым у ограды, верил в то, что охраняет склад или даже радиолокационную станцию?

Леонард дождался, пока Макнами распрямится, и они вступили в туннель. Маленькие флюоресцентные лампочки едва рассеивали тьму. Звуки поглощались полностью. Собственный голос показался Леонарду непривычно глухим.

— Вообще-то третьей степени.

Макнами шел впереди, засунув руки глубоко в карманы брюк, чтобы согреться.

— Пожалуй, надо будет похлопотать, чтобы вам дали четвертую. Завтра этим займусь.

Они шагали между рельсами; начался небольшой уклон. Под ногами появились лужи, на стенах, закрытых стальными листами — они были привинчены друг к другу, чтобы не осталось щелей, — блестел конденсат. Слышался ровный гул насоса для откачки грунтовых вод. По обе стороны туннеля на высоту плеча были навалены мешки с песком, используемые как опора для кабелей и труб. Несколько мешков лопнуло, песок из них частично высыпался. Земля и вода напирала со всех сторон, стремясь снова занять отвоеванное у них пространство.

Они дошли до места, где рядом с кучей мешков лежали большие мотки колючей проволоки. Макнами подождал отставшего Леонарда.

— Сейчас мы вступаем в русский сектор. Когда они сюда проникнут, а это рано или поздно случится, мы должны будем натянуть эту проволоку при отступлении. Пускай уважают границу. — Он улыбнулся собственной шутке, обнажив свои некрасивые зубы. Они торчали, покосившись во всех направлениях, как старые могильные памятники. Он поймал взгляд Леонарда. Приложил ко рту указательный палец и заметил, игнорируя смущение своего молодого спутника: — Молочные зубы. Другие так и не пробились. Наверное, я просто не хотел взрослеть.

Они зашагали дальше по относительно ровной дороге. Из-за стальной двери ярдах в ста от них появились несколько человек и направились в их сторону. Казалось, они поглощены разговором. Но когда они приблизились, по-прежнему не было слышно ни звука. Они то собирались в кучку, то шли гуськом. Когда до них оставалось футов тридцать, Леонард начал улавливать свистящие: эти люди говорили шепотом. Но и он прекратился, когда две группы сошлись со сдержанными кивками.

— Главное здесь — не шуметь, особенно после пересечения границы, — Макнами говорил еле слышно, почти шептал. — Как вам известно, низкие частоты, человеческие голоса, легко проникают через препятствия.

— Да, — шепнул Леонард, но его ответ был заглушен шумом насоса.

По двум одинаковым рядам опор из мешков с песком были протянуты кабели питания, трубы системы кондиционирования и провода из комнаты звукозаписи, заключенные в свинцовую оболочку. На стенах висели телефоны, огнетушители, коробки с плавкими предохранителями, рубильники для включения аварийного питания. Иногда, как на автомобильной трассе, попадались зеленые и красные предупредительные огни. Это был игрушечный городок, устройство которого говорило о мальчишеской изобретательности. Леонард вспомнил секретные шалаши, туннели в густом подлеске, которые они с друзьями сооружали на заросшем участке вблизи его дома. И гигантскую игрушечную железную дорогу в лондонском магазине «Хэмлиз», безмятежный мирок с замершими овцами и коровами на неожиданных зеленых холмах, которые были всего лишь камуфляжем для туннелей. Туннели означали таинственность и уют; по ним пробирались мальчишки и поезда, скрытые от докучливых взоров, а потом выходили невредимые.

Макнами снова забормотал ему в ухо:

— Я вам скажу, что мне нравится в этом проекте. Отношение. Если уж американцы за что-то берутся, они делают это хорошо и плюют на цену. Мне дают все, что нужно, без единого звука. Без всякой чуши вроде «попробуйте обойтись половиной мотка веревки».

Леонарду польстило такое доверие. Он попытался выразить свое согласие шуткой:

— Когда еду готовят, они тоже сил не жалеют. Поглядите на их жареную картошку...

Макнами отвернулся. Казалось, это детское замечание так и висело между ними до тех пор, пока они не достигли стальной двери.

За ней по обе стороны от узкоколейки стояли механизмы системы кондиционирования. Они протиснулись мимо техника-американца, который возился с ними, и открыли вторую дверь.

— Ну, — сказал Макнами, затворив ее за Леонардом, — как вам тут?

Они очутились в ярко освещенном отрезке туннеля, где царили порядок и чистота. Стены были обиты фанерой, когда-то давным-давно выкрашенной в белый цвет. Рельсы исчезли под бетонным

полом, покрытым линолеумом. Сверху доносился шум движения на шоссе Шёнефельдер. Между шкафами с электрической начинкой вклинились аккуратные рабочие столы; на их фанерной поверхности стояли магнитофоны, рядом лежали наушники. Тут же, в уголке, приткнулись ящики, которые Леонард отправил сюда сегодня. Ему не предложили оценить достоинства усилителя. Он знал эту модель по Доллис-хилл. Это был мощный, компактный прибор весом меньше сорока фунтов. В лаборатории, где работал Леонард, вряд ли нашлась бы более дорогая вещь. Собственно говоря, это был целый комплекс устройств, и набор переключателей к нему, вытянувшийся вдоль одной стены туннеля футов на девяносто и высотой в человеческий рост, походил на оборудование телефонной станции. Макнами гордился этим размахом, свидетельством широких возможностей и мощности усилителя, рассчитанного на огромное число контролируемых линий. У двери освинцованные кабели разбивались на многоцветные жилы, идущие к соединительным коробкам и вновь появляющиеся оттуда в виде более мелких пучков, скрепленных резиновыми зажимами. Трое британских связистов были заняты работой. Они кивнули Макнами, не обратив никакого внимания на Леонарда. Двое новоприбывших прошествовали мимо аппаратуры и людей торжественным шагом, словно проверяя почетный караул.

— Общая цена почти четверть миллиона фунтов, — сказал Макнами, — Мы отслеживаем сигналы русских вплоть до мельчайших модуляций, так что нам нужно все самое лучшее.

После замечания о жареной картошке Леонард выражал свое одобрение только кивками и вздохами. Он придумывал вопрос поумнее, который можно было бы задать, и лишь краем уха слушал Макнами, описывающего внутреннее устройство сети. Особенного внимания и не требовалось. Гордость Макнами в этой ярко освещенной, белой операторской имела безличный характер. Ему нравилось смотреть на здешние достижения глазами новичка, и на роль последнего годился кто угодно. Леонард все еще размышлял над своим вопросом, когда они подошли ко второй стальной двери. Тут Макнами остановился.

— Это двойная дверь. В камере для прослушивания необходимо поддерживать давление, чтобы избежать утечки азота.

Леонард снова кивнул. Русские вводили в свои кабели азот и герметизировали их, чтобы туда не проникала влага и легче было засечь повреждение. Создание вокруг кабелей зоны высокого давления позволяло присосаться к ним незаметно. Макнами толкнул дверь, и Леонард проследовал за ним. Они точно вошли внутрь барабана, по которому стучал невидимый дикарь. Шум дорожного движения заполнял вертикальную шахту и реверберировал в камере для прослушивания. Макнами наступил на кучу мешков из-под звукоизоляционного материала и взял со столика фонарь. Они стояли прямо под вертикальным туннелем. Наверху, выхваченные светом фонаря, чернели три грязных кабеля, каждый в четыре-пять дюймов толщиной. Макнами открыл было рот, но шум усилился до невыносимого, и ему пришлось подождать. Когда все стихло, он сказал:

— Телега с лошастью. Это хуже всего. Когда будем готовы, вытянем кабели вниз гидравлическим домкратом. Потом нам понадобится полтора дня, чтобы забетонировать крышу. Резать начнем только после того, как закончим все остальное. Сначала прошунтируем линии, а потом сделаем свои отводы. В каждом кабеле может оказаться больше ста пятидесяти жил. Специалист из МИ-шесть поставит подслушивающее устройство и три запасных, на случай отказа первого. Один из наших заболел, так что вас, наверное, включат в группу обеспечения.

Объясняя, Макнами положил руку на плечо Леонарда. Они отошли из-под шахты туда, где было потише.

— У меня есть вопрос, — сказал Леонард, — но вы, возможно, не захотите на него отвечать.

Ученый пожал плечами. Леонард надеялся на его одобрение.

— Понятно, что все важные военные сообщения передаются по телеграфу в зашифрованном виде. Как мы их прочтем? Ведь современные коды практически не поддаются расшифровке.

Макнами вынул из кармана пиджака трубку и закусил черенок. Курить, разумеется, было нельзя.

— Об этом я и собирался с вами поговорить. Вы тут ни с кем не общались?

— Нет.

— Вы слыхали о человеке по фамилии Нельсон, Карл Нельсон? Он работал в ЦРУ, в отделе связи.

— Нет.

Макнами уже выходил обратно через двойную дверь. Он тщательно запер ее, прежде чем они двинулись дальше.

— Это четвертый допуск. Можно считать, он у вас в кармане. Теперь вы почти что в клубе избранных. — Они снова остановились, на сей раз у первой стойки с усилительным оборудованием. В дальнем конце помещения, явно за пределами слышимости, молча работали трое связистов. Продолжая говорить, Макнами провел пальцем по корпусу усилителя — возможно, он хотел создать впечатление, что речь идет о приборе, — Я объясню упрощенно. Было обнаружено, что, когда вы электрически кодируете сообщение и отправляете его по линии, остается слабое электрическое эхо, копия оригинала, первичного текста, которое сопровождает шифровку. Оно такое слабое, что затухает примерно миль через двадцать. Но с хорошим оборудованием и при условии, что вы подключаетесь к линии в пределах этих двадцати миль, можно получить ясное сообщение, которое поступает прямо на телетайп, и тогда сложность кода уже никого не волнует. На этом основана вся наша работа. Мы не стали бы затевать строительство такого масштаба только ради того, чтобы слушать пустую телефонную болтовню. Это открытие сделал Нельсон, и он же разработал оборудование. Он был в Вене, искал хорошее местечко, чтобы проверить свою штуку на линиях русских, и как раз набрел на туннель, который мы построили для прослушивания этих самых линий. Тогда мы очень благородно пустили американцев в наш туннель, дали им все, что нужно, разрешили пользоваться нашими отводами. И знаете что? Они даже не рассказали нам об изобретении Нельсона. Просто отправляли материал в Вашингтон и читали там нормальный текст, а мы тут ломали голову, разгадывая коды. И это называется союзники. С ума сойти, а? — Он помолчал, дожидаясь кивка Леонарда. — Теперь, в этом совместном проекте, они нам секрет раскрыли. Но только в обидах чертах, заметьте, а не в подробностях. Поэтому я и излагаю вам только идею.

Двое связистов направлялись к ним. Макнами увлек Леонарда обратно к камере прослушивания.

— Вообще-то вам не полагается все это знать. Вы, наверно, гадаете, что у меня на уме. Так вот, они обещали делиться всем, что раздобудут. Нам приходится верить им на слово. Но мы не хотим подбирать крошки с их стола. У нас другие понятия о сотрудничестве. Мы разрабатываем собственный вариант нельсоновского метода и уже нащупали кое-какие очень перспективные отправные точки. Американцам мы об этом не говорим. Тут важна быстрота, потому что рано или поздно русские сделают то же открытие и модифицируют свои передающие устройства. Над этим работает группа на Доллс-хилл, но и здесь не мешает иметь человека, который будет смотреть во все глаза и держать ушки на макушке. Мы полагаем, что здесь есть один или два американца, знающих о нельсоновском оборудовании. Нам нужен кто-нибудь с техническим образованием и на не слишком высокой должности. Стоит им увидеть меня, как они сразу дают дёру. А нам нужны детали, любая мелочь из болтовни техперсонала, все, что может помочь нам продвинуться вперед. Вы знаете, как неосторожны бывают янки. Они чешут языки, разбрасывают вещи.

Они остановились у двойной стальной двери.

— Ну? Что вы думаете по этому поводу?

— Они много чего говорят в столовой, — ответил Леонард, — В общем-то, как и наши.

— Значит, согласны? Хорошо. Потом обсудим это подробнее. Идемте наверх, выпьем чайку. Продрог до костей.

Они вернулись по узкоколейке назад в американский сектор. Трудно было не гордиться всем этим сооружением. Леонард помнил, как до войны его отец сделал маленькую кирпичную пристройку к кухне. Леонард оказывал ему символическую детскую помощь: подавал мастерок, носил в магазин список нужных инструментов и так далее. Когда все было закончено, прежде чем внесли кухонную мебель, он стоял в этом новом помещении с оштукатуренными стенами, электропроводкой и самодельным окном, до головокружения довольный самим собой.

На складе Леонард, извинившись, отказался от чая в столовой. Теперь, когда Макнами выразил ему одобрение и даже благодарность, он держался свободно и уверенно. Перед тем как уйти, он заглянул в свою комнату. Само отсутствие магнитофонов на полках было маленьким триумфом. Он запер дверь и отнес ключ дежурному. Затем

пересек двор, миновал часового у ворот и отправился в Рудов. Уже стемнело, но он знал дорогу как свои пять пальцев. Его шинель плохо защищала от холода. Он чувствовал, как застывают волоски в носу. Когда он вдыхал ртом, воздух обжигал легкие. Он физически ощущал раскинувшуюся кругом промерзшую равнину. Его путь лежал мимо бараков, где осели беженцы из Демократической республики. В темноте около домов играли дети; услышав его звонкие шаги по дорожному покрытию, они зашикали друг на друга и смолкли, дожидаясь, пока он пройдет. Чем больше он удалялся от склада, тем ближе становилась Мария. Он никому не говорил о ней на работе и не имел права рассказывать ей, чем он занимается. Возможно, находясь между этими двумя изолированными мирами, он получал шанс как бы уравновесить их, осознать свое независимое «я», а может быть, в это время он был вообще ничем, пустотой, передвигающейся между двумя точками, — он не знал. Только по прибытии туда или сюда он обретал цель, самостоятельно либо с чужой помощью, и начинал снова чувствовать себя личностью или одной из двух своих личностей. Но он знал наверняка, что по мере приближения его поезда к Кройцбергу эти мысли будут понемногу отступать, а когда он пересечет двор и поспешит вверх по лестнице, шагая через две, а то и через три ступеньки сразу, они исчезнут совсем.

По случайности время инициации Леонарда совпало с самой холодной неделей зимы. Старожилы сходились на том, что минус двадцать пять — это исключение и по суровым берлинским меркам. Облаков не было, и днем, на ярком оранжевом свету, даже руины разбомбленных домов казались почти прекрасными. Ночью влага на внутренней стороне оконных стекол в квартире Марии замерзала, образуя фантастические узоры. По утрам Леонардова шинель, которой они укрывались поверх всего прочего, затвердевала от холода. В эту пору он редко видел Марию обнаженной, во всяком случае целиком. Зарываясь в тепло слегка отсыревшей постели, он видел, как блестит ее кожа. Они наваливали на себя тонкие одеяла, пальто, полотенца, чехол с кресла, детский матрасик, и вся эта груда держалась на честном слове. У них не было ни одной достаточно большой вещи, чтобы скрепить ее. Стоило сделать неверное движение, и отдельные тряпки начинали соскальзывать, а затем разваливалась и вся куча. Тогда они поднимались на своем ложе лицом друг к другу и, дрожа, принимались складывать ее заново.

Это научило Леонарда забираться в постель с осторожностью. Погода располагала к изучению деталей. Ему нравилось прижиматься щекой к ее животу, упругому от езды на велосипеде, или залезать языком в ее пупок, внутреннее устройство которого было сложным, как у уха. Там, в полумраке — они не подтыкали одеял под матрац, и откуда-нибудь сбоку всегда просачивался свет, — в замкнутом и тесном пространстве он научился любить запахи: запах пота, напоминающий о скошенной траве, и запах ее возбуждения с двумя его составляющими, резкий, но и смягченный, едкий и притупленный — фрукты и сыр, подлинные ароматы самого желания. Эта синестезия была сродни легкому бреду. На пальцах ее ног прощупывались крохотные мозолистые выступы. Он слышал шорох хрящей в ее коленных суставах. На пояснице у нее была родинка, из которой росли два длинных волоска. Только в середине марта, когда потеплело, он узнал, что они серебряные. Ее соски напрягались, когда он дышал на них. На мочках ушей были следы от клипсов. Запуская руку в ее детские волосы вблизи макушки, он видел, как они расходятся у

корней на три пучка, и ее голова под ними казалась слишком белой, слишком уязвимой.

Мария поощряла эти раскопки, эти *Erkundungen*^[22]. Она лежала в полудреме, как правило молча, иногда облекая в слова обрывочные мысли и глядя, как ее дыхание поднимается к потолку.

— Майор Ашдаун — забавный человек... это приятно, прижми ладонь поплотнее к моей подошве, ага... Каждые четыре часа я приношу ему в кабинет горячее молоко и яйцо. Он хочет, чтобы хлеб нарезали кусочками, один, два, три, четыре, пять, вот так, и знаешь, как он их называет, этот вояка?

Леонард отозвался приглушенным голосом:

— Солдатики.

— Точно. Солдатики! Значит, вот как вы победили в войне? Благодаря этим солдатам? — Леонард вынырнул, чтобы отдышаться, и она обвила руками его шею. — *Mein Dummerchen*, мой невинный младенец, что ты сегодня там отыскал?

— Я слушал твой живот. Наверно, пора обедать.

Она привлекла его к себе и поцеловала. Мария свободно выражала свои желания и удовлетворяла любопытство Леонарда, которое находила милым. Иногда его вопросы были дразнящими, как бы несли в себе привкус соращения. «Скажи, почему ты любишь наполовину», — шептал он, и она отвечала: «Но я люблю глубоко, совсем глубоко», — «Нет, ты любишь наполовину, вот так. Скажи почему».

Леонард питал естественную склонность к порядку и чистоплотности. Однако за четыре дня после начала первого в его жизни романа он ни разу не сменил нижнего белья, не надел свежей рубашки, да и умывался кое-как. Ту первую ночь в постели Марии они провели за разговорами, почти без сна. Часов в пять утра они перекусили сыром, черным хлебом и кофе, в то время как сосед за стеной шумно прочищал глотку перед уходом на работу. Они снова соединились, и Леонард остался доволен своей способностью к восстановлению сил. У него все в порядке, подумал он, все так же, как у других. Затем он погрузился в обморочный сон и часом позже очнулся от звона будильника.

Он высунул голову из-под одеял и почувствовал, как кожа на ней съезживается от холода. Сняв руку Марии со своего живота, он вылез

наружу и, дрожа, в темноте, на четвереньках нащупал свою одежду под пепельницей, грязными тарелками, блюдцем со сгоревшей свечой. На рукаве его рубашки лежала ледяная вилка. Очки он догадался спрятать в ботинок. Бутылка из-под вина упала, и подонки вылились на пояс его подштанников. Пальто было брошено поверх постели. Он стащил его и поправил на Марии оставшуюся кучу. Когда он ощупью нашел ее голову и поцеловал ее, она не шевельнулась.

Уже в пальто, он встал перед кухонной раковиной, переложил на пол сковородку и плеснул себе в лицо обжигающе холодной водой. Потом вспомнил, что где-то должна быть ванная. Включив там свет, он зашел внутрь. Впервые в жизни он воспользовался чужой зубной щеткой. Он посмотрел на свое отражение в зеркале — это был другой человек. Отросшие за день волосы на подбородке были слишком редки для распутной щетины, а на крыле носа алело яркое пятнышко, зарождающийся прыщ. Ему почудилось, что его взгляд, несмотря на общую измотанность, стал тверже.

В течение всего дня он гордо сносил усталость. Она тоже была одним из элементов его счастья. Все детали этого дня проплывали перед ним, легкие и отчужденные: поездка на метро и автобусе, пешая прогулка мимо замерзшего пруда и среди просторных, колючих белых полей, часы наедине с магнитофонами, обособленный бифштекс с картошкой в столовой, снова часы за привычными схемами, затем пешком в темноте на остановку, дорога и вновь Кройцберг. Бессмысленно было тратить драгоценное нерабочее время на то, чтобы ехать мимо ее станции к себе. В этот вечер он пришел к ней сразу после того, как она сама вернулась с работы. В квартире по-прежнему царил беспорядок. Они снова залезли в постель, чтобы согреться. Ночь повторилась с некоторыми вариациями, утро повторилось без таковых. Наступил вторник. Среда и четверг прошли аналогичным образом. Гласс довольно холодно спросил, не отращивает ли он бороду. Если Леонард нуждался в доказательствах своего посвящения в тайны пола, ими могли служить его задубевшие серые носки и запахи сливочного масла, вагинальных соков и картошки, поднимающиеся от его груди, стоило ему только расстегнуть на рубашке верхнюю пуговицу. В жарко натопленных рабочих помещениях складки его одежды источали аромат несвежей постели и тяжелого, обессиливающего забытья в лишенной окон комнате.

В свою собственную квартиру он вернулся лишь в пятницу. У него было такое чувство, будто он уезжал на годы. Он прошелся по комнатам, включая везде свет и с удивлением отмечая следы пребывания здесь своего прежнего «я», того, кто писал все эти черновики, разбросанные вокруг, чисто вымытого невинного юноши, оставившего в ванной следы пены и волоски, а на полу — грязные вещи и полотенца. Тут жил человек, не умеющий готовить кофе, — теперь, после наблюдения за Марией, Леонард хорошо освоил эту процедуру. Тут по-детски лежала плитка шоколада, а рядом с ней письмо от матери. Он быстро перечел его и почувствовал недовольство, прямо-таки раздражение ее мелкими тревогами по поводу его быта. Пока наполнялась ванна, он шлепал по квартире в одних трусах, вновь радуясь теплу и простору. Он насвистывал и напевал обрывки песен. Сначала ему не удавалось вспомнить ничего достаточно лихого. Все известные ему песенки о любви были чересчур благопристойны, чересчур сдержанны. Оказалось, что больше всего подходят к случаю дурацкие американские вопли, которые прежде только раздражали его. Он попытался вспомнить слова, но они вспоминались не все: «И сделай что-то там с кастрюлями и ложкой. Тряси, греми, верти! Тряси, греми, верти!» Под лестное эхо в ванной он повторял эти выкрики снова и снова. Английский акцент делал их еще глупее, но суть была верная: восторг и сексуальность при более или менее полном отсутствии смысла. Никогда в жизни он не ощущал такого чистого, беспримесного счастья. Пока он в одиночестве, но все же не один. Его ждут. У него есть время, чтобы привести в порядок себя и квартиру, а потом он отправится в путь. «Тряси, греми, верти!» Спустя два часа он уже открывал входную дверь. На этот раз он захватил с собой все нужные вещи и не возвращался целую неделю.

На этом раннем этапе Мария отказывалась ехать к Леонарду, хотя он как мог расписывал удобства своей квартиры. Она боялась, что стоит ей начать проводить ночи на стороне, как соседи заметят это и среди них пойдут разговоры о том, что она нашла себе мужчину и жилье получше. Власти прослышат об этом, и ее выселят. В Берлине даже квартиры с одной спальней и без воды пользовались огромным спросом. Ее желание оставаться в родных стенах казалось Леонарду разумным. Они лежали в постели, делая короткие вылазки на кухню — приготовить что-нибудь на скорую руку. Чтобы помыться, надо было

налить воды в кастрюлю и ждать под одеялом, пока она закипит, а потом бежать в ванную и наливать кипяток в стылый фаянс. Затычка протекала, а давление в единственном холодном кране менялось непредсказуемо. Для Леонарда и Марии работа была местом, где тепло и прилично кормят. Дома можно было находиться только в постели, больше нигде.

Благодаря Марии Леонард стал активным и заботливым любовником, она научила его действовать так, чтобы все ее оргазмы предшествовали его собственному. Это казалось естественной вежливостью, как уступить женщине дорогу. Он научился любить ее *in der Hundestellung*, по-собачьи, — при этом быстрее всего разваливались одеяла, — а также сзади, когда она лежала на боку, отвернувшись от него, почти засыпая; бывало и так, что они оба ложились на бок, но лицом к лицу, в тесных объятиях, и тогда одеяла едва шевелились. Он обнаружил, что нет твердых правил для приведения ее в готовность. Иногда ему довольно было посмотреть на нее, и больше никаких хлопот не требовалось. В других случаях он трудился кропотливо, как мальчишка над сборной моделью, а она вдруг прерывала его предложением съесть хлеба с сыром или выпить еще чаю. Он выяснил, что ей нравится ласковый шепот на ухо, но только до тех пор, пока ее глаза не начнут закатываться. Потом она уже не хотела никаких отвлечений. Он научился спрашивать в аптеке презервативы. Как-то Гласс сказал, что ему полагается бесплатное снабжение ими по линии американской армии, и он привез домой на автобусе четыре гросса^[23] в голубой картонной коробке. Он сидел с этой упаковкой на коленях под взглядами других пассажиров и чувствовал, что голубой цвет каким-то образом выдает его. Однажды, когда Мария трогательно предложила надеть ему презерватив, он ответил «нет» чересчур агрессивно. Позже он задумался о том, что же его отпугнуло. Это было первым проявлением некоей странной, внушающей беспокойство черты его характера. Она не поддавалась прямому определению. В игру вступали элементы сознания, штрихи его истинной натуры, которые ему не нравились. Когда новизна происходящего миновала и он уверился, что может делать это не хуже всех остальных, и понял, что не станет кончать слишком быстро, когда все это выяснилось и он вполне убедился в том, что Мария по-настоящему любит и хочет его и будет хотеть дальше, — тогда у него

появились мысли, которые он не в силах был прогнать во время любовных сеансов. Вскоре они стали неотделимы от его желания. С каждым разом эти фантазии подступали все ближе, разрастались, принимая новые формы. На грани его сознания маячили смутные фигуры — теперь они шагали прямо к центру, прямо к нему. Все они были версиями его самого, и он знал, что не способен сопротивляться им.

Это началось на третий или четвертый раз с простого соображения. Он смотрел сверху вниз на Марию, глаза которой были закрыты, и вдруг вспомнил, что она немка. В конце концов, это слово так и не освободилось полностью от своих ассоциаций. Ему на память пришел его первый день в Берлине. Немцы. Враги. Смертельные враги. Покоренные. Это последнее вызвало мгновенный восторженный трепет. Он тут же отвлек себя расчетом общего импеданса некоей цепи. Потом она покоренная, она принадлежит ему по праву, по праву победителя, которое досталось ему как следствие невообразимого насилия, героизма и жертв. Что за упоение! Быть правым, победить, добиться награды. Он посмотрел вдоль собственных рук, вытянутых перед ним, упершихся в матрац, — туда, где рыжеватые волосы росли гуще всего, чуть пониже локтя. Он был крепок и великолепен. Он стал двигаться быстрее, сильнее, чуть ли не запрыгал на ней. Он был велик, славен, могуч, свободен. Задним числом эти формулировки смутили его, и он отверг их. Они были чужды его мягкому и уступчивому характеру, оскорбляли его понятие о разумности. Достаточно было взглянуть на Марию, чтобы увидеть, что она ничуть не похожа на покоренную. Вторжение в Европу не сокрушило, а освободило ее. И разве не она его наставница, по крайней мере в этих играх?

Но в следующий раз те же мысли возвратились. Они были неотразимо притягательны, и он пасовал перед их неожиданными оборотами. Теперь она опять принадлежала ему по праву победителя и вдобавок *ничего не могла с этим поделать*. Она не хотела ложиться с ним в постель, но у нее не было выбора. Он призвал на помощь электрические схемы. Напрасно. Она пыталась вырваться. Она билась под ним, он почти слышал выкрик «Нет!». Ее голова металась из стороны в сторону, глаза были закрыты, чтобы не видеть неизбежного. Он приковал ее к матрацу, она принадлежала ему и ничего не могла с этим поделать, она никогда не вырвется. И все — это оказалось концом

для него, он не удержался, пришел к финишу. Его мозг прояснился, и он лег на спину. Теперь его сознание было ясным, и он подумал о еде, о сардельках. Не о здешних, всех этих *Bratwurst*, *Bockwurst* и *Knackwurst*, а об английских, толстых и нежных, обжаренных со всех сторон до коричнево-черной корочки, с картофельным пюре и мягким горошком.

С течением дней он почти перестал смущаться. Он свыкся с той очевидной истиной, что происходящее у него в голове не может быть замечено Марией, хоть их и разделяют всего лишь несколько дюймов. Эти мысли были только его, они не имели к ней ровно никакого отношения.

Вскоре у него в мозгу сложилась новая, более яркая картина. В ней суммировались все прежние элементы. Да, она была покорена, завоевана, его по праву, не могла вырваться, но теперь он к тому же *был солдатом*, усталым, потрепанным в боях и окровавленным, однако вовсе не инвалидом, а наоборот, полным сил. Он схватил эту женщину и принудил ее лечь с ним. Ужас и благоговение заставили ее подчиниться. Ему нравилось подтягивать шинель на постели повыше — так, чтобы, поворачивая голову налево или направо, он мог краем глаза видеть темно-зеленое сукно. Ее неохота и его непоколебимая решимость были предпосылками для дальнейших фантазий. Когда он отправлялся по своим делам в город, где кишмя кишели военные, воображать себя солдатом казалось глупым, но эти мысли легко было выкинуть из головы.

Настоящие трудности возникли, когда он стал испытывать соблазн поделиться с ней своими навязчивыми идеями. Сначала он просто сильнее налегал на нее, покусывал довольно-таки осторожно, прижимал к матрацу ее вытянутые руки и представлял себе, что не дает ей убежать. Однажды он шлепнул ее по задку. Все это, по-видимому, почти не волновало Марию. Она ничего не замечала или притворялась, что не замечает. Усиливалось лишь его собственное наслаждение. Теперь соблазн стал еще более неотвязным — он хотел, чтобы она знала, что у него на уме, пусть даже все это сплошная глупость. Ему не верилось, что это не возбудит ее. Он шлепнул ее снова, укусил и прижал сильнее. *Ей придется отдать то, что ему причитается.*

Его личные переживания уже потеряли прежнюю остроту. Он хотел разделить их с ней. Хотел, чтобы его фантазии стали реальностью. Для этого надо было сделать следующий необходимый шаг — рассказать ей о них. Он хотел, чтобы Мария признала его власть и пострадала от этого, чуть-чуть, только ради удовольствия. Ему было легко молчать лишь после завершения акта. Тогда он испытывал стыд. Какая такая у него власть? Все недавние мысленные картины вызывали у него одно отвращение. Потом он начинал гадать, возможно ли, чтобы они не возбудили ее тоже. Обсуждать было, собственно говоря, нечего. Он не умел, да и не отважился бы выразить это в словах. Нельзя же спрашивать у нее разрешения! Ее следовало взять врасплох, показать все на деле, чтобы ее удовольствие победило разумные возражения. Он думал обо всем этом и понимал, что обратного пути нет.

К середине марта небо затянули бесформенные белые облака и температура резко поднялась. Грязный снег глубиной в несколько дюймов растаял за три дня. Вдоль дороги от поселка Рудов к складу появились зеленые прогалины, а на деревьях у обочины — толстые клейкие почки. Леонард и Мария пробуждались от зимней спячки. Они оставили постель и спальню и вернули электрокамин обратно в гостиную. Они ели вместе в *Schnellibiß* и заходили в местную *Kneipe* выпить по стакану пива. Посмотрели на Курфюрстендамм фильм про Тарзана. Как-то в субботу они отправились в «Рези» потанцевать под музыку немецкого биг-бэнда, игравшего поочередно лирические американские песни и баварские мелодии в живом, энергичном темпе. Они отметили свой первый выход бутылкой шампанского. Мария сказала, что хочет сесть отдельно и обмениваться записками по пневматической почте, но свободных столиков не было. Они заказали еще бутылку, и оставшихся денег хватило лишь на полпути домой. Выйдя из автобуса, они зашагали по Адальбертштрассе; усталая Мария зевнула в голос и взяла Леонарда под руку. За последние три дня она отработала десять часов сверхурочно, поскольку одна из ее товарок заболела гриппом. А предыдущей ночью они с Леонардом не спали до рассвета, и даже потом пришлось еще перестилать постель, прежде чем уснуть.

— *Ich bin müde, müde, müde*, — тихо сказала она, когда они поднимались по лестнице.

В квартире она сразу пошла в ванную готовиться ко сну. Ожидая в гостиной, Леонард допил бутылку белого вина. Когда она появилась, он сделал несколько шагов и преградил ей дорогу в спальню. Он знал, что если не потеряет уверенности и будет слушаться своих желаний, то все пройдет гладко.

Она подошла и взяла его за руку.

— Давай поспим. Впереди еще целое утро.

Он отнял свою руку и упер ее в бок. От нее по-детски пахло зубной пастой и мылом. В другой руке она держала заколку.

Леонард заговорил ровно и, как ему казалось, без выражения:

— Раздевайся.

— Конечно, в спальне. — Она попыталась обогнуть его. Он схватил ее за локоть и оттолкнул назад.

— Нет, здесь.

Она была раздражена. Он предвидел это, он знал, что им придется через это пройти.

— Сегодня я слишком устала. Ты же видишь, — Последние слова были сказаны примирительным тоном, и Леонарду потребовалось усилие воли, чтобы взять ее за подбородок большим и указательным пальцами.

Он повысил голос.

— Делай, как тебе велено. Здесь. Сейчас.

Она отбросила его руку. Все это и впрямь удивило, даже немного позабавило ее.

— Ты пьян. Ты перепил в «Рези», а теперь воображаешь себя Тарзаном.

Ее смех разозлил его. Он кинулся на нее и прижал к стене сильнее, чем рассчитывал. От удара у нее перехватило дыхание. Глаза расширились. Она с трудом перевела дух и сказала:

— Леонард...

Он знал, что не обойдется и без страха и что они должны миновать эту фазу как можно быстрее.

— Слушайся меня, и все будет в порядке. — Его голос звучал ободряюще, — Снимай все, или я сделаю это за тебя.

Она вжалась в стену. Затрясла головой. Ее глаза были темными, глубокими. Возможно, подумал он, это первый признак успеха. Когда

она начнет подчиняться, она поймет, что вся сцена затеяна только ради удовольствия, и его, и ее. Тогда страх исчезнет совсем.

— Ты будешь делать, что я велю. — Ему удалось погасить вопросительную интонацию.

Она разняла сцепленные руки и оперлась ладонями на стену за собой. Ее голова была неподвижна и чуть склонена набок. Она глубоко вдохнула и сказала:

— Сейчас я пойду в спальню. — Ее акцент был заметнее, чем обычно. Она успела отодвинуться от стены лишь на несколько дюймов, прежде чем он вновь оттолкнул ее назад.

— Нет, — сказал он.

Она смотрела на него снизу вверх. Ее челюсть отвисла, губы разомкнулись. Она смотрела на него словно в первый раз. Возможно, на ее лице было написано изумление или даже недоверчивое восхищение. В любую секунду все могло резко перемениться — он ждал, что появится счастливая покорность, и тогда дело пойдет по-другому. Он сунул пальцы за пояс ее юбки и сильно дернул. Юбка застряла на бедре. Она вскрикнула и дважды быстро произнесла его имя. Одной рукой она придерживала юбку, другую подняла ладонью вперед, защищаясь от него. На полу лежали две черные пуговицы. Он зажал в горсти материю и рванул юбку вниз. В тот же момент она кинулась прочь через комнату. Юбка разорвалась по шву, она упала, попыталась вскочить, но запуталась и упала снова. Он перекатил ее на спину и прижал ее плечи к полу. Они, конечно же, шутят, подумал он. Это просто игра, восхитительная игра. Зря она так все драматизирует. Он стоял около нее на коленях, держа ее обеими руками. Потом отпустил. Он неуклюже лежал рядом с ней, опершись на локоть. Свободной рукой он потянул ее за белье и расстегнул себе ширинку.

Она лежала неподвижно, глядя в потолок. Она даже не сморгнула. Наступил переломный миг. Все шло как надо. Он хотел улыбнуться ей, но подумал, что это разрушит иллюзию его власти. Поэтому, устраиваясь сверху, он сохранял суровый вид. Даже если это игра, то серьезная. Он был почти на месте. Она была напряжена. Когда она заговорила, его потрясло ее спокойствие. Она не отвела взгляда от потолка, и ее тон был холодным.

— Я хочу, чтобы ты ушел, — сказала она. — Уходи.

— Я остаюсь, — сказал Леонард, — и кончен разговор. — Это прозвучало не так напористо, как он рассчитывал.

— Пожалуйста... — сказала она.

Ее глаза наполнились слезами. Она по-прежнему смотрела в потолок. Наконец она смигнула, и слезы выкатились струйками. Они пробежали по ее вискам и затерялись в волосах над ушами. Локоть у Леонарда онемел. Она на мгновение втянула в рот нижнюю губу, потом мигнула опять. Слез больше не было, и она отважилась заговорить снова.

— Уходи.

Он погладил ее по лицу, вдоль скулы до того места, где волосы были влажными. Она задержала дыхание, выжидая, пока он перестанет.

Он поднялся на колени, потер онемевшую руку и застегнул ширинку. Вокруг них звенела тишина. Оно было несправедливым, это невысказанное проклятие. Он воззвал к воображаемому суду. Если бы это не было просто забавой, если бы он хотел причинить ей вред, он не остановился бы вот так сразу, едва увидев, насколько она расстроена. Она восприняла все буквально и использовала против него — разве это честно? Он хотел выразить свои мысли вслух, но не знал, как начать. Она так и не шелохнулась. Он был зол на нее. И отчаянно жаждал ее прощения. Заговорить казалось невозможным. Когда он взял ее руку и пожал, она осталась безжизненной. Только полчаса назад они шли по Ораниенигтрассе, прильнув друг к другу. Найти бы способ вернуться туда! Ему вспомнился игрушечный голубой локомотив, подарок на его восьмой или девятый день рождения. Он возил вереницу угольных вагончиков по железной дороге в форме восьмерки, пока однажды в благоговейном исследовательском порыве он не перекрутил завод.

Наконец Леонард встал и отступил на несколько шагов. Мария села и одернула юбку, прикрыв колени. У нее тоже было одно воспоминание, но всего лишь десятилетней давности и более гнетущее, чем сломанный игрушечный поезд. Она вспомнила бомбоубежище в восточном пригороде Берлина, недалеко от моста Обербаум. Стоял конец апреля, до сдачи города оставалось с неделю. Ей было почти двадцать. Подразделения надвигающейся Красной Армии установили поблизости тяжелые орудия и обстреливали городской центр. В бомбоубежище собралось человек тридцать —

женщины, дети, старики, ежившиеся под грохот артиллерии. Мария была со своим дядей Вальтером. В стрельбе возникла пауза, и в подвал вошли пятеро солдат, первые русские, которых они когда-либо видели. Один из них направил на толпу винтовку, другой жестами показал немцам: часы, драгоценности. Они действовали быстро и молча. Дядя Вальтер оттеснил Марию подальше во мрак, к пункту первой медицинской помощи. Она спряталась в углу, между стеной и пустым шкафчиком для санитарных принадлежностей. На полу, на матраце, лежала женщина лет пятидесяти, раненная в обе ноги. Ее глаза были закрыты, и она стонала. Это был высокий, непрерывный звук, тянувшийся на одной ноте. Стон привлек внимание одного из солдат. Он опустился рядом с женщиной на колени и вынул нож с короткой рукояткой. Ее глаза по-прежнему оставались закрытыми. Солдат поднял ей юбку и разрезал нижнее белье. Глядя поверх дядино плеча, Мария подумала, что русский хочет провести какую-то грубую операцию в стиле военно-полевой хирургии, извлечь пулю нестерилизованным ножом. Но он уже лежал на раненой женщине, вталкивая в нее резкими, судорожными движениями.

Стон женщины из высокого стал низким. Позади нее, в убежище, люди отворачивались в стороны. Никто не издал ни звука. Потом возникла сумятица: другой русский, огромный мужчина в штатском, пробирался к медпункту. Позже Мария узнала, что это был комиссар. От ярости его лицо пошло багровыми пятнами, зубы были оскалены. Он с криком схватил солдата за плечи и оторвал от раненой. Пенис, мертвенно-белый в полутьме, оказался меньше, чем ожидала Мария. Комиссар утащил солдата за ухо, крича по-русски. Затем вновь наступила тишина. Кто-то дал раненой попить. Спустя три часа, когда стало ясно, что артиллерийская часть передвинулась дальше, они выбрались из убежища под дождь. Солдат лежал на обочине лицом вниз. Он был убит выстрелом в затылок.

Мария поднялась. Одной рукой она придерживала юбку. Она стянула Леонардову шинель со стола и уронила к его ногам. Он понимал, что уйдет, поскольку не мог придумать, что сказать. Его мозг заклинило. Проходя мимо нее, он положил ладонь ей на запястье. Ее взгляд застыл на его руке, потом скользнул прочь. У него не было денег, и он отправился на Платаненаллее пешком. На следующий день

после работы он пришел к ней с цветами, но ее не было дома. Еще через день сосед сказал ему, что она у родителей в русском секторе.

На печальные размышления не было времени. Через два дня после отъезда Марии в конец туннеля доставили гидравлический домкрат — вытягивать кабели вниз. Его закрепили на полу под вертикальной шахтой. Двойные двери были герметично закрыты, и в помещение стали нагнетать воздух. Присутствовали Джон Макнами, Леонард и пятеро других технических работников. Был еще американец в костюме, почти не раскрывавший рта. Чтобы не заложило уши от высокого давления, они должны были старательно сглатывать. Макнами раздал леденцы. Американец прихлебывал из чашечки воду. Шум дорожного движения резонировал в камере. Иногда наверху с ревом проезжали грузовики, и тогда потолок дрожал.

Вспыхнула лампочка полевого телефона, Макнами поднял трубку и стал слушать. Они уже получили подтверждение готовности из комнаты записи, от персонала, обслуживающего усилители, и инженеров, ответственных за электропитание и подачу воздуха. Последний звонок был от наблюдателей на крыше склада, которые следили в бинокль за шоссе Шёнефельдер. Они не покидали своего поста в течение всего строительства туннеля. По их сигналу работы прекращались всякий раз, когда русские оказывались непосредственно над туннелем. Макнами положил трубку и кивнул двоим, стоящим около гидравлического домкрата. Один из них повесил на плечо широкий кожаный ремень и полез к кабелям по стремянке. Ремень был перекинут через кабели и пристегнут к цепи, обрезиненной, чтобы не звенела. Человек у подножия стремянки прикрепил цепь к домкрату и посмотрел на Макнами. Когда ею товарищ спустился и стремянку убрали, Макнами снова взял телефонную трубку. Затем опустил ее, кивнул, и техник начал работу с домкратом.

Трудно было бороться с соблазном подойти к шахте и поглядеть, как кабели движутся вниз. Были попытки оценить, велика ли слабина и сколько кабеля можно выбрать без особенного риска. Наверняка этого никто не знал. Но проявлять слишком большое любопытство считалось непрофессиональным. Человеку, который крутил домкрат, нельзя было мешать. Они ждали в молчании и сосали леденцы. Давление все еще росло, воздух был теплый и влажный. Американец

стоял поодаль. Он глянул на часы и сделал отметку в блокноте. Макнами держался за телефон. Техник у домкрата выпрямился и посмотрел на него. Макнами подошел к шахте и заглянул туда. Потом встал на цыпочки и вытянул руку. Когда он опустил ее, она была в грязи.

— Шесть дюймов, — сказал он, — не больше, — и снова вернулся к телефону.

Работник, поднимавшийся на стремянку, принес ведро воды и тряпку. Его товарищ убрал домкрат. Вместо него поставили низкую деревянную платформу. Человек с ведром подошел к Макнами, тот сполоснул руку. Потом он снова отнес ведро к шахте, залез с ним на платформу и стал обмывать кабели, которые, по впечатлению Леонарда, были всего футах в шести от пола. Мойщику дали банное полотенце, чтобы он вытер кабели насухо. Потом один из тех людей, что стояли рядом с Леонардом, занял место около платформы. В руке у него были специальный монтерский нож и кусачки. Макнами опять слушал кого-то по телефону. «Давление в норме», — шепнул он находящимся в комнате, затем пробормотал какие-то инструкции в трубку.

На ступенях как раз хватило места троим. Прежде чем сделать первый надрез, они позволили Себе приятную паузу. Потом взялись за кабели. Они были матово-черные и холодные, до сих пор немного липкие после мытья, каждый толщиной в руку. Леонард словно ощущал, как под его пальцами простреливают туда-сюда сотни телефонных разговоров и кодированных сообщений русских. Американец приблизился посмотреть, но Макнами стоял там же, где и раньше. Потом на платформе остался один человек с ножом; он принялся за работу. Прочие, наблюдавшие за ним, видели только часть его фигуры ниже пояса. На нем были серые фланелевые брюки и начищенные коричневые ботинки. Вскоре он передал вниз прямоугольный кусок черной резины. Первый кабель был вскрыт. Когда то же самое было сделано с двумя остальными, пришла пора поставить подслушивающее устройство. Макнами снова заговорил по телефону, и работа возобновилась лишь по его сигналу. Было известно, что восточные немцы регулярно проверяют состояние важнейших линий, посылая по ним импульс, который возвращается назад, если встретит разрыв. Тонкий покров бетона над вертикальной шахтой

ничего не стоило разрушить. Леонард и все прочие хорошо выучили порядок эвакуации. Последнему из отступающих полагалось закрыть и запереть за собой все двери. Там, где туннель пересекал границу, следовало быстро соорудить баррикаду из мешков с песком и колючей проволоки, а также поставить написанную от руки деревянную табличку, которая сурово предупреждала на немецком и русском языках, что здесь начинается американский сектор.

По фанерной стене на специальных скобах были протянуты сотни проводов, собранных в разноцветные пучки и ожидающих подключения к наземной линии русских. Леонард и второй техник стояли внизу и подавали их наверх по требованию. График работы был не таким, как планировал Макнами. На платформе оставался один и тот же человек, работающий со скоростью, недоступной для Леонарда. Через каждый час он устраивал себе десятиминутный перерыв. Из столовой принесли кофе и сэндвичи с сыром и ветчиной. Другой специалист сидел на платформе с магнитофоном и в наушниках. На третьем или четвертом часу он поднял руку и обернулся к Макнами; тот подошел к нему и приложил к наушникам одно ухо. Затем передал их стоявшему рядом американцу. Они подключились к линии, используемой восточногерманскими телефонистами. Теперь риск, что их захватят врасплох, уменьшился.

Час спустя им пришлось покинуть камеру. Воздух был таким влажным, что на стенах оседал конденсат, и Макнами опасался, что это скажется на работе электрических контактов. Они оставили одного человека следить за приборами, а сами отправились за двойные двери ждать, пока влажность упадет. Они стояли в коротком отрезке туннеля перед усилителями, засунув руки в карманы и стараясь не притопывать ногами. Здесь, снаружи, было гораздо холоднее. Всем хотелось выбраться наверх покурить. Но Макнами, жуя пустую трубку, не предложил этого, а спрашивать ни у кого не хватило духу. В течение последующих шести часов они покидали камеру пять раз. Американец ушел, не сказав ни слова. Наконец Макнами отпустил одного из работников. Еще через полчаса он освободил и Леонарда.

Никем не замеченный, Леонард миновал стойки с усилительной аппаратурой, около которых царил беззвучное оживление, и не спеша зашагал по рельсам назад, к складу. Он неторопливо шел в полном одиночестве, чувствуя, как не хочется ему оставлять туннель вместе с

разворачивающимися здесь важными событиями и возвращаться к своему стыду. Два предыдущих вечера он простоял с цветами под дверью Марии не в силах уйти домой. Он убеждал себя, что она отправилась в магазин. Всякий раз, заслышав шаги внизу, он перегибался через перила и высматривал ее. Спустя час он по одной просунул дорогие парниковые гвоздики в щель для писем и сбежал по лестнице. На следующий вечер он явился опять и принес коробку шоколадных конфет с марципановой начинкой, на крышке которой были нарисованы щенки в плетеной корзине. Она и вчерашние цветы обошлись ему почти в недельное жалованье. На площадке этажом ниже квартиры Марии он встретил ее соседку, худую настороженную женщину; из открытой двери за ее спиной тянуло карболкой. Она покачала головой и помахала рукой. Она знала, что Леонард — иностранец. «Fort! Nicht da! Bei ihren Eitern!»^[24] Он поблагодарил ее. Она громко повторила то же самое, глядя, как он поднимается дальше, и стала ждать, пока он спустится. Коробка не пролезала в щель, и он отправил туда конфеты по очереди. Проходя мимо соседки во второй раз, он предложил ей коробку. Она скрестила руки на груди и закусил губу. Отказ стоил ей заметных усилий.

Чем дальше в прошлое отодвигалось его нападение на Марию, тем более немыслимым и непростительным оно казалось. Была ведь какая-то логика, какая-то сумасшедшая цепочка рассуждений, но он уже не мог ее вспомнить. Тогда все это представлялось разумным, но теперь он помнил лишь свою тогдашнюю убежденность, свою твердую веру в то, что рано или поздно она его одобрит. Однако весь предварительный ход мыслей был утерян. Он точно вспоминал действия другого человека или самого себя, преображенного во сне. Теперь же он вернулся в реальный мир — подземная граница осталась позади и начался длинный, пологий подъем, — а по стандартам этого мира его поведение было не только отвратительным, но и попросту глупым. Он сам отпугнул от себя Марию. Она была лучшим, что с ним случилось за... он быстро перебрал в уме все детские радости, дни рождения, каникулы, сочельники, поступление в университет, начало работы на Доллис-хилл. Нет, с ним никогда еще не случалось ничего, даже отдаленно похожего на это. Под натиском незваных воспоминаний о том, как она была красива, как добра и ласкова с ним,

он дернул головой и закашлялся, перебив готовый вырваться стон. Он никогда не вернет ее. Но должен вернуть.

Он вылез по трапу из ямы и кивнул охраннику. Затем поднялся наверх, в комнату записи. Ни у кого не было в руке бокала, никто даже не улыбался, но атмосфера праздничности чувствовалась безошибочно. Первые двенадцать магнитофонов, контрольный ряд, уже получали информацию. Леонард присоединился к группе наблюдавших за ними. Четыре прибора работали, затем включился пятый, затем шестой, потом остановился один из первой четверки и сразу вслед за ним еще один. Устройства включения по сигналу, которые устанавливал не кто иной, как он сам, функционировали нормально. Их проверяли и раньше, но, конечно, не русскими голосами и не русскими сообщениями. Леонард вздохнул, и на мгновение Мария отступила.

Немец, стоявший рядом, опустил руку на плечо Леонарда и сжал его. Еще один человек Гелена, другой «фриц», повернулся и ухмыльнулся им обоим. Их дыхание отдавало выпитым за едой пивом. Все остальные в комнате были заняты мелкими подготовительными и наладочными операциями. Несколько человек с планшетами образовали отдельную кучку; у них был вид профессионалов, занятых важным делом. Двое инженеров с Доллис-хилл сидели вплотную к третьему, который держал телефонную трубку и внимательно слушал кого-то, возможно Макнами.

Потом вошел Гласс, отсалютовал Леонарду и направился к нему. Давно уже он не выглядел таким бодрым. На нем был новый галстук и новый костюм. В последнее время Леонард избегал его, хотя и со смешанными чувствами. Из-за поручения Макнами он стыдился проводить свободные часы в обществе единственного американца, которого мог назвать своим другом. Однако он понимал, что Гласс наверняка оказался бы хорошим источником. Взяв Леонарда за лацкан, Гласс отвел его в относительно безлюдный конец комнаты. Его борода обрела свой прежний матово-черный цвет и торчала вперед, как в самом начале их знакомства.

— Мечты становятся явью, — сказал Гласс, — Контрольные приборы в полном порядке. Еще четыре часа, и работа пойдет на всю катушку. — Леонард открыл было рот, но Гласс продолжал: —

Послушай, Леонард, ты решил поиграть со мной в прятки? Думаешь, я не знаю, чем ты занимаешься за моей спиной? — Гласс улыбался.

У Леонарда возникла мысль, что по всему туннелю могут быть установлены «жучки». Но Макнами, конечно, знал бы об этом.

— О чем ты?

— Да ладно тебе. Берлин — маленький городок. Вас видели вместе. В субботу Рассел был в «Рези», он и сказал мне. По его квалифицированному мнению, у вас уже все давно налажено как часы. Он прав?

Леонард улыбнулся. Он не мог прогнать нелепую гордость. Гласс говорил с шутливой серьезностью.

— Это та самая девушка, та, что прислала записку? Про которую ты сказал, что тебе ничего не удалось добиться?

— Сначала не удалось.

— Поразительно. — Гласс взял Леонарда за плечи, стоя от него на расстоянии вытянутой руки. Его радость и восхищение казались такими искренними, что Леонард почти позабыл о недавних событиях. — Ах вы английские тихони, гулять не гуляете, знай помалкиваете, а сами раз-два — и в дамках.

Леонарду захотелось громко рассмеяться; как-никак это был его триумф.

Гласс отпустил его.

— Слушай, на прошлой неделе я звонил тебе каждый вечер. Ты что, совсем к ней перебрался?

— Не то чтобы совсем.

— Я хотел пригласить тебя выпить, но теперь, раз уж ты раскололся, почему бы нам не устроить двойное свидание. У меня есть славная подружка, Джин, она из американского посольства. Мы с ней родились в одном городе. Сидар-Рэпидс. Знаешь, где это?

Леонард посмотрел на свои ботинки.

— Честно говоря, мы с ней как бы поссорились. Довольно серьезно. Она уехала к родителям.

— Куда это?

— По-моему, куда-то в Панков.

— И когда же?

— Позавчера.

Уже отвечая на последний вопрос, Леонард вдруг понял, что все это время Гласс вел двойную игру. По своему обыкновению, американец взял его под локоть и снова куда-то повлек. Если не считать Марии и матери, за всю жизнь никто не касался Леонарда больше, чем Гласс. Они стояли в тишине коридора. Гласс вынул из кармана блокнот.

— Ты ей все рассказал?

— Разумеется, нет.

— Дай-ка мне ее имя и координаты.

Укороченный гласный в начале последнего слова вызвал у Леонарда прилив раздражения.

— Ее зовут Мария. А где она живет, тебя не касается.

Эта секундная потеря невозмутимости, казалось, произвела на Гласса освежающее действие. Он закрыл глаза и втянул в себя воздух, словно наслаждаясь ароматом. Потом сказал умиротворяющим тоном:

— Сейчас я изложу факты, а ты мне скажешь, имею ли я право смотреть на них сквозь пальцы. Девушка, которую ты никогда раньше не видел, делает тебе из ряда вон выходящий аванс в танцзале. В результате ты с ней заводишь отношения. Она выбрала тебя, а не ты ее. Правильно? У тебя секретная работа. Ты переезжаешь к ней. За день до нашего подключения к кабелям она исчезает в русском секторе. Что мы скажем начальству, Леонард? Что она тебе нравится и поэтому мы решили обойтись без проверки? Посуди сам.

При мысли о Глассе, на законных основаниях ведущем допрос Марии в отдельной комнате, Леонард ощутил физическую боль. Она началась где-то около желудка и растеклась вниз по всему животу. Он сказал:

— Мария Экдорф, Кройцберг, Адальбертштрассе, восемьдесят четыре, первый флигель, пятый этаж, направо.

— Верхний этаж без лифта и горячей воды? Не так шикарно, как на Платаненаллее. И она сказала, что не хочет перебираться к тебе?

— Я сам не захотел.

— Вот видишь, — сказал Гласс, точно не услышав ответа Леонарда, — если у нее в квартире «жучки», ей лучше принимать тебя там.

В миг краткой вспышки безрассудной ярости Леонард мысленно увидел, как вцепляется в бороду Гласса обеими руками и отрывает ее

вместе с кусками кожи, потом швыряет этот черно-красный ком оземь и топчет его ногами. Но вместо этого он повернулся и зашагал прочь, не думая о том, куда вдет. Он снова очутился в комнате записи. Здесь работало уже гораздо больше магнитофонов. Щелчки, сопровождающие их включение и отключение, слышались по всей комнате. Это было делом его рук, плодом его одинокого самоотверженного труда. Гласс возник сбоку. Леонард двинулся вдоль рядов, но два техника перегородили ему дорогу. Он обернулся.

Гласс подошел совсем близко и сказал:

— Я знаю, что это трудно. Такое бывало и раньше. Возможно, все окажется чисто. Надо только проделать обычную процедуру. Еще один вопрос, и я оставлю тебя в покое. У нее есть дневная работа?

Реакция Леонарда была абсолютно произвольной. Он набрал в грудь воздуха и закричал. Это был почти визг. Атмосфера в комнате сразу стала гнетущей. Все прервали свои занятия и повернулись в их сторону. Только приборы щелкали по-прежнему.

— Дневная работа? — завопил Леонард, — Дневная работа? То есть кроме ночной работы? На что ты намекаешь?

Гласс опустил руки ладонями вниз, безмолвно умоляя Леонарда вести себя потише. Когда он заговорил, его голос был чуть слышнее шепота. Его губы едва шевелились.

— Все нас слушают, Леонард, в том числе твои собственные начальники там, у телефона. Нельзя, чтобы они приняли тебя за психа. Иначе ты вылетишь с работы. — Это была правда. Двое старших инженеров с Доллис-хилл холодно следили за ним. Гласс продолжал чревоуещать: — Делай, что я скажу, и все утрясется. Хлопни меня по плечу, и мы оба выйдем отсюда как добрые друзья.

Окружающие ждали продолжения сцены. Другого выхода не было. Гласс был его единственным союзником. Леонард грубо стукнул его по плечу, и американец немедленно разразился громким, вполне натуральным смехом, обнял Леонарда за плечи и во второй раз повел его к двери. Улучив мгновение между взрывами смеха, он прошептал:

— Теперь твоя очередь, дурень, спасай свою шкуру и смейся.

— Хе-хе, — хрипло произнес англичанин, и потом громче: — Ха-ха-ха. Ночная работа, это ты здорово. Ночная работа!

Гласс поддержал его, и сзади поднялся низкий ропот разговора, дружеская волна, которая подхватила их и донесла до двери.

Они вновь очутились в коридоре, но на этот раз не остановились, а пошли по нему. Гласс уже держал наготове карандаш с блокнотом.

— Скажи мне только, где она работает, и пойдем ко мне выпьем.

Леонард не мог выложить все одним махом. Это слишком походило на предательство.

— В военной автомастерской. Я имею в виду, британской армии. — Они двигались дальше. Гласс ждал. — Кажется, «РЕМЕ». Это в Шпандау. — Потом, когда они почти достигли комнаты Гласса: — Ее начальник — майор Ашдаун.

— Замечательно, — сказал Гласс, отпер свой кабинет и пропустил Леонарда вперед. — Пива? А может, шотландского?

Леонард выбрал последнее. Раньше он заходил сюда лишь однажды. Стол был завален бумагами. Он старался не приглядываться, хотя сразу заметил, что некоторые документы носят технический характер. Гласс налил виски и сказал:

— Принести из столовой льда?

Леонард кивнул, и Гласс вышел. Леонард шагнул к столу. По его оценке, у него было чуть меньше минуты.

Каждый вечер по дороге домой Леонард заезжал в Кройцберг. Чтобы убедиться в отсутствии Марии, ему достаточно было ступить на ее площадку, но он все равно подходил к двери и стучал. После конфет он больше не приносил подарков. Письма, после третьего, тоже прекратил писать. Женщина из пропахшей карболкой квартиры внизу иногда отворяла дверь и следила, как Леонард спускается по лестнице. К концу первой недели ее взгляд стал выражать скорее сочувствие, чем враждебность. Он ужинал стоя в *Schnellibiß* на Райхсканцлерплац и почти каждый вечер заходил в бар на узкой улочке, чтобы оттянуть возвращение на Платаненаллее. Теперь его немецкого хватало на то, чтобы понять, что берлинцы, склонившиеся над столиками, обсуждают не проблемы геноцида. Это была обычная для таких мест болтовня — о поздней весне, о политике и о качестве кофе.

Добравшись домой, он избегал кресла и гнетущих раздумий. Он не собирался целиком погружаться в уныние. Он заставлял себя работать. Стирал в ванной рубашки, отчищая воротнички и манжеты щеточкой для ногтей. Гладил, наводил блеск на ботинки, вытирал пыль и возил по комнатам скрипучей ковровой щеткой. Он написал родителям. Несмотря на все перемены в его жизни, он не мог избавиться от бесцветного тона, удушающего отсутствия информации и содержания. *Дорогие мама и папа, спасибо за ваше письмо. Надеюсь, вы здоровы и оправились от простуды. Я очень занят на работе, там все продвигается хорошо. Погода...* Погода. Он не обращал на нее никакого внимания, пока не садился за письмо к родителям. Он помедлил, потом вспомнил. *Погода стояла довольно сырая, но теперь стало теплее.*

Он начинал опасаться — и эту тревогу не в силах были унять никакие домашние хлопоты, — что Мария может вовсе не вернуться к себе в квартиру. Тогда он вынужден будет разузнать адрес мастерской майора Ашдауна. Он отправится в Шпандау и перехватит ее по пути с работы раньше, чем она сядет на поезд, идущий в Панков. К тому времени Гласс, наверное, уже поговорит с ней. Она решит, что Леонард сознательно навлек на нее неприятности. И будет в ярости. Шансы переломить ее упорство на мостовой, на виду у армейских часовых,

или в переполненном людьми вестибюле метро были невелики. Она прошагает мимо или выкрикнет какое-нибудь немецкое ругательство, которое поймут все, кроме него. Ему нужна была встреча наедине и несколько часов. Тогда ее ярость сменится вызовом, затем грустью, а потом и прощением. Эта цепочка представлялась ему чем-то вроде электрической схемы. Что до его собственных чувств, их запутанность исчезала благодаря праведности его любви. Когда она поймет, как горячо он ее любит, она обязательно простит его. Об остальном — о своем поступке и его причинах, о своей вине и мысленных уловках — он намеренно старался не размышлять. Это все равно ничего не даст. Он пытался стать невидимым для самого себя. Он отскребал ванну, мыл пол на кухне и вскоре после полуночи засыпал без особенного труда, с приятным ощущением легкой обиды на то, что его не поняли.

Как-то раз, на второй неделе после исчезновения Марии, Леонард услышал голоса в пустой квартире внизу. Он поставил утюг и вышел на площадку послушать. Из шахты лифта донеслись скрип передвигаемой по полу мебели, шаги и снова голоса. На следующее утро, когда он спускался в лифте, кабина остановилась этажом ниже. Вошедший кивнул ему и отвернулся. Лет тридцати с небольшим, он держал в руке «дипломат». Его шкиперская борода была аккуратно подстрижена, от него пахло одеколоном. Даже Леонарду было видно, что его темно-синий костюм хорошо сшит. Они доехали до конца в молчании. Скупым движением кисти чужак пригласил Леонарда выйти первым.

Два дня спустя они опять встретились на первом этаже у лифта. Еще не совсем стемнело. Леонард вернулся из Альтглинике после заезда в Кройцберг и своих обычных двух литров лагера. Свет в вестибюле не горел. Когда Леонард подошел к стоявшему у двери лифта человеку, кабина была на шестом этаже. Пока они ждали, сосед снизу протянул Леонарду руку и без улыбки — насколько Леонард мог видеть, выражение его лица вообще не изменилось — сказал:

— Джордж Блейк. Мы с женой живем прямо под вами.

Леонард тоже назвалса и спросил:

— От меня не слишком много шума?

Лифт спустился, и они вошли внутрь. Блейк нажал кнопки пятого и шестого этажей; когда кабина тронулась, он перевел взгляд с лица Леонарда на его туфли и произнес лишенным окраски голосом:

— Мягкие тапочки не помешали бы.

— Благодарю вас, — сказал Леонард, вложив в свой ответ всю агрессивность, на какую был способен. — Я куплю. — Сосед кивнул и поджал губы, словно говоря: вот и славно. Дверь открылась, и он покинул лифт, не добавив ни слова.

Леонард добрался до своей квартиры, полный решимости шуметь как можно больше. Но ему не удалось заставить себя сделать это. Роль правонарушителя была ему чужда. Он тяжело протопал по прихожей и снял туфли на кухне. В последующие месяцы он изредка видел в подъезде миссис Блейк. Она была красива и держалась очень прямо, и хотя она улыбалась Леонарду и здоровалась с ним, он ее избегал. В ее присутствии он казался себе неряшливым и неуклюжим. Он подслушал ее голос в прихожей, и ему померещились в нем угрожающие нотки. С течением летних месяцев ее муж стал более дружелюбным. Он сказал, что работает в Министерстве иностранных дел на Олимпийском стадионе, и проявил вежливый интерес, когда Леонард сообщил ему, что он служащий Министерства почт и занят наладкой внутренних армейских линий связи. После этого, встречаясь с Леонардом в вестибюле или в лифте, он никогда не упускал случая спросить: «Ну как внутренние линии?» — с улыбкой, которая наводила Леонарда на мысль, что над ним смеются.

На складе было объявлено, что подключение к кабелям прошло успешно. Сто пятьдесят магнитофонов день и ночь включались и выключались по усиленным русским сигналам. Здание быстро опустело. Прокладчики горизонтального туннеля давно отбыли. Англичане, прокладчики вертикального, исчезли в начале самой волнующей поры, и никто этого не заметил. Разнообразные специалисты в областях, известных только им самим, в частности старшие инженеры с Доллис-хилл, тоже понемногу разъехались. Макнами заглядывал раз или два в неделю. Остались только люди, обеспечивающие запись и доставку пленок, а они были очень заняты и меньше всего расположены к общению. Было еще несколько техников и инженеров, обслуживающих различные системы, а также охрана. Иногда Леонард обедал в пустой столовой. Ему не поставили предела пребывания на складе. Он выполнял рядовые проверки состояния цепей и заменял в магнитофонах перегоревшие лампы.

Гласс почти не появлялся на складе, и поначалу Леонард был этому рад. Не помирившись с Марией, он не хотел услышать новости о ней от Гласса. Ему не хотелось, чтобы Гласс приобрел статус посредника между ними. Но потом он стал проходить мимо кабинета американца по нескольку раз в день — поводы для этого отыскивались сами собой. Он часто навещался к фонтанчику попить воды. Он был уверен, что Мария не окажется шпионкой, но не знал, чего ожидать от Гласса. Допросы, безусловно, могли предоставить американцу шанс для обождения. Если Мария еще сердится, а Гласс сразу повел себя достаточно напористо, худшее может происходить в то самое время, когда Леонард стоит у запертой комнаты. Несколько раз он чуть не позвонил Глассу из дома. Но о чем его спрашивать? Как он перенесет подтверждение или поверит отрицанию? А если его вопрос сыграет для Гласса роль стимула?

В мае, когда стало теплее, свободные от смены американцы затеяли на утоптанной площадке между складом и оградой игру в софтбол. Им было строго приказано носить форму персонала радиолокационной станции. Со своего поста у кладбища восточные полицейские следили за игрой в полевой бинокль, а когда мяч перелетал через границу в их сектор, охотно бежали за ним и кидали обратно. Американцы выпускали кличи, и восточные немцы добродушно махали им в ответ. Леонард наблюдал за происходящим, сидя у стены склада и прислонившись к ней спиной. Он не присоединялся к играющим отчасти потому, что софтбол выглядел попросту английской лаптой для взрослых. Другая причина состояла в том, что ему вообще не давались игры с мячом. Здесь броски были сильными, низкими и безжалостно точными, требующими ловкого приема мяча практически без подготовки.

Теперь каждый день у него выдавались часы безделья. Он подолгу сидел на солнце у стены, под открытым окном. Кто-то из армейских делопроизводителей выставлял на подоконник радио и включал для играющих «Голос Америки». Если передавали бойкую песенку, питчер иногда медлил перед броском и похлопывал в такт по коленям, а игроки на базах щелкали пальцами и пританцовывали. Леонард еще никогда не видел, чтобы популярную музыку воспринимали настолько всерьез. Вызвать остановку в игре мог только один исполнитель. Если это был Билл Хейли с «Комете», и особенно «Rock Around the

Clock»^[25], сразу слышались просьбы сделать погромче, и игроки подтягивались к окну. На две с половиной минуты игра замирала. Леонарду этот пылкий призыв танцевать часами без перерыва казался ребяческим. Это походило на считалку, которую можно было услышать от девчонок, играющих в «классики»: «эне, бене, ряба, квинтер, финтер, жаба». Но постепенно тяжелый ритм и мужская напористость гитары стали завораживать и его, и теперь Леонарду приходилось напоминать себе, что он терпеть не может эту песню.

Вскоре он уже радовался, когда служащий, услышав объявление диктора, шел к окну и увеличивал громкость. Больше половины игроков собиралось в кучку у места, где он сидел. В основном это были армейцы из караульной службы — чисто вымытые, крупные, стриженные «под ежик» ребята не старше двадцати лет. Все они знали, как его зовут, и всегда обращались с ним дружелюбно. Для них эта песня была, казалось, больше, чем просто музыкой. Это был гимн, заклинание, оно объединяло этих игроков и отделяло их от людей постарше, которые ждали, стоя на поле. Такое положение вещей сохранялось лишь три недели, затем песня потеряла свою силу. Она звучала громко, но игру уже никто не прерывал. Потом на нее и вовсе перестали реагировать. Нужно было что-то новое, но подходящая замена появилась только в апреле следующего года.

Однажды, на пике триумфа Билла Хейли среди здешнего персонала — американцы как раз столпились у раскрытого окна, — Джон Макнами явился проведать своего шпиона. Леонард увидел, как он идет от административного здания к их кружку, где вопило радио. Макнами еще не заметил его, и у Леонарда была возможность отстраниться от того, к чему ученый на правительственной службе наверняка отнесся бы с презрением. Но он ощутил потребность в некоем вызове, желание продемонстрировать верность коллективу. Он был его почетным членом. Он принял компромиссное решение, встав и протиснувшись к краю группы, где и остался ждать. Едва увидев его, Макнами направился к нему, и они вместе пошли вдоль складской ограды.

Б молочных зубах Макнами была зажата раскуренная трубка. Он склонился к своему подопечному.

— Полагаю, вы ничего не добились.

— Если честно, нет, — сказал Леонард. — У меня было время осмотреться в пяти кабинетах. Ничего. Я говорил с разными техническими работниками. Они все строго соблюдают секретность. Я не мог нажимать слишком сильно.

В действительности его актив состоял только из безрезультатной минуты в кабинете Гласса. Он не умел завязывать беседу с незнакомыми. Еще пару раз он пытался войти в запертые комнаты, и это было все.

— Вы пробовали заговорить с Вайнбергом? — сказал Макнами.

Леонард знал, о ком речь: ученый имел в виду смахивающего на гончую американца в ермолке, который играл сам с собой в шахматы, сидя в столовой.

— Да. Он не захотел со мной разговаривать.

Они остановились, и Макнами сказал:

— Ну что ж... — Они смотрели в сторону шоссе Шёнефельдер, примерно по направлению туннеля — Плоховато, — добавил Макнами. Леонарду показалось, что он говорит с непривычной жесткостью, намеренно вкладывая в свои слова нечто большее, нежели разочарование.

— Я старался, — сказал Леонард.

Макнами глядел мимо собеседника.

— Конечно, у нас есть и другие возможности, но вы продолжайте стараться, — Еле заметный нажим на последнее слово, эхо реплики Леонарда, выдавал его скептицизм, звучал почти как обвинение.

Хмыкнув на прощание, Макнами зашагал обратно к административному корпусу. Леонарду вдруг почудилось, что вместе с ученым по вытоптанной площадке от него удаляется и Мария. Мария и Макнами повернулись к нему спиной. Американцы уже возобновили игру. Он ощутил слабость в ногах, тяжесть своей вины. Он собирался снова занять место у стены, но на мгновение у него пропала охота идти туда, и он замешкался там, где был, у колючей проволоки.

Следующим вечером, выйдя из лифта на своем этаже, Леонард увидел Марию, ожидавшую его у двери в квартиру. Она стояла в углу — плащ застегнут, обе руки на ремешке сумки, которая висела впереди, прикрывая колени. Это можно было бы принять за позу раскаяния, но голова ее была поднята, глаза встретили его взгляд. Она заранее отвергала предположение, что, разыскав Леонарда, тем самым согласилась простить его. Уже почти стемнело, и в обращенное на восток лестничное окно проникало очень немного закатных лучей. Леонард нажал кнопку выключателя со встроенным таймером у своего локтя, и устройство затикало. Это тиканье напоминало лихорадочный стук сердца крохотного существа. Двери лифта закрылись за ним, и кабина поехала вниз. Он произнес ее имя, но не сделал ни шага по направлению к ней. В свете единственной лампочки над головой под ее глазами и носом легли длинные тени; это придало ее лицу суровое выражение. Она еще не заговорила, не шелохнулась. Она пристально смотрела на него, выжидая, что он скажет. Глухо застегнутый плащ и официальное положение рук на сумочке намекали, что она готова уйти, если объяснение не удовлетворит ее.

Леонард растерялся. Слишком много обрывков фраз роилось у него в голове. Ему преподнесли подарок, который он легко мог загубить, разворачивая. Механизм выключателя рядом с ним тихо стрекотал, мешая собраться с мыслями. Он снова произнес ее имя — этот звук просто слетел с его губ — и сделал полшага в ее сторону. В шахте лязгнули тросы, потащившие свой груз вверх, раздался вздох лифта, открывшегося этажом ниже, потом шум отворяемой двери и голос Блейка, требовательный и приглушенный. Когда дверь в квартиру снова захлопнули, он резко оборвался.

Выражение ее лица не изменилось. Наконец он сказал:

— Ты получила мои письма?

Она на мгновение прикрыла глаза — это было утвердительным ответом. Три письма, полные любовных признаний и сбивчивых извинений, цветы и конфеты сейчас ничего не значили.

— Я поступил очень глупо, — сказал он. Она снова прикрыла глаза. Теперь ее веки оставались внизу секундой дольше, и это можно

было счесть формой ободрения, признаком того, что она начинает смягчаться. Он уже нашел верный тон, искренность. Это было не слишком трудно. — Я все испортил. Когда ты уехала, я впал в отчаяние. Я хотел отыскать тебя в Шпандау, но мне было стыдно. Я не знал, будешь ли ты в силах простить меня. Мне было стыдно подойти к тебе на улице. Я очень тебя люблю. Я все время думал о тебе. Если ты не сможешь меня простить, я пойму. Это был ужасный, бессмысленный поступок...

Еще никогда в жизни Леонард не говорил о себе и своих чувствах таким образом. Он не умел и думать в такой манере. А если точнее, до сих пор он просто не знал, что способен на глубокие переживания. Он никогда не заходил дальше признаний в том, что ему в целом понравился вчерашний фильм или что он терпеть не может теплого молока. Раньше по-настоящему серьезные чувства были ему неведомы. Только теперь, назвав их по имени — стыд, отчаяние, любовь, — он получил реальную возможность претендовать на них, испытывать их. Признание в любви к женщине, стоявшей у его двери, облегчило ему душу и обострило стыд, который вызывала у него мысль о нападении на нее. Когда он дал этому имя, тоскливая мука последних трех недель прояснилась. Он словно освободился от бремени. Теперь, когда он мог описать туман, сквозь который брел все эти дни, он по крайней мере начал различать в нем себя.

Но он еще не вышел на открытое место. Поза Марии и ее взгляд оставались прежними. Помолчав, он сказал: «Пожалуйста, прости меня». В этот миг таймер щелкнул, и свет погас. Он услышал, как резко, с шумом вдохнула Мария. Когда его зрение привыкло к полумраку — окно было у него за спиной, — он увидел отблеск света на застежке сумочки и белках ее глаз, кинувших быстрый взгляд в сторону. Он отважился на риск и отступил от выключателя, не нажав его. Воодушевление придало ему уверенности. Тогда он поступил плохо, теперь же исправит ошибку. От него требуется только одно — простота, искренность.

Больше он не будет слепо брести сквозь пелену страданий, он точно назовет их и таким образом от них избавится. Почти полная темнота давала ему возможность коснуться Марии и тем самым восстановить старую связь между ними — простую, истинную связь.

Слова найдутся потом. Он был уверен, что теперь нужно только одно — взяться за руки, может быть, даже поцеловаться.

Когда он направился к ней, она наконец стронулась с места, отступив в угол площадки, в еще более глубокую тень. Подойдя ближе, он протянул руку, но Мария оказалась не там, где он рассчитывал. Он задел ее за рукав. Ее белки снова блеснули, когда она сделала головой движение, словно уворачиваясь от него. Он нашел ее локоть и легонько сжал. Прошептал ее имя. Ее согнутая рука была напряжена и неподатлива, он чувствовал сквозь плащ, как она дрожит. Теперь он был совсем близко и слышал ее дыхание — быстрое, неглубокое. В воздухе чуть пахло испариной. На миг ему почудилось, что она неожиданно скоро достигла пика полового возбуждения — мысль, немедленно обратившаяся в богохульную, когда он положил ладонь ей на плечо и она то ли взвизгнула, то ли выкрикнула что-то неразборчивое, сразу после этого проговорив: «Mach das Licht an. Bitte!» Включи свет, и потом: пожалуйста, пожалуйста. Он положил на ее плечо другую руку. Слегка встряхнул, желая ободрить. Он всего лишь пытался пробудить ее от кошмара. Напомнить ей, кто он на самом деле — невинный юноша, за воспитание которого она так мило согласилась взяться. Она вскрикнула снова, на сей раз пронзительно, в полную силу. Он отпрянул. Внизу открылась дверь. На лестнице раздались быстрые шаги — кто-то огибал шахту лифта.

Леонард зажег свет в тот момент, когда Блейк появился из-за угла на площадке между этажами. Последний пролет он миновал, шагая через три ступеньки. Он был без пиджака и галстука, в серебристых нарукавниках выше локтей. Его жесткое лицо выражало свирепую военную решимость, кисти были напряжены и готовы сжаться в кулак. Он явно собирался отвести душу. Когда он добежал до площадки и увидел Леонарда, его лицо не смягчилось. Мария выпустила сумочку — та упала на пол — и закрыла ладонями нос и рот. Блейк занял позицию между Леонардом и Марией. Он упер руки в боки. Он уже понял, что ударить никого не придется, и это усугубило его ярость.

— Что здесь происходит? — требовательно спросил он у Леонарда и, не дожидаясь ответа, повернулся к Марии. Его голос зазвучал мягко. — Что с вами? Он на вас напал?

— Разумеется, нет, — сказал Леонард.

— Помолчите! — огрызнулся через плечо Блейк и снова обратился к Марии. Его голос мгновенно потеплел опять, — Ну?

Он похож на актера, играющего в радиопостановке сразу все роли, подумал Леонард. Поскольку ему не нравилось, что Блейк стоит перед ними будто рефери, он пересек площадку, по дороге нажав выключатель, чтобы добавить им еще девяносто секунд. Блейк дожидался, пока Мария заговорит, но словно почувствовал приближение Леонарда сзади. Он вытянул руку, не давая Леонарду обойти его и направиться к Марии. Она сказала что-то, чего Леонард не расслышал, и Блейк уверенно ответил ей по-немецки. Этим он вызвал у Леонарда еще большую неприязнь. Может быть, из-за верности Леонарду Мария перешла на английский?

— Простите, что подняла такой шум и побеспокоила вас дома. Это наше личное дело, вот и все. Мы разберемся сами. — Она отняла руки от лица. Нагнулась за сумочкой. Знакомый предмет в руках точно добавил ей уверенности. Она заговорила мимо Блейка, хотя и не совсем в адрес Леонарда: — Я зайду в квартиру.

Леонард вынул ключ и обошел спасителя Марии, чтобы открыть дверь. Потом дотянулся до внутреннего выключателя и зажег свет в прихожей.

Блейк не двинулся с места. Он еще не был удовлетворен.

— Я могу вызвать вам такси. Можете посидеть со мной и моей женой, пока за вами не приедут.

Мария переступила порог и обернулась поблагодарить его.

— Вы очень добры. Но все в порядке. Спасибо, — Она уверенным шагом пересекла прихожую квартиры, где никогда прежде не бывала, вошла в ванную и затворила за собой дверь.

Блейк стоял у лестницы, засунув руки в карманы. Леонард чувствовал себя слишком уязвимым и был слишком раздражен вмешательством соседа, чтобы предлагать дальнейшие объяснения. Он нерешительно стоял около двери, дожидаясь, пока уйдет Блейк. Тот сказал:

— Обычно женщины кричат так, когда боятся, что их изнасилуют.

Нелепый апломб этого заявления предполагал элегантную ответную колкость. Леонард глубоко задумался на несколько секунд. Он был ошибочно принят за насильника, но ему мешало соображение, что он и впрямь чуть не стал им. Наконец он сказал:

— Это не тот случай.

Блейк скептически пожал плечами и направился по лестнице вниз. В дальнейшем, встречаясь около лифта, оба они неизменно хранили холодное молчание.

Мария заперлась в ванной и сполоснула лицо. Потом опустила крышку унитаза и села на нее. Она была удивлена собственным криком. Всерьез она не верила, что Леонард снова хотел напасть на нее. Его неуклюжие, искренние извинения служили достаточной гарантией ее безопасности. Но внезапная темнота и его неслышное приближение, связанные с этим возможности и ассоциации — вот что оказалось для нее чересчур. Хрупкое равновесие, которого она достигла за три недели пребывания в загроможденной мебелью квартире родителей в Панкове, нарушилось, как только Леонард прикоснулся к ней. Это было похоже на помешательство — этот страх, что кто-то, притворяющийся ее поклонником, захочет причинить ей вред. Или что злодейство, которое она едва себе представляла, примет обманчивое обличье любовной ласки. Случающиеся время от времени нападения Отто, хотя и страшные, никогда не вызывали у нее подобного тошнотворного ужаса. Его буйство было проявлением злости, направленной на весь мир, и пьяного бессилия. Он хотел причинять ей боль и вместе с тем обладать ею. Он хотел бы запугивать ее, не беря у нее денег. Он не хотел проникнуть к ней в душу, не просил ее довериться ему.

Дрожь в ее руках и ногах улеглась. Она сознавала всю нелепость своего поведения. Этот сосед будет ее презирать. В Панкове она постепенно пришла к выводу, что Леонард не был жесток или злонамерен и что его поступок объясняется простой детской глупостью. Он жил такой интенсивной внутренней жизнью, что почти не отдавал себе отчета в том, как его действия воспринимаются другими. Этого благосклонного заключения она достигла после гораздо более жестких оценок и данных себе решительных обещаний никогда больше с ним не видеться. Теперь — об этом говорил тот крик в темноте — ее инстинкты, похоже, взяли верх над снисходительностью. Если она уже не способна доверять ему, пусть ее недоверие и носит иррациональный характер, что она тогда делает в его ванной? Почему было не принять предложение соседа насчет такси? Ее до сих пор тянуло к Леонарду, она поняла это в Панкове. Но

что думать о человеке, который подбирается к вам в темноте, чтобы извиниться за попытку изнасилования?

Через десять минут, прежде чем выйти из ванной, Мария решила еще раз поговорить с Леонардом и посмотреть, что из этого получится. Она не знала, как себя поведет. Плащ был на ней, по-прежнему застегнутый. Леонард ждал в гостиной. Верхний свет горел, вдобавок были зажжены армейский торшер и настольные лампы. Он стоял посреди комнаты и показался ей похожим на мальчишку, которого только что высекли. Жестом он пригласил ее сесть. Мария качнула головой. Кто-то должен был заговорить первым.

Мария не видела причины начинать самой, а Леонард боялся сделать новую ошибку. Она прошла чуть дальше в комнату, а он отодвинулся на пару шагов, бессознательно уступая ей побольше пространства и света.

У Леонарда в уме сложились общие контуры речи, но он не был уверен в том, что она будет принята благосклонно. Если бы Мария освободила его от необходимости давать очередные объяснения, развернувшись и хлопнув за собой дверью, он вздохнул бы с облегчением, по крайней мере сначала. Один он в каком-то смысле переставал существовать. Но здесь, сейчас он должен был взять ситуацию в свои руки и ничего не испортить. Мария выжидательно смотрела на него. Она давала ему вторую попытку. Ее глаза блестели. Он подумал, уж не плакала ли она в ванной.

— Я не хотел напугать тебя, — сказал он. Это прозвучало осторожно, почти как вопрос. Но она еще не готова была ответить ему. За все это время она не сказала ему ни единого слова. Она говорила только с Блейком. — Я не собирался... ничего делать. Я только хотел...

Все это выглядело неубедительно. Он смешался. Подойти в темноте поближе и взять ее за руку, больше он ничего не хотел, добиться ясности старым испытанным способом, прикосновением. Он безотчетно отождествлял укрытие с безопасностью. Он не мог сказать ей, он едва ли понимал это сам, но случайная темнота на лестничной клетке была неотличима от мрака под одеялами в самую холодную неделю зимы, от той привычной атмосферы, когда все было новым. Бугорок мозоли на пальце ее ноги, родинка с двумя волосками, крохотные ямки на мочках ушей. Если она уйдет, что ему делать со всеми этими воспоминаниями любви, этими невыносимыми

мелочами? Если ее не будет с ним, как он один выдержит все это знание о ней? Сила этих мыслей породила слова, они пришли легко, как дыхание. «Я люблю тебя», — сказал он, а потом сказал это снова и повторил по-немецки, пока эта фраза не очистилась от всякой неловкости, от глуповатого, коробящего оттенка, пока она не зазвучала свободно и чисто, как если бы никто не произносил ее раньше ни в жизни, ни в кино.

Потом он сказал ей, как плохо ему было без нее, как он думал о ней, как счастлив он был, пока она не ушла, как счастливы были, казалось ему, они оба, как она дорога ему и прекрасна и каким дураком, каким грубым, себялюбивым идиотом надо было быть, чтобы напугать ее. Он никогда еще не говорил так много за один раз. В паузах, подыскивая непривычные, откровенные слова, он поправлял на переносице очки или снимал их, близоруко оглядывал и надевал снова. Его рост словно работал против него. Он сел бы, если бы села она.

Было почти невыносимо смотреть, как изливает душу этот робкий, неуклюжий англичанин, столь мало понимающий в собственных чувствах. Так вели себя обвиняемые на показательных процессах в России. Мария остановила бы его, но она была заморожена, как однажды в детстве, когда отец снял с радиоприемника заднюю крышку и показал ей лампы и подвижные металлические пластинки, благодаря которым они слышат человеческие голоса. Она еще не совсем избавилась от страха, хотя он отступал с каждым новым сбивчивым признанием. И она слушала, не выдавая себя ничем, как Леонард опять и опять говорит ей, что он не понимает, какой бес в него вселился, что он не хотел обидеть ее и что это никогда, никогда больше не повторится.

Наконец он выдохся. Тишину нарушало только тархтенье мотороллера на Платаненаллее. Они слышали, как звук понизился на повороте, затем снова взмыл вверх и понемногу сошел на нет. Молчание действовало на Леонарда угнетающе — он решил, что приговорен. Он не мог заставить себя взглянуть на нее. Он снял очки и протер их носовым платком. Он сказал слишком много. Это нечестно. Если она сейчас уйдет, подумал он, надо будет принять душ. Он не утопится. Он поднял глаза. В районе продолговатого пятна, представляющего Марию в его поле зрения, возникли ясно

различимые колебания. Она расстегивала плащ, потом двинулась через комнату к нему.

Леонард шел по коридору от фонтанчика с питьевой водой к комнате записи — маршрут, пролегающий мимо кабинета Гласса. Дверь его была открыта, Гласс сидел за столом. Он немедленно вскочил на ноги и махнул Леонарду, приглашая войти.

— Хорошие новости. Мы проверили твою девушку. С ней все в порядке. Командир этой игрушечной автомастерской и его заместитель — оба с ума по ней сходят, хоть и по-своему, по-британски. Но она держится молодцом.

— Значит, ты с ней виделся. — Леонард уже знал от Марии о трех ее беседах с Глассом. Ему это не нравилось. Очень не нравилось. Он должен был услышать версию американца.

— А как же. Она сказала мне, у вас что-то разладилось и она решила некоторое время побыть от тебя в стороне. Я сказал, какого черта, мы тратим драгоценные рабочие часы, проверяя вас, потому что вы вздумали дать отставку одному из наших парней, можно сказать, почти гению, черт подери, который самоотверженно трудится во славу его и моей родины. Тогда я уже знал, что с ней все в порядке. Я сказал, берите ноги в руки и дуйте к нему на квартиру мириться. Герр Марнем не из тех, с кем можно шутить. Лучше его у нас нет, так что вам крупно повезло, фрау Экдорф! Она вернулась?

— Позавчера.

Гласс издал победный клич и театрально захохотал.

— Ага, видишь? Я тебя выручил, благодаря моей рекламе ты получил ее назад. Теперь мы квиты.

Детские штучки, подумал Леонард, это панибратское обсуждение его личной жизни.

— Что еще ты выяснил из ваших разговоров? — спросил он.

Мгновенный переход Гласса от веселья к серьезности сам по себе выглядел чуть ли не насмешкой.

— Она сказала, ты дал волю рукам. Ей пришлось спасаться бегством. Слушай, Леонард, я все время тебя недооцениваю. Умеешь ты притворяться, спору нет. Здесь ты тише воды, ниже травы, а потом приходишь домой и — бац! — превращаешься в Кинг-Конга.

Гласс снова засмеялся, на этот раз искренне. Леонарда охватило раздражение.

Прошлым вечером Мария все рассказала ему о проверке лояльности, которая произвела на нее немалое впечатление. Теперь Гласс опять вернулся за стол, и все же Леонард не мог полностью разогнать свои сомнения. Можно ли по-настоящему доверять этому человеку? Как ни крути, Гласс таки нашел способ залезть к ним в постель.

Когда американец перестал смеяться, Леонард сказал:

— Тут мне гордиться нечем, — И добавил, постаравшись вложить в свое замечание ощутимую долю угрозы: — Вообще-то я очень серьезно отношусь к этой девушке.

Гласс поднялся и взял пиджак.

— Я тебя понимаю. Она прелесть, что говорить, — Леонард стоял рядом, пока он запирал кабинет. — Как это недавно сказал один из ваших, я случайно услышал: весьма недурная малютка? — Гласс положил руку на плечо англичанину и двинулся с ним по коридору. Его подражание выговору кокни показалось Леонарду умышленно неловким, нарочито издевательским, — Выше нос, братец. Пойдем-ка лучше глотнем чайку.

Отношения Леонарда и Марии приняли новую форму. С течением лета 1955 года они все более равномерно распределяли свое время между его квартирой и ее. Теперь они возвращались с работы примерно в один и тот же час. Мария готовила, Леонард мыл посуду. Вечерами по будням они ходили на Олимпийский стадион поплавать в бассейне, или гуляли вдоль канала в Кройцберге, или, сидя под открытым небом, пили пиво у бара рядом с Марианненплац. Подруга из спортклуба одолжила Марии велосипеды. По выходным они ездили в поселки Фронау и Хайлигензее на севере или на запад в Гатов исследовать пустынные луга городских окраин. В воздухе за городом пахло водой. Они устраивали пикники на берегах Гросглиникерзее, где летали английские военные самолеты, и доплывали до красно-белых буйков, отмечающих границу между британским и русским секторами. Они добирались до Кладова у огромного Ваннзее и переправлялись на пароме в Зелендорф, а там опять залезали на велосипеды и ехали мимо развалин и новостроек обратно в центр города.

Вечерами по пятницам и субботам они смотрели кино на Ку-дамм^[26]. Потом приходилось сражаться с толпой за столик перед «Кемпински», а можно было пойти в их излюбленный модный бар в «Отель-ам-Цоо». Часто они заканчивали гулянье поздним ужином в «Ашингерс» — Леонард обожал тамошний гороховый суп. В день рождения Марии — ей исполнился тридцать один — они отправились в «Мезон-де-Франс» поужинать и потанцевать. Леонард сделал заказ по-немецки. Позднее в тот же вечер они посетили «Эльдорадо», чтобы посмотреть шоу трансвеститов: на вид вполне обычные женщины пели стандартные эстрадные песенки под аккомпанемент фортепиано и виолончели. Когда они вернулись домой, Мария, еще слегка под хмельком, предложила Леонарду втиснуться в одно из ее платьев. Он с негодованием отказался.

Если они проводили вечера дома, у него или у нее, их приемник обычно бывал настроен на «Голос Америки», по которому передавали последние ритм-энд-блюзы. Они любили «Ain't That a Shame» Фэтса Домино, «Maybellin» Чака Берри и «Mystery Train» Элвиса Пресли. Такого рода песни давали им чувство свободы. Иногда они слышали

пятиминутные лекции Рассела, приятеля Гласса, — он говорил о демократических институтах Запада, о работе нижних палат в различных странах, о значении независимого суда, религиозной и расовой терпимости и так далее. Они находили все его доводы вполне разумными, но обязательно уменьшали громкость и ждали следующей песни.

Бывали светлые дождливые вечера, когда они оставались дома и просиживали в молчании по целому часу: Мария — с каким-нибудь очередным любовным романом, Леонард — с «Таймс» двухдневной давности. Он никогда не умел читать газету, особенно «Таймс», без ощущения, что изображает кого-то другого или тренируется перед вступлением в мир взрослых. Он следил за встречей Эйзенхауэра и Хрущева, а потом сообщал Марии о ее ходе и обо всех принятых документах настойчивым тоном человека, лично ответственного за результат. Ему приносила большое удовлетворение мысль, что стоит опустить газету — и его девушка окажется перед глазами. Не замечать ее было роскошью. Он был горд, чувствовал себя наконец-то остепенившимся, настоящим взрослым. Они никогда не говорили о работе Леонарда, но он знал, что Мария относится к ней с уважением. Слово «брак» тоже никогда не произносилось, однако Мария замедляла шаг, проходя мимо мебельных витрин на Ку-дамм, а Леонард повесил над раковиной в Кройцберге примитивную полочку, и теперь его бритвенные принадлежности заняли место рядом с ее единственной баночкой увлажняющего крема, а их зубные щетки стояли, прислонившись друг к другу, в общей кружке. Все это создавало атмосферу комфорта и уюта. С помощью Марии Леонард совершенствовал свой немецкий. Она смеялась над его ошибками. Они передразнивали друг друга, много веселились и иногда устраивали шутливую возню на кровати. Их интимные отношения складывались вполне гармонично, они редко пропускали сутки. Леонард держал свою фантазию в узде. Они чувствовали взаимную любовь. Гуляя, они сравнивали себя с другими молодыми парами, попадавшимися навстречу; сравнение выходило в их пользу. Тем не менее им было приятно сознавать свою похожесть на них, представлять их и себя частью одного и того же благодатного, умиротворяющего процесса.

Однако в отличие от большинства парочек, встречающихся им по воскресеньям на берегах Тегелерзее, Леонард и Мария уже жили

вместе и перенесли потерю, о которой не говорилось, поскольку она до сих пор не нашла точного определения. Им так и не удалось вернуться к тому состоянию, в котором они провели февраль и начало марта, когда казалось возможным творить собственные правила и процветать независимо от властных подспудных законов, регулирующих жизнь всех прочих мужчин и женщин. Тогда они пребывали в великолепном убожестве, на самых пределах телесного наслаждения, счастливые как свиньи, вне рамок любых домашних установлений и личной гигиены. Только Леонардова шалость — такое слово использовала Мария однажды при упоминании вскользь об их размолвке, тем самым даровав ему полное прощение, — только его *Unartigkeit* положила конец всему этому и вернула их на грешную землю. Теперь они остановили выбор на блаженной заурядности. В ту пору они отрезали себя от мира, что привело к несчастью. Теперь же в их жизни царил порядок ухода на работу и возвращения домой, они следили за чистотой в своих квартирах, приобрели в *Trodelladen*^[27] еще один стул для гостиной Марии, держались на улице за руки и отстаивали длинную очередь, чтобы в третий раз посмотреть «Унесенных ветром».

Летом и осенью произошли только два памятных события. Как-то утром в середине июля Леонард шагал по туннелю в камеру прослушивания — ему предстояла рутинная проверка аппаратуры. Футах в пятидесяти от герметической двери, преграждающей доступ в камеру, он наткнулся на группу людей. Новый сотрудник, явно американец, руководил снятием коробок с предохранителями, укрепленных на стальной облицовке. Под его началом работали двое, а усилители мешали протиснуться мимо них. Леонард громко откашлялся и стал терпеливо ждать. Коробка была снята, и все трое посторонились, уступая ему дорогу. Только Леонардово «доброе утро» вызвало у новичка добродушное замечание: «Ну и напортачили же вы, ребята». Леонард отправился дальше в камеру, находящуюся под давлением, и потратил час на проверку приборов и соединений. Как его и просили, он заменил микрофон на потолке вертикальной шахты, установленный там, чтобы подать сигнал тревоги в случае вторжения русских. На обратном пути мимо усилителей он увидел, как те же люди сверлят ручными дрелями бетонное уплотнение облицовочной

конструкции. Дальше по туннелю было снято еще с полдюжины коробок. На этот раз никто из них не промолвил ни слова.

Вернувшись на склад, он нашел в столовой Гласса. Подождав, пока уйдет человек, сидевший вместе с американцем, Леонард спросил его, что происходит в туннеле.

— Это ваш Макнами. Он неправильно рассчитал. Еще в самом начале запудрил нам мозги своей паршивой математикой, все доказывал, что кондиционеры справятся с теплом, которое выделяют усилители. А теперь похоже, что он здорово промахнулся. Мы вызвали специалиста из Вашингтона. Он замеряет температуру почвы на разных глубинах.

— Что тут страшного, — сказал Леонард, — если земля и нагреется немножко?

Его вопрос рассердил Гласса.

— Ну ты даешь! Эти усилители находятся прямо под дорогой, как раз под шоссе Шёнефельдер. Первый же осенний заморозок — и там будет замечательное черное пятно. Сюда, ребята, приглашаем вас посмотреть, что делается внизу! — Наступила пауза, потом: — Честное слово, не понимаю, зачем мы вас к этому подключили. Вам не хватает серьезности.

— Ерунда, — сказал Леонард. Гласс его не слышал.

— Этот чудила Макнами. Ему бы дома играть в железную дорогу. Знаешь, где он делал свои расчеты по выходу тепла? На обороте конверта. Можешь себе представить? У нас были бы три независимые группы. Если бы их оценки не совпали, мы поинтересовались бы, в чем дело. Разве у парня с такими зубами может нормально работать голова?

— Он крупный ученый, — сказал Леонард, — Он разрабатывал навигационные и наземные радиолокаторы.

— Он ошибается. Остальное неважно. Надо нам было делать все самим. Сотрудничество ведет к ошибкам, проблемам с секретностью, да что говорить.

У нас есть свои усилители. На кой нам ваши? Мы подключили вас к этому ради политики, в ответ на какую-нибудь вашу идиотскую уступку, о которой здесь и слыхом не слыхали.

Леонарда бросило в жар. Он оттолкнул гамбургер.

— Мы здесь, потому что имеем на это право. Никто не боролся с Гитлером дольше нас. Мы прошли всю войну. Мы были последней и самой верной надеждой Европы. Мы отдали этому все, и теперь у нас есть право участвовать во всем, и в обеспечении европейской безопасности тоже. Если ты этого не понимаешь, ты заодно с другой стороной.

Гласс уже давно поднял руку. Он посмеивался, извиняясь.

— Эй, не надо переходить на личности.

Вспышка Леонарда отчасти и впрямь объяснялась личными мотивами. Он не мог забыть о беседах Гласса с Марией и о хвастливом заявлении американца, что он убедил Марию вернуться назад. Сама Мария клялась, что ничего подобного не было. По ее утверждению, она упомянула об их ссоре лишь в самых общих словах, а Гласс просто записал это. Но Леонард все еще сомневался, и неуверенность делала его раздражительным.

— Пойми меня правильно, Леонард, — говорил Гласс. — Когда я говорю «вы», я имею в виду ваше правительство. Я рад, что ты здесь. И ты говоришь правду. Ваши ребята отважно воевали, они проявили себя героями. Это было ваше время. О чем я и толкую. — Он положил ладонь на руку Леонарда, — Тогда было ваше время, теперь наше. Кто еще способен осадить русских?

Леонард отвел глаза.

Второе событие произошло в дни октябрьских гуляний. Леонард с Марией провели в Тиргартене воскресенье и два следующих вечера. Они посмотрели тexasское родео, побывали на всех выступлениях и пили пиво, глядя, как поджаривают на вертеле целую свинью. Хор детей в голубых шейных платках пел народные песни. Мария поморщилась и сказала, что они напоминают ей гитлерюгенд. Но песни были грустные, довольно красивые, на взгляд Леонарда, и дети уверенно справлялись с трудными гармониями. Завтрашний вечер они договорились провести дома. После работы пребывание в толпе утомляло обоих, и вдобавок они уже потратили недельную сумму, выделявшуюся на развлечения.

В тот день Леонард вернулся со склада на час позже обычного. Ему пришлось задержаться там, поскольку восемь магнитофонов неожиданно отказали. Это явно была неполадка в цепи питания, и Леонарду с одним американцем из руководящего состава

потребовалось полчаса, чтобы найти ее, и столько же, чтобы устранить. Он добрался до Адальбертштрассе к половине восьмого. Уже за два пролета до квартиры Марии он понял: что-то не так. Вокруг было слишком тихо. Такая глухая, осторожная тишина обычно наступает вслед за взрывом. Какая-то женщина мыла ступени, на лестнице стоял неприятный запах. Из двери на предпоследнем этаже выглядывал маленький мальчик; увидев Леонарда, он убежал внутрь с криком: «Er kommt, er kommt!»^[28]

Последний пролет Леонард одолел бегом. Дверь в квартиру Марии была приоткрыта. Коврик в прихожей лежал криво. На полу в гостиной валялись осколки чашки. Мария была в спальне — она сидела в темноте на матрасе. Она отвернулась от него, обхватив голову руками. Когда он зажег свет, она издала протестующий возглас и замотала головой. Он выключил его, сел рядом и положил руки ей на плечи. Назвал ее по имени и попытался развернуть к себе. Она сопротивлялась. Он лег на матрас, чтобы заглянуть ей в лицо. Она спрятала его в ладонях и отвернулась снова. «Мария?» — опять сказал он и потянул ее за запястье. На ее руке были сопли и кровь, едва заметные в свете, проникающем из гостиной. Она позволила ему отнять ее руки. Она плакала, но уже перестала. Ее левый глаз опух и закрылся. Вся левая сторона лица была разбита и набухла на глазах. Леонард увидел, что уголок рта у нее порван. Рукав блузки был разодран до самого плеча.

Он знал, что рано или поздно столкнется с этим. Она говорила ему о визитах мужа. Отто приходил один-два раза в год. До сих пор он просто выкрикивал угрозы, требовал денег, а в последнее свое посещение ударил ее по голове. Но такого Леонард все же не ожидал. Сегодня Отто бил ее кулаками по лицу изо всей силы — раз, другой, снова и снова. Леонард отправился за ватой и теплой водой, его мучило после испытанного шока, и он подумал, что ничего не знает о людях — на что они способны, до чего могут дойти. Он стал перед ней на колени и сначала промыл рану в уголке рта. Она закрыла здоровый глаз и прошептала: «Bitte, schau mich nicht an». Пожалуйста, не смотри на меня. Она хотела услышать от него что-нибудь.

«Beruhige dich. Ich bin ja bei dir». Я здесь, с тобой.

Потом он вспомнил свой давний поступок, и у него на время отнялся язык. Он приложил вату к ее щеке.

На Рождество Леонард вернулся домой, так и не сумев уговорить Марию поехать с ним. Она думала, что мать Леонарда вряд ли обрадуется немке, разведенной да к тому же старше его. Он считал ее щепетильность излишней. Он не стал бы утверждать, что его родители живут по таким строгим, не допускающим отклонений правилам. Однако, проведя дома сутки, он понял, что ошибался. Ему было нелегко. Его спальня с узкой кроватью и дипломом в рамочке, полученным за победу на математическом конкурсе среди шестых классов, была комнатой ребенка. Он изменился, стал совершенно другим, но родители не желали это замечать. В гостиной висели цветные бумажные гирлянды, зеркало над камином, как полагается, украшал венок из остролиста^[29]. В первый вечер они слушали его восторженные рассказы. Он поведал им о Марии, ее работе и о том, какая она, о ее и его квартирах, о «Рези» и «Отель-ам-Цоо», об озерах, о тревожной и волнующей атмосфере полуразрушенного города.

На ужин в честь его приезда была жареная курица и больше жареной картошки, чем он теперь мог съесть.

Прозвучало несколько малозначительных вопросов: мать поинтересовалась, как он решил проблему стирки, отец упомянул о «девушке, с которой ты встречаешься». Имя Марии вызывало едва заметную враждебность, словно давая понять, что они не рассчитывают когда-либо познакомиться с ней, они отметали самую мысль о ее существовании. Он старался избегать намеков на ее возраст и семейное положение. В остальном их замечания были направлены на стирание разницы между здешней и тамошней жизнью. Ничто в его рассказах не возбудило интереса, удивления или отвращения, и вскоре Берлин лишился своей необычности и стал чем-то вроде отдаленного квартала Тотнема, известного и ограниченного, в общем-то любопытного, но не слишком. Его родители не знали, что он влюблен.

И Тотнем, и весь Лондон были скованы воскресным оцепенением. Люди тонули в обыденности. Параллельные ряды викторианских домов на его улице знаменовали собой конец всяких перемен. Здесь не приходилось ждать никаких событий. В жизни не было ни напряженности, ни цели. Соседей заботила перспектива взять

напрокат или купить телевизор. На крышах торчали антенны в форме буквы Н. По пятницам его родители отправлялись за два дома смотреть вечерние передачи; они старательно копили деньги, имея в виду разумный план покупки в рассрочку. Они уже подобрали марку телевизора, и мать показала ему, в каком углу гостиной он со временем займет место. Великая борьба за освобождение Европы была так же далека, как каналы на Марсе. Никто из завсегдатаев бара, куда ходил его отец, и слыхом не слыхал о Варшавском пакте, ратификация которого наделала столько шуму в Берлине. Леонард выпил стакан пива в обществе отцовских приятелей и по просьбе одного из них рассказал с легким оттенком хвастовства о разрушениях, причиненных бомбежками, о сказочных барышах контрабандистов, о похищениях людей — как их, вопящих и брыкающихся, запикивают в закрытые автомобили и увозят в русский сектор, где они пропадают без следа. Все общество сошлось на том, что в подобных вещах нет ничего хорошего, и разговор вновь переключился на футбол.

Леонард скучал по Марии и почти так же сильно по туннелю. Без малого восемь месяцев он ежедневно проходил его из конца в конец, проверяя кабели, которые могли пострадать от сырости. Постепенно он полюбил его запах, запах земли, воды и металла, и его глухую давящую тишину, совсем не похожую на любую тишину наверху. Теперь, отлученный от этого, он вдруг осознал, как невероятно весело и рискованно было прятаться под самыми ногами у восточногерманских солдат. Ему не доставало совершенства всей конструкции, точных приборов, изготовленных по последнему слову техники, секретности и множества связанных с ней мелких ритуалов. Он тосковал по столовой, по атмосфере спокойного братства и компетентности людей, занятых одним делом, по щедрым порциям еды, которые словно входили в общую схему на правах важного элемента.

Он сидел у приемника в гостиной, пытаясь поймать музыку, к которой успел привыкнуть. «Rock Around the Clock» ловилась и здесь, но она уже устарела. Теперь он стал привередлив. Ему нужны были Чак Берри и Фэтс Домино. Он хотел слышать «Tutti Frutti» в исполнении Литл Ричарда и «Blue Suede Shoes» Карла Перкинса. Стоило ему остаться в одиночестве, как эти песни начинали звучать у него в голове, муча напомином о том, чего он лишен. Он снял с

аппарата заднюю крышку и нашел способ усовершенствовать схему. После этого удалось отыскать и «Голос Америки»; ему даже показалось, что сквозь треск и свист помех пробивается голос Рассела. Он не мог объяснить матери свою радость — она взирала на частичный демонтаж фамильного «Грандвокса» с отчаянием.

Он скучал по американскому выговору, но на улицах слышал только местный. Однажды он увидел, как из автобуса вылез пассажир, похожий на Гласса, и почувствовал разочарование, когда тот повернулся к нему лицом. Даже тоска не позволяла Леонарду обманываться настолько, чтобы считать Гласса своим лучшим товарищем, но он был чем-то вроде союзника, и Леонарду не хватало его грубоватой американской речи, дружеской беспардонности, отсутствия смягчений и околичностей, входящих в арсенал любого здравомыслящего англичанина. Во всем Лондоне не нашлось бы человека, который, желая убедить Леонарда в своей правоте, взял бы его под локоть или сжал ему плечо. Никто, кроме Марии, не интересовался так мнением Леонарда и его поступками.

Гласс даже преподнес Леонарду подарок на Рождество. Это случилось в столовой, на вечеринке, гвоздем которой был гигантский кусок говядины в окружении бутылок сухого шампанского — все это якобы прислал в знак внимания сам господин Гелен. Гласс сунул Леонарду в руки коробочку в подарочной упаковке. Внутри оказалась посеребренная шариковая ручка. Леонард видел такие раньше, но никогда ими не пользовался.

— Сделана специально для летчиков, — пояснил Гласс, — Шариковые на больших высотах не пишут. Вот она, польза военных разработок.

Леонард хотел выразить ему благодарность, но Гласс вдруг взял его в охапку и стиснул. Впервые в жизни Леонарда обнял мужчина. Все они уже порядком выпили. Затем Гласс произнес тост «за великодушие» и посмотрел на Леонарда, который решил, что Гласс просит прощения за допросы Марии, и с чувством опорожнил бокал.

— Мы оказываем господину Гелену честь, потому что пьем его вино, — сказал Рассел, — Нельзя быть более великодушными.

Сидя на краешке кровати под дипломом 1948 года, выданным ему в шестом классе Тотнемской классической школы, Леонард писал Марии послания своей новой ручкой. Она работала прекрасно —

чудилось, что на бумагу ложится, выплетаясь в слова, ярко-синяя нитка. Он держал в руке деталь оборудования туннеля, плод усилий военных конструкторов. Он отправлял по письму каждый день. Ему было приятно и пользоваться ручкой, и сочинять их. Основной интонацией была шутливая нежность — *я ужасно соскучился по твоим пяткам и жажду припасть к твоим ключицам*. Он следил за тем, чтобы не жаловаться на тотнемские порядки. Возможно, когда-нибудь он уговорит ее приехать сюда. Первые двое суток разлука казалась ему невыносимой. В Берлине он стал таким любящим, таким зависимым и в то же время ощущал себя совсем взрослым. Однако тут его поглотила обычная жизнь в семье. Из любовника он вдруг опять превратился в сына, в ребенка. Он снова был в своей комнате, и мать волновалась, есть ли у него чистые носки. На рассвете второго дня он проснулся от кошмара: ему приснилось, что берлинская жизнь осталась далеко в прошлом. Туда уже нет смысла возвращаться, произнес чей-то голос, там все давно по-другому. Мокрый от страха, он сел на кровати, придумывая способ послать самому себе телеграмму с требованием немедленно вернуться на склад.

Дня через три он успокоился. Теперь он мог думать о Марии без паники, понимая, что пройдет еще чуть больше недели и он увидит ее снова. Он бросил попытки объяснить родителям, как она изменила его жизнь. Она стала его персональной тайной. Надежда вновь увидеть ее в Темпельхофе скрашивала пребывание здесь. Именно в эту пору приятной тоски и ожидания он решил попросить ее выйти за него замуж. Выходка Отто еще сильнее сблизила их, сделала их совместное существование еще более желанным и уютным. Теперь Мария никогда не оставалась в своей квартире одна. Если они договаривались прийти после работы туда, Леонард старался явиться первым. Во время его визита к родителям Мария должна была провести несколько дней на Платаненаллее, а потом уехать на Рождество в Панков. Они стояли спина к спине, готовые встретить общего врага. Гуляя, они всегда шли рядом, рука об руку, а в барах и ресторанах садились вместе так, чтобы хорошо видеть дверь. Даже когда Мария залечила свои раны и они перестали говорить об Отто, он никуда не исчез и по-прежнему был с ними. Иногда Леонард сердился на Марию за то, что она выбрала себе такого мужа.

— Что будет дальше? — спрашивал он, — Мы не можем вечно ходить и озираться.

Страх Марии умерялся презрением.

— Он трус. Он убежит, когда увидит тебя. И вообще, он скоро сопьется и умрет. Чем раньше, тем лучше. Думаешь, зачем я каждый раз даю ему деньги?

Впрочем, эти предосторожности вошли в привычку, они даже укрепляли их близость. Приятно было иметь общую заботу. Временами Леонард думал, что очень неплохо, когда красивая женщина видит в тебе защитника. У него были неопределенные планы насчет того, как привести себя в лучшую физическую форму. От Гласса он узнал, что ему открыт доступ в спортзалы американской армии. Упражнения со штангой могли бы пригодиться, дзюдо тоже, хотя в квартире Марии было слишком тесно для эффектных бросков. Но он не привык к регулярным тренировкам, и каждый вечер ему казалось более разумным пойти домой.

В мыслях он представлял себе встречу с Отто, и его сердце билось сильнее. Он видел себя в роли киногероя, миролюбивого силача, которого нелегко задеть за живое, но уж если его раздражишь, пощады не жди. Он проводил удар в солнечное сплетение с печальным изяществом. Он выбивал у Отто нож и заодно ломал ему руку, демонстрируя тонкое сожаление и отпуская фразочку вроде: «Я же предупреждал не нарывайся». Другая фантазия строилась на неотразимой силе убеждения. Он поведет Отто куда-нибудь, скажем в закусочную, и заставит его признать свои ошибки с помощью вежливой, но непреклонной аргументации. Произойдет мужской разговор, и в результате Отто отправится восвояси вполне оттаявший и облагороженный признанием законности Леонардовых притязаний. В дальнейшем он мог стать их другом, крестным отцом одного из детей, и Леонард использовал бы свое новообретенное влияние, чтобы подыскать бывшему алкоголику работу на какой-нибудь военной базе. В других вариантах Отто попросту никогда больше не появлялся: он выпадал из поезда, или умирал от пьянства, или встречал подходящую девушку и женился снова.

Все эти мечты порождались внутренней уверенностью, что Отто обязательно придет опять, и как бы ни сложились события, они будут непредсказуемыми и неприятными. Леонард иногда наблюдал драки в

барах и закусочных Лондона и Берлина. Эти зрелища вызывали мгновенную слабость в его руках и ногах. Он поражался безрассудству соперников. Чем отчаяннее они дрались, тем более свирепые удары получали в ответ, но это их как будто не волновало. Один хороший пинок, казалось, стоил для них риска провести всю жизнь в инвалидной коляске или без глаза.

За плечами Отто были годы подобного опыта. Ему ничто не мешало ударить женщину по лицу изо всей силы. Как он вздумает обойтись с Леонардом? Судя по рассказу Марии, Леонард крепко застрял у него в мозгу. Отто явился к ней на квартиру прямо из пивной — тогда как раз шли народные гулянья. У него кончились деньги, и он забрел сорвать несколько марок и напомнить бывшей жене, что она разбила ему жизнь и украла все, что он имел. Все ограничилось бы вымогательством и пустыми тирадами, не завались Отто в ванную, чтобы облегчиться. Там ему попались на глаза Леонардовы помазок и бритва. Он сделал свое дело и вышел, рыдая и кляня Марию за предательство. Вломившись в спальню, он увидел на сундуке сложенную сорочку Леонарда. Рыдания перешли в крики. Сначала он гонял Марию по комнатам, ругая ее потаскухой. Потом схватил за волосы, а другой рукой ударил по лицу. Покидая квартиру, он смахнул на пол несколько чашек. Через два пролета его вырвало на лестнице. Кое-как спускаясь дальше, он по-прежнему выкрикивал оскорбления, которые слышали все соседи.

Отто Экдорф был берлинцем. Он вырос в районе Веддинг, в семье владельца местной закусочной — одна из причин, по которой родители Марии так упорно сопротивлялись их браку. О его военных годах Мария знала немного. По ее догадкам, Отто призвали в тридцать девятом, когда ему было девятнадцать. Кажется, он попал в пехоту и участвовал в триумфальном покорении Парижа. Потом его ранило — не в бою, а во время аварии, когда какой-то пьяный соратник перевернул армейский грузовик. После нескольких месяцев госпиталя на севере Франции его перевели в связисты. Он был на Восточном фронте, но ни разу не попал на передовую. Мария говорила: «Когда он хочет убедить тебя в своей храбрости, он вспоминает о боях, которые видел. А потом, когда напьется и хочет показать, какой он умный, он объясняет, что устроился в полевой штаб телефонистом и так обеспечил себе спокойную жизнь».

Он возвратился в Берлин в сорок шестом и познакомился с Марией, которая работала на раздаче продуктов в британском секторе. По словам Марии, она вышла за него, потому что тогда в жизни царил хаос и любые поступки казались малозначащими, а еще потому, что она рассорилась с родителями, а Отто выглядел довольно обаятельным и добрым. В те дни одинокая молодая женщина была уязвима и нуждалась в защите.

В унылую погоду после Рождества Леонард совершал долгие пешие прогулки и думал о том, как он женится на Марии. Он шел в Финсбери-парк, мимо Холлоуэя до Кэмден-таун. Очень важно, думал он, прийти к решению сознательно, а не под влиянием тоски, вызванной разлукой. Следовало рассмотреть доводы, говорящие против нее, и понять, насколько они весомы. Был, например, Отто. Кроме того, он по-прежнему подозревал Гласса, но тут явно была виновата ревность. Мария сказала Глассу немного лишнего, вот и все. Другая национальность тоже могла считаться препятствием. Но ему нравилось говорить по-немецки, с помощью Марии он достиг неплохих успехов, а жить в Берлине казалось интереснее, чем где бы то ни было. Возможно, его родители будут против. Отец, раненный при высадке в Нормандии, до сих пор говорил, что ненавидит немцев. Проведя дома неделю, Леонард решил, что этот вопрос должен остаться на совести родителей. Когда его отец лежал за песчаной дюной с пулей в пятке, Мария была перепуганной мирной жительницей, прячущейся от еженощных бомбежек.

Следовательно, ничто ему не мешало, и, добравшись до моста через канал Риджентс-парка, он оборвал свои строгие логические выкладки и позволил себе обратиться мыслями ко всему, что делало ее такой прекрасной. Он влюблен и собирается жениться. Что может быть проще, естественней и приятней? До встречи с Марией поделиться своими планами было не с кем. У него не было близких друзей. Когда придет пора объявить новость, единственным, кто искренне обрадуется и наверняка не подумает скрывать свои чувства, будет, по-видимому, все тот же Гласс.

Вода в канале покрылась едва заметной рябью — надвигался дождь. Перспектива долгого пути обратно на север, назад по цепочке своих размышлений, тяготила его. Лучше поехать на автобусе от Кэмден-Хай-стрит. Он повернулся и быстро пошел в ту сторону.

Теперь недели и месяцы связывались для Леонарда и Марии с отдельными американскими песенками. В январе и феврале пятьдесят шестого им нравились «I Put a Spell on You», которую пел Скриминг Джей Хокинс, и «Tutti Frutti». Именно последняя в исполнении Литл Ричарда, до предела напористая и зажигательная, побудила их приняться за освоение джайва. Потом была «Long Tall Sally». Движения они уже знали. Американцы помоложе со своими девушками давно танцевали так в «Рези». До сих пор Леонард и Мария относились к джайверам с неодобрением. Им нужно было чересчур много места, и они толкали в спину других танцующих. Мария говорила, что она стара для подобных штучек, а Леонард считал эти танцы ребяческими и показушными, чисто американскими. Поэтому они держались традиционных квикстепов и вальсов. Но Литл Ричард требовал иного. Стоило поддаться обаянию этой музыки, и они уже ничего не могли с собой поделать — убедившись, что Блейков нет дома, они увеличивали громкость и принимались разучивать все эти шаги, кроссоверы и повороты.

Было необычайно захватывающе читать чужие мысли, угадывать намерения партнера. Поначалу они то и дело сталкивались. Потом стал появляться некий рисунок — он возникал бессознательно и был не столько результатом их стараний, сколько отражением их внутренней сути. По молчаливому уговору Леонард вел танец, а Мария своими движениями лишь подсказывала ему, как он должен это делать.

Вскоре они решили, что готовы выйти на публику. В «Рези» и других танцзалах нельзя было услышать ничего похожего на «Long Tall Sally». Там играли «In the Mood» и «Take the A Train», но теперь им довольно было самих движений. Леонард испытывал дополнительный восторг от сознания того, что его родители и друзья не умеют, да и не способны так танцевать, что ему нравится музыка, которая вызвала бы у них только ненависть, и что он чувствует себя как дома в абсолютно чужом для них городе. Он был свободен.

В апреле появилась песня, которая покорила всех и стала началом конца пребывания Леонарда в Берлине. Она не имела никакого отношения к танцам. Она вся была проникнута одиночеством и

безысходной тоской. Ее мелодия была крадущейся, обреченность — комически преувеличенной. Ему нравилось в ней все — тихая поступь контрабаса, как ночные шаги по мостовой, пронзительное соло гитары, скудный аккомпанемент фортепиано и больше всего спокойный мужской совет, которым она завершалась: «Если твоя девушка покинула тебя и тебе есть что рассказать, пройдишь по улице одиноких...» Было время, когда «Голос» передавал «Heartbreak Hotel» ежечасно. Нарочитая скорбность песни могла бы показаться смешной. Но на Леонарда она действовала иначе: он чувствовал себя выдавшим виды трагическим героем, словно вырастал в собственных глазах.

Она послужила фоном приготовлений к помолвке, которую Леонард и Мария решили устроить на Платаненаллее. Она звучала у Леонарда в голове, когда он покупал спиртное и соленые орешки в магазине «Наафи»^[30]. В отделе подарков он увидел молодого военного, лениво склонившегося над витриной с наручными часами. Леонарду понадобилось несколько секунд, чтобы признать в нем Лофтинга, лейтенанта, который когда-то дал ему телефон Гласса. Лофтинг тоже не сразу узнал Леонарда. Однако после этого он стал гораздо словоохотливей и дружелюбнее, чем раньше. Без всякого повода он сообщил, что наконец отыскал в городе большой открытый участок, нашел штатского подрядчика, взявшегося расчистить и выровнять его, и через какого-то знакомого в берлинской мэрии добился разрешения на засев, чтобы устроить там крикетную площадку. «Трава растет на глазах. Я установил круглосуточное дежурство, чтобы дети не лезли. Вы должны прийти посмотреть». Ему здесь одиноко, решил Леонард и, не успев как следует подумать, выложил Лофтингу все о своей помолвке с немецкой девушкой и пригласил его на вечер. В конце концов, им явно не хватало гостей.

Незадолго до шести часов, когда должны были явиться первые приглашенные, Леонард отправился выносить мусор на задний двор. Лифт не работал, и он пошел пешком, напевая себе под нос «Heartbreak Hotel». На обратном пути он столкнулся с Блейком. Они не разговаривали с прошлого года, после той сцены на лестничной площадке. Однако напряженность между ними уже успела нейтрализоваться, и в ответ на кивок Леонарда Блейк улыбнулся и поздоровался. Снова без всяких раздумий, только потому, что он был в приподнятом настроении, Леонард сказал:

— Не зайдете ли вы с женой сегодня ко мне на коктейль? В любое время после шести?

Блейк шарил в кармане пальто, ища ключ. Он вынул его и уперся в него взглядом. Затем сказал:

— Спасибо. Почему бы и нет.

Когда Леонард с Марией ждали первого гостя, по радио снова передавали «Heartbreak Hotel». В гостиной были расставлены блюда с солеными орешками, а на столе, придвинутом к стене, имелся широкий выбор напитков: вино и пиво, лимонад, «пимс», тоник и литровая бутылка джина. Все это Леонард приобрел в магазине, торгующем беспопытными товарами для иностранцев. Пепельниц должно было хватить с лихвой. Леонард хотел еще добавить ломтики ананаса и сыр «чеддер» на зубочистках, но эта безумная смесь так развеселила Марию, что он отказался от своих планов. Они держались за руки, обозревая приготовленное, сознавая, что их любовь вот-вот начнет публичное существование. Мария надела пышное белое платье, шуршащее при ходьбе, и лакированные голубые туфельки. На Леонарде был его лучший костюм, к которому он дерзнул добавить белый галстук.

«...он так долго скитался по улице одиноких...» Прозвенел звонок, и Леонард пошел открывать. Это был Рассел с «Голоса Америки». То, что их приемник настроен на эту станцию, отчего-то вызвало у Леонарда чувство смутной неловкости. Рассел, казалось, ничего не заметил. Он взял Марию за руку и не отпускал чересчур долго. Но тут, с хихиканьем и подарками, явились подруги Марии с работы — Дженни и Шарлотта. Рассел отступил, а немки обрушили на будущую невесту вихрь объятий и малопонятных берлинских восклицаний и утащили ее на диван. Леонард смешал джин с тоником для Рассела и «пимс» с лимонадом для девушек.

— Это она прислала вам записку по пневматической почте? — спросил Рассел.

— Да.

— У нее слово с делом не расходится. Познакомьте меня с ее подругами?

Вскоре пришел Гласс, а за ним Лофтинг, чье внимание было привлечено взрывом женского смеха со стороны дивана. Приготовив напитки, Леонард отвел радиодиктора и лейтенанта к дамам. Когда

всех перезнакомили, Рассел затеял легкий флирт с Дженни, уверяя ее, что они уже где-то встречались и что она красавица, каких мало. Лофтинг, вполне в духе Леонарда, завел с Шарлоттой мучительную светскую беседу. Когда он сказал: «Любопытно. И сколько же вам нужно, чтобы доехать утром до Шпандау?» — ее с подругами разобрал неудержимый смех.

Гласс заготовил речь. Леонарда тронуло то, что его друг потрудились напечатать ее на открытках. Прося тишины, он постучал штопором по бутылке с джином. Гласс начал с забавного описания Леонарда с розой за ухом и их знакомства с Марией, происшедшего благодаря пневматической почте. Он выразил надежду, что когда-нибудь его самого столь же эффектным образом разлучат с холостяцкой жизнью и виновницей этого станет девушка вроде Марии, прекрасная и замечательная во всех отношениях. «Очень может быть», — громко заметил Рассел. Мария призвала его к тишине.

Затем Гласс выдержал паузу. Он уже набрал в грудь воздуха, чтобы приступить ко второй части, но тут раздался звонок. Это были Блейки. Все подождали, пока Леонард нальет им выпить. Миссис Блейк заняла кресло. Ее муж стал у двери, без всякого выражения глядя на Гласса, и тот поднял бороду в знак своей готовности продолжать. Потом заговорил ровным голосом:

— Все, кто сейчас собрался в этой комнате, немцы, англичане, американцы, каждый на своем рабочем месте, посвятили себя строительству нового Берлина. Новой Германии. Новой Европы. Я понимаю, что говорю как политик, хотя, может быть, это и правда. Конечно, когда я встаю в семь часов зимним утром и одеваюсь, чтобы идти на службу, я не слишком озабочен строительством новой Европы. — Послышались приглушенные смешки, — Мы все знаем, какая свобода нам нужна, и знаем, что ей угрожает. Мы все знаем, что единственное место, где можно и должно построить мирную, свободную Европу, находится здесь, в наших сердцах. Леонард и Мария выросли в странах, которые десять лет назад воевали друг с другом. Этой помолвкой они тоже по-своему заключают мир между двумя нациями. Их брак и прочие, подобные ему, свяжут их страны надежнее любого договора. Интернациональные браки укрепляют взаимопонимание между народами, и каждый такой союз уменьшает вероятность новой войны. — Гласс поднял глаза со своих открыток и

ухмыльнулся, внезапно отбросив серьезность, — Вот почему я давно ищу симпатичную русскую девушку, чтобы увезти ее с собой в Сидар-Рэпидс. За Леонарда и Марию!

Все подняли бокалы, и Рассел, уже обвивший рукой талию Дженни, крикнул:

— Теперь ваша очередь, Леонард!

Весь опыт публичных выступлений Леонарда ограничивался последним классом школы, когда ему поручили шефство над шестиклассниками и в связи с этим он должен был каждые две недели делать объявления на утренней линейке. Начав ответную речь, он заметил, что дышит чересчур быстро и неровно. Ему приходилось говорить порциями по три-четыре слова.

— Спасибо, Боб. Сам я не могу обещать перестроить Европу. Пока меня хватило только на полочку в ванной. — Шутку приняли хорошо. Даже Блейк улыбнулся. Мария в другом конце комнаты смотрела на него с сияющим лицом, или она тоже была готова заплакать? Леонард почувствовал, что краснеет. Успех вскружил ему голову. Он хотел бы иметь в запасе еще дюжину шуток. Он сказал: — Мы оба можем обещать вам и друг другу только одно: быть счастливыми. Большое вам спасибо, что пришли.

Общество ответило аплодисментами, затем, снова по подсказке Рассела, Леонард пересек комнату и поцеловал Марию. Рассел поцеловал Дженни, и все занялись коктейлями.

Блейк подошел пожать Леонарду руку и поздравить его. Он сказал:

— Этот бородатый американец. Откуда вы его знаете?

Леонард помедлил.

— Он со мной работает.

— Я не знал, что вы работаете у американцев.

— Не совсем. Мы сотрудники. Общие телефонные линии.

Блейк посмотрел на Леонарда долгим взглядом. Он отошел с ним в тихий уголок.

— Хочу дать вам совет. Этот малый, Гласс, что ли, работает у Билла Харви. Говоря мне, что вы работаете с Глассом, вы сообщаете, что у вас за работа. Альтлинике. Операция «Золото». А мне этого знать не надо. Вы нарушаете секретность.

Леонарду захотелось сказать, что Блейк тоже нарушает секретность, намекая на свою собственную связь с разведкой. Блейк продолжал:

— Не знаю, кто остальные гости. Но я знаю одно: в том смысле, который нас интересует, это очень маленький город. Буквально поселок. Вам нельзя показываться на людях с Глассом. Вы создаете утечку информации. Мой совет: и в профессиональном, и в личном плане держитесь друг от друга подальше. Теперь я пожелаю всего наилучшего вашей суженой, и после этого мы уйдем.

Блейки ушли. Некоторое время Леонард стоял один с бокалом. Какая-то часть его натуры — очень дурная часть, подумал он, — хотела бы выяснить, есть ли что-нибудь между Марией и Глассом. Они не перемолвились ни словом. Вскоре Гласс тоже покинул компанию. Лофтинг выпил несколько бокалов и заметно продвинулся в общении с Шарлоттой. Дженни сидела у Рассела на коленях. Они вчетвером решили отправиться в ресторан, а потом в танцзал. Они настойчиво предлагали Марии и Леонарду пойти с ними. Убедившись, что уговоры ни к чему не приведут, они отбыли после серии поцелуев, объятий и прощальных восклицаний, отдающихся эхом на лестнице.

По всей гостиной стояли пустые бокалы, в воздухе плавал сигаретный дым. Квартира казалась тихой и уютной.

Мария обняла Леонарда за шею своими голыми руками.

— Ты произнес чудесную речь. Я и не знала, что у тебя талант. — Они поцеловались.

— Пройдет еще много времени, прежде чем ты узнаешь обо всех моих талантах, — сказал Леонард. Он выступил перед аудиторией из восьми человек. Это изменило его, теперь он чувствовал, что способен на все.

Они надели пальто и вышли. Они собирались поужинать в Кройцберге и провести ночь на Адальбертштрассе, чтобы охватить праздником оба дома. Мария заранее приготовила у себя чистую постель, расставила новые свечи в бутылках и сухие духи в бульонных чашках.

Они отправились в закусочную на Ораниенштрассе, ставшую уже привычной, и заказали на ужин *Rippenchen mit Erbsenpüdrée* — свиные ребрышки с гороховым пудингом. Владелец знал об их помолвке и принес им по бокалу шампанского за счет заведения. Они словно уже

очутились в спальне, почти в кровати. Они сидели в укромной нише за столом из темного мореного дерева, со столешницей двухдюймовой толщины, на скамьях с высокими спинками, отполированных задами и спинами посетителей. Скатерть была из толстой парчи и тяжело спадала на колени. Поверх ее официант постелил другую — крахмальную, полотняную. Зал был тускло освещен красным стеклянным фонарем, свисавшим с низкого потолка на массивной цепи. Их окутывал теплый, влажный воздух, насыщенный ароматами бразильских сигар, крепкого кофе и жареного мяса. Полдюжину пожилых людей, усевшись за Stammtisch, столик для завсегдатаев, пили пиво и Korn^[31], за столиком поближе играли в скат. Один из стариков, бредущий мимо неверной походкой, на мгновение остановился около их ниши. Он театрально взглянул на часы и воскликнул: «Auf zur Ollen!»

Когда он ушел, Мария объяснила, что означает это берлинское выражение.

— Пора к старухе. Может быть, это ты через пятьдесят лет?

Он поднял бокал.

— За мою старушку.

Приближался и другой праздник, о котором он не имел права ей рассказывать. Через три недели туннелю должен был исполниться год, считая, по общему уговору, со дня первого подключения к русским кабелям. Все также сошлись на том, что эту дату нужно отметить — скромно, не нарушая секретности, но так, чтобы она запомнилась. Был создан специальный комитет. Гласс назначил себя председателем. Кроме него туда входили сержант-американец, офицер из немецких войск связи и Леонард. Вкладу отдельных членов комитета следовало отражать особенности их национальных культур. Леонарду показалось, что Гласс не совсем честно распределил роли, но он смолчал. Американцы взяли на себя заботу о еде, немцы — о выпивке, а британская сторона должна была подготовить выступление, какой-нибудь эффектный номер.

Леонарду выделили тридцать фунтов, и в поисках представления, которое сделало бы честь его стране, он изучил доски для объявлений в клубах Ассоциации молодых христиан, «Наафи» и «Ток-Эйч»^[32]. Там фигурировали жена некоего капрала из артиллерии, умеющая гадать по чайным листьям, поющая собака из Американского клуба

собаководства — не напрокат, а для продажи — и неполный ансамбль народного танца, состоящий при футбольном клубе британских ВВС. Предлагались также Универсальная Тетушка для встречи детей и престарелых в аэропортах и на вокзалах и «фокусник суперкласса» для малышей до пяти лет.

Только утром в день помолвки Леонард по совету знакомого переговорил с сержантом из Шотландского полка, который, в обмен на тридцать фунтов в фонд офицерской столовой, обещал предоставить волынщика в традиционном наряде — клетчатая юбка, плюмаж, меховая сумка и так далее. Это, а также его короткая речь, и удачная шутка, и шампанское, и недавно выпитый джин, и новый язык, который он уже почти освоил, и Gaststatte^[33], где было так уютно, и, главное, его красавица невеста, чокающаяся с ним бокалом, — все вместе подсказывало Леонарду, что он никогда не знал себя по-настоящему, что у него гораздо более тонкая и богатая душевная организация, чем он воображал раньше.

Ради торжественного случая Мария сделала завивку. Локоны, уложенные в художественном беспорядке, обрамляли ее пошекспировски высокий лоб, а чуть ниже макушки белела новая заколка — детский штрих, от которого она не хотела избавляться. Она смотрела на него со спокойным удовлетворением — именно такой взгляд, одновременно самодовольный и рассеянный, вынуждал его в их первые дни отвлекать себя мысленными расчетами и схемами. На руке у нее было серебряное кольцо, которое продал им уличный торговец на Ку-дамм. Сама его дешевизна была свидетельством их свободы. Молодые пары у витрин ювелирных магазинов разглядывали обручальные кольца стоимостью в три месячные зарплаты. После долгого торга — его вела Мария, а Леонард от смущения отошел на несколько шагов — они купили свое меньше чем за пять марок.

Ужин был последним, что отделяло их от квартиры Марии, от подготовленной спальни и вершины празднества. Им хотелось говорить о сексе, и они заговорили о Расселе. Леонард выбрал тон ответственного предостережения. Это не совсем подходило к его нынешнему настроению, но сила привычки взяла свое. Он считал, что Мария должна предупредить Дженни. Рассел был ходок, шустрый малый, как сказал бы Гласс, — однажды он хвастался, что за четыре года в Берлине довел свой список до ста пятидесяти девиц.

— Во-первых, у него наверняка *der Tripper* — сказал Леонард, воспользовавшись немецким словом, которое узнал недавно из афишки в общественном туалете, — а во-вторых, он не будет относиться к Дженни серьезно. Ей следует это понимать.

Мария прикрыла рот ладонью: Леонардов «Tripper» вызвал у нее смешок.

— *Sei nicht doof!*^[34] *Schüchtemheit* — как это по-английски?

— Ханжество, по-моему, — нехотя ответил Леонард.

— Дженни сама о себе позаботится. Знаешь, что она сказала, когда Рассел вошел в комнату? Она сказала: «Такой мне и нужен. Зарплату дадут только в конце следующей недели, а мне хочется в ресторан. А потом на танцы. И еще, — сказала она, — у него замечательный подбородок. Прямо как у супермена». Тут она за него берется, а он думает, что сразил ее.

Леонард положил нож и вилку и заломил руки в шутливом отчаянии.

— Боже мой! Почему я такой глупый?

— Не глупый. Невинный. Стоит тебе свести знакомство с девушкой, и ты сразу делаешь ей предложение. Чудесно! Это женщинам нужно искать нетронутых, а не мужчинам. Мы хотим, чтобы вы доставались нам свеженькими...

Леонард отодвинул тарелку. Невозможно было есть, когда тебя соблазняют.

— Свеженьких легче научить тому, что нам требуется.

— Нам? — спросил Леонард. — Ты имеешь в виду, что ты не одна?

— Нет, я одна. Больше тебе ни о ком думать не надо.

— Ты нужна мне, — сказал Леонард.

Он поманил официанта. Это не было вежливым преувеличением. Он чувствовал, что, если не ляжет с ней в ближайшее время, ему может стать дурно: на его желудок с гороховым пудингом внутри словно давило сверху что-то холодное и тяжелое.

Мария подняла бокал. Он никогда не видел ее такой прекрасной.

— За невинность.

— За невинность. И за англо-немецкое сотрудничество.

— Ужасный был тост, — заметила Мария, хотя по ее виду можно было решить, что она шутит. — Он что, считает меня Третьим рейхом?

Ничего себе невеста! Он правда думает, что люди представляют страны? Даже наш майор и тот говорил лучше на рождественском обеде.

Но когда они расплатились, надели пальто и пошли к Адальбертштрассе, она заговорила на ту же тему серьезнее:

— Я ему не доверяю. Он не понравился мне, еще когда допрашивал. Он рассуждает слишком просто и слишком занят делом. Такие люди опасны. По его мнению, ты должен или любить Америку, или шпионить для русских. Как раз такие и рвутся начать новую войну.

Леонарду приятно было услышать от Марии, что Гласс ей не понравился, и не хотелось затевать спор. Тем не менее он сказал:

— Он очень себя уважает, но вообще-то не так уж плох. Он был мне хорошим другом в этом городе.

Мария притянула его поближе к себе.

— Опять твоя невинность. Тебе нравятся все, кто был с тобой любезен. Если бы Гитлер угостил тебя пивом, ты считал бы его славным парнем!

— А ты бы влюбилась в него, если б он оказался девственником.

Их смех звучал громко на пустынной улице. Когда они поднимались по лестнице к восемьдесят четвертой квартире, деревянные стены размножали их веселье эхом. На пятом этаже кто-то приоткрыл дверь, потом захлопнул снова. Остаток пути они проделали, шикая друг на друга и хихикая, что производило почти столько же шума.

Чтобы приятнее было возвращаться, Мария не стала тушить в квартире свет. Электрокамин в спальне тоже работал. Пока она была в ванной, Леонард откупорил приготовленное заранее вино. В воздухе чувствовался запах, который он не мог толком определить. Пахло, кажется, луком и чем-то еще. В этом была какая-то неуловимая ассоциация. Он разлил вино в стаканы и включил приемник. Он уже созрел для очередной порции «Heartbreak Hotel», но ему попадались только классическая музыка или джаз — ни того ни другого он не переносил.

Когда Мария вышла из ванной, он забыл сказать ей о запахе. Они взяли стаканы в спальню, закурили по сигарете и спокойно поговорили об удавшейся вечеринке. Дым и аромат сухих духов перебили странный запах, хотя сначала он был замечен и в этой комнате. К ним

постепенно возвращалась взаимная тяга, которую они испытывали за ужином, и, не прекращая беседы, они стали раздеваться с ласками и поцелуями. Накопленное возбуждение и непринужденность, родившаяся благодаря привычке, делали все очень простым. Когда они разделись окончательно, голоса их упали до шепота. Вечерние шумы за окном стихали — город готовился отойти ко сну. Они забрались под одеяло — теперь, с наступлением весны, можно было не наваливать на себя теплые вещи. Минут пять они нежились, оттягивая удовольствие долгим объятием. «Помолвлена, — прошептала Мария, — Verlobt, verlobt». Само это слово было своего рода стимулом, приглашением. Они неторопливо начали. Она лежала под ним. Его правая щека была прижата к ее. Он видел подушку и ее ухо, она видела поверх его плеча, как играют и напрягаются мелкие мышцы у него на спине, а дальше, за огоньком свечи, темнеет комната. Он закрыл глаза, и перед ним возникла широкая водная гладь. Это могло быть Ваннзее в летнюю пору. С каждым толчком он опускался по пологой кривой вниз, все дальше и глубже, пока поверхность не превратилась в жидкое серебро высоко у него над головой. Когда она пошевелилась и прошептала что-то, слова пролились точно капельки ртути, но упали как перья. Он ответил невнятным звуком. Она повторила это снова, ему в ухо, и тогда он открыл глаза, хотя опять не расслышал. Он приподнялся на локте.

Неопытность или невинность заставила его подумать, что участвовавший стук ее сердца под его рукой и широко раскрытые глаза, бисеринки пота на ее верхней губе, усилие, с которым она шевельнула языком, повторяя свои слова, — что все это только благодаря ему? Он уронил голову ниже. То, что она говорила, было облечено в едва уловимый шепот. Ее губы касались уха Леонарда, свистящие щекотали его. Он помотал головой. Услышал, как ее язык отлепился перед новой попыткой. Наконец он разобрал эту фразу: «В шкафу кто-то есть».

Теперь его сердце пустилось вдогонку за сердцем Марии. Их грудные клетки соприкасались, и они чувствовали, но не слышали это хаотическое биение, точно стук лошадиных копыт. Пытаясь отключиться от этой помехи, он напрягал слух. Вот проехал автомобиль, заурчало что-то в канализации, но кроме этого — ничего, только тишина и неотделимый от нее мрак, и шершавая тишина, которую он наспех старался прощупать. Он начал снова, перебирая частоты, ища в ее лице подсказку. Но оно уже все напряглось, ее

пальцы сжали его руку. Она по-прежнему слышала что-то и стремилась привлечь к этому его внимание, подталкивала его к той полосе тишины, к тому узкому сектору, где оно находилось. Он полностью сник внутри нее. Теперь они стали отдельными людьми. Там, где они прижимались друг к другу животами, было влажно. Пьяна она или сошла с ума? Любое было бы лучше. Он поднял голову, сосредоточился и наконец услышал, сразу поняв, что все время слышал это. Он искал чего-то иного — звуков, шороха. Но это был только воздух — вдохи и выдохи, чье-то приглушенное дыхание в замкнутом пространстве. Он стал на четвереньки и оглянулся. Гардероб стоял около двери, у выключателя. Он нашел на полу очки. Даже в них он не различал ничего, кроме большого темного пятна. Инстинкт говорил ему, что он не способен действовать, не может ни бросить вызов, ни сдаться, пока не прикроет наготу. Он нащупал трусы и надел их. Мария уже сидела. Она зажала ладонями нос и рот.

Леонарду пришло на ум — возможно, тут сыграла роль привычка, выработавшаяся за все это время на складе, — что они должны вести себя так, будто не подозревают о чужом присутствии. Заговорить как ни в чем не бывало казалось невыносимым. Поэтому Леонард встал на ноги в одних трусах и замурлыкал непослушным голосом любимую песенку, лихорадочно соображая, что же им делать дальше.

Мария потянулась за юбкой и блузкой. Огонек свечи колыхнулся, но она не погасла. Леонард взял со стула брюки. Теперь он стал напевать быстрее, перейдя на жизнерадостный ритмический мотивчик. Сейчас он думал только о том, как бы поскорее одеться. Надев брюки, он почувствовал, как темнота покалывает голую грудь. Когда была надета рубашка, уязвимыми показались босые ноги. Он нашарил туфли, но решил обойтись без носков. Завязывая шнурки, он умолк. Они стояли по обе стороны постели — влюбленные после обручения. До этого шорох одежды и мурлыканье Леонарда заглушали чужое дыхание. Теперь оно появилось снова. Оно было слабым, но глубоким и ровным. Леонарду чудилась в нем пугающая неумолимая решимость. Мария заслонила собой свечу, и на дверь с гардеробом легла гигантская тень. Она взглянула на него. Ее взгляд посылал его к двери.

Он сразу послушался, стараясь тихо ступать по голому полу. Ему хватило четырех шагов. Выключатель был совсем рядом со шкафом. Невозможно было не замечать, не ощущать затылком и всей кожей этого силового поля человеческого присутствия. Казалось, они вот-вот выдадут себя и станет ясно, что они знают. Включая свет, он скользнул по гладкой полировке костяшками пальцев. Мария была сзади, ее ладонь опустилась на его поясницу. Вспыхнула лампочка, явно мощнее шестидесяти ватт. Он сощурился, ослепленный. Руки его были подняты в ожидании. Сейчас дверцы гардероба распахнутся. Сейчас.

Но ничего не случилось. Шкаф был двустворчатый. За одной дверцей, плотно закрытой, находились ящики. Другая — за ней было отделение с вешалками, где стоя мог поместиться человек, — оказалась чуть приоткрытой. Кто-то открыл защелку. Это было большое латунное кольцо, при повороте которого выдвигался покосившийся язычок. Леонард протянул к нему руку. Они по-прежнему слышали дыхание. Ошибки быть не могло. Им не придется посмеяться над собой через две минуты. Там был человек, и он дышал. Леонард взял кольцо большим и указательным пальцами и поднял его без единого звука. Не выпуская кольца, чуть отодвинулся назад. Что бы ни случилось, ему нужно пространство. Чем больше расстояние, тем больше у него будет времени. Эти геометрические соображения

возникали в уме маленькими, плотно спрессованными пакетами. Времени для чего? Этот вопрос тоже был словно увесистый камешек. Он сжал кольцо сильнее и рывком распахнул дверь.

Там ничего не было. Только чернота диагоналевого костюма и волна запаха, исторгнутая движением дверцы, запах перегара и маринованного лука. Потом лицо, почти у пола: человек сидел, подтянув к себе колени, и спал. Пьяным сном. От него пахло пивом и водкой и то ли луком, то ли *Sauerkraut*^[35]. Рот его был открыт. Вдоль нижней губы тянулся беловатый налет, рассеченный в центре, под прямым углом, большой черной ссадиной с запекшейся кровью. Лихорадка или след от удара другого пьяницы. Они отступили назад, чтобы не так шибало в нос сладковатой вонью.

— Как он сюда попал? — прошептала Мария. Потом ответила себе сама: — Наверное, взял запасной ключ. Когда был здесь в последний раз.

Они смотрели в шкаф. Страх понемногу отступал. Вместо него рождалось отвращение и чувство, что их оскорбили, осквернили их домашний очаг. В этой замене было мало хорошего. Не так Леонард ожидал встретить врага. Теперь он мог оценить его. Голова у Отто была маленькая, волосы, поредевшие на макушке, песочного или грязно-табачного цвета, с зеленоватым оттенком у корней — такую масть Леонард часто замечал у берлинцев. Нос был крупный и вялый. На его крыльях, под тугой лоснящейся кожей, краснели лопнувшие сосуды. Только руки производили впечатление силы — почти багровые, костистые, с выпирающими суставами. Маленькая голова, узкие плечи. Конечно, он сидел скорчившись, но Леонард все яснее начинал видеть в нем карлика, забияку и карлика. Угроза, которая от него исходила, то, как он избил Марию, — все это преувеличило его значение. Раньше Отто представлялся ему матерым солдатом, ветераном войны, с которым трудно было схватиться хотя бы из-за разницы в возрасте.

Мария толчком закрыла дверцу. Они потушили свет в спальне и вышли в гостиную. Они были слишком возбуждены, чтобы садиться. В голосе Марии зазвенела горечь, какой Леонард еще никогда не слышал.

— Он сидит на моих платях. Он изгадит их.

Это не приходило Леонарду на ум, но теперь, после ее слов, показалось едва ли не самой важной проблемой. Как предотвратить это новое оскорбление? Вытащить его, отнести в туалет?

— Как нам от него избавиться? — сказал Леонард — Можно вызвать полицию, — В его мозгу промелькнула отчетливая картина: двое полицейских вытаскивают Отто из квартиры, а их вечер идет своим чередом после успокаивающей порции джина и нескольких веселых шуточек.

Но Мария покачала головой.

— Они его знают, даже угощают пивом. Они не придут, — Она говорила рассеянно. Пробормотала что-то по-немецки и отвернулась, потом передумала и повернулась снова. Хотела заговорить, но смолчала.

Леонард еще не расстался с надеждой спасти вечер. Надо было всего-навсего избавиться от пьяного.

— Я могу стащить его вниз по лестнице, выкинуть на улицу. Он наверняка даже не проснется...

Рассеянность Марии постепенно переходила в гнев.

— Что он делает в моей спальне, в нашей спальне? — сердито спросила она, точно это Леонард привел его туда. — Почему ты об этом не думаешь? Зачем он спрятался в шкаф? Ну-ка, скажи, как потвоему?

— Не знаю, — сказал он, — Мне сейчас все равно. Я хочу только убрать его...

— Тебе все равно! Ты не хочешь об этом думать, — Она внезапно села на один из кухонных стульев — тот, что стоял около груды обуви, наваленной у сапожной колодки. Схватив оттуда пару туфель, она надела их.

Леонард понял, что между ними вот-вот вспыхнет ссора. И это в день помолвки. Он ни в чем не виноват, а они ссорятся. По крайней мере она.

— Зато мне не все равно. Я была замужем за этим скотом. Мне не все равно, когда я ложусь с тобой в постель, а эта скотина, этот кусок дерьма прячется в шкаф. Я его знаю. Понятно тебе?

— Мария...

Теперь она повысила голос:

— Я его знаю, — Она пыталась зажечь сигарету, но у нее ничего не выходило.

Леонарду тоже хотелось курить. Он попробовал успокоить ее:

— Перестань, Мария...

Она наконец раскурила сигарету и затянулась. Это не помогло ей, она по-прежнему едва удерживалась от крика.

— Не говори со мной в таком тоне. Я не хочу, чтобы меня утешали. И почему ты так спокоен? Почему ты не злишься? За тобой подглядывают в твоей собственной спальне. Тебе бы мебель крушить. А ты что делаешь? Чешешь в затылке и говоришь, что не худо бы вызвать полицию!

Ему казалось, что все ее упреки справедливы. Он не знал, как полагается реагировать, даже не думал об этом. Он был слишком неопытен. Она старше, она побывала замужем. Значит, вот как надо вести себя, если обнаружишь кого-то в спальне. И все же ее слова раздражали его. Она обвиняла его в том, что он не мужчина. Он взял сигареты. Достал одну. Она по-прежнему нападала на него. Половина ее речи была немецкой. Она сжимала зажигалку в руке и вряд ли заметила, что он отнял ее.

— Это ты должен кричать на меня, — сказала она. — Он мой муж, ведь так? Тебе что, ни капельки не обидно?

Это переполнило чашу. Он набрал в грудь сигаретного дыма и исторг его обратно вместе с криком:

— Замолчи! Заткнись, черт возьми, хоть на минуту!

Она мгновенно умолкла. Они оба умолкли. Они курили. Мария сидела на стуле. Он отошел от нее подальше, насколько позволяли размеры крохотной комнатки. Скоро она взглянула на него и примирительно улыбнулась. Он сделал вид, что не замечает этого. Раз она хотела, чтобы он на нее рассердился, пусть теперь немного потерпит.

Она принялась старательно тушить сигарету и заговорила, не поднимая на него взгляда:

— Я скажу тебе, почему Отто там. Скажу, чего он хочет. Хорошо бы мне этого не знать, это очень противно. И все же... — Ее голос звучал увереннее. У нее имелась своя теория, — Когда с ним только познакомишься, Отто добрый. Так было до того, как он запил, семь лет назад. Сначала он добрый. Делает все, чтобы тебе угодить. Так было,

когда я за него вышла. А потом замечаешь, что его мягкость — это стремление взять верх. Он видит в тебе свою собственность, ему все время кажется, что ты заглядываешься на других мужчин, а они на тебя. Он стал ревновать, бить меня, сочинять всякие дурацкие истории обо мне и других мужчинах, его знакомых или просто людях с улицы, неважно. Он вечно подозревал меня в чем-то. Считал, что я переспала с половиной Берлина, а остальные ждут своей очереди. И пил еще больше. А теперь, через столько лет, я вижу вот это.

Она привсталала, чтобы взять новую сигарету, но ее передернуло, и она села обратно.

— Я и другой мужчина — он *хочет* этого. Злится, но хочет. Ему хочется увидеть меня с другим, хочется или самому говорить об этом, или чтобы я говорила. Это его возбуждает.

— Значит... значит, он извращенец, — сказал Леонард. Он впервые произнес это слово. И был доволен собой.

— Правильно. Он узнаёт про тебя — тут он меня и ударил. Потом уходит и думает об этом, не может не думать. Все его бредовые фантазии стали явью, теперь это реальность. Он думает и пьет, и все это время у него где-то лежит ключ. А сегодня он напивается больше обычного, приходит сюда и ждет...

Мария была готова заплакать. Леонард пересек комнату и положил руку ей на плечо.

— Он ждет, но нас нет, и он засыпает. Может быть, он хотел выскочить, когда... это будет, и обвинить меня в чем-нибудь. Он все еще считает, что я принадлежу ему, что я должна чувствовать себя виноватой...

Слезы мешали ей говорить. Она полезла в карман за платком. Леонард достал свой, большой, белый, и дал ей. Высморкавшись, она глубоко вздохнула.

Леонард открыл было рот, но она его перебила:

— Я его насквозь вижу, эту подлую дрянью.

Тогда он сказал то, что собирался сказать:

— Я пойду посмотрю.

Он вошел в спальню и включил свет. Чтобы открыть гардероб, ему пришлось закрыть за собой дверь в комнату. Отто был на прежнем месте. Его поза не изменилась. Мария окликнула Леонарда из гостиной. Он приоткрыл дверь в спальню на дюйм-другой.

— Все в порядке, — сказал он. — Я просто смотрю.

Он снова перевел взгляд на Отто. Что ни говори, а Мария выбрала этого человека себе в мужа. Вот к чему все сводилось. Пусть она теперь утверждает, что ненавидит его, но она его выбрала. А потом выбрала Леонарда. Проявление тех же вкусов. И он, и Отто — оба показались ей привлекательными, и это их объединяло, что-то общее в характере, внешности, судьбе, неважно что. Теперь он действительно разозлился. Своим выбором она связала его с этим человеком, от которого сейчас хочет отделаться. Она заявляет, что это была чистая случайность, словно она тут ни при чем. Но этот поддон у них в спальне, в гардеробе — спит пьяный, того и гляди испакостит одежду, и все из-за выбора, который она сделала. Да, теперь он был по-настоящему зол. Отто — ее крест, ее ошибка, он принадлежит ей. А у нее хватило наглости ругать его, Леонарда.

Он потушил свет в спальне и снова вышел в гостиную. Ему хотелось уйти. Мария курила. Она неуверенно улыбнулась.

— Извини, что я на тебя накричала.

Он взял сигареты. В пачке осталось только три. Когда он бросил ее обратно, она соскользнула на пол и упала рядом с обувью.

— Не сердись на меня, — сказала она.

— Ты же сама этого хотела.

Удивленная, она подняла глаза.

— Ты и впрямь злишься. Иди сядь. Скажи, в чем дело.

— Не хочу я садиться. — Ему уже нравилось разыгрывать оскорбленного. — Твоя семейная жизнь с Отто еще продолжается. Там, в спальне. Поэтому я злюсь. Либо мы обсудим, как от него избавиться, либо я возвращаюсь домой, а вы можете жить дальше.

— Жить дальше? — Ее акцент придавал знакомым словам странное звучание. Вложить в них угрозу не получилось, — О чем ты говоришь?

Ее реакция, в которой было больше ответного гнева, чем покорности, вызвала у него раздражение. Ведь он же терпеливо перенес ее вспышку.

— Я говорю, что, если ты не хочешь помочь мне от него избавиться, можешь провести остаток вечера с ним. Поболтать о старых временах, допить вино, на здоровье. А я пас.

Она положила ладонь на свой прекрасный высокий лоб и обратилась в другой конец комнаты к воображаемому свидетелю.

— Ушам своим не верю. Он ревнует. — Потом к Леонарду: — И ты тоже? Как Отто? Хочешь уйти домой и оставить меня с этим человеком? Хочешь сидеть дома и представлять Отто со мной, а может, ты даже ляжешь на кровать и станешь думать о нас...

Это привело его в ужас. Он был искренне возмущен, не понимал, как женщина может говорить такое.

— Ты просто бредишь. Только что я предлагал вытащить его на улицу и бросить там. Но тебе больше нравится сидеть тут, сообщать мне трогательные подробности о его характере и рыдать в платочек.

Она скомкала платок и швырнула ему под ноги.

— Забери. От него воняет!

Он не стал поднимать его. Они оба заговорили разом, но она взяла верх.

— Хочешь выкинуть его на улицу, так почему бы не сделать это? Давай выкинь! Чего же ты ждешь? Почему стоишь тут и спрашиваешь меня, как быть? Хочешь выкинуть его — ты мужчина, давай выкидывай!

Опять апелляция к его мужскому достоинству. Он шагнул к ней и схватил спереди за блузку. Отлетела пуговица. Он нагнулся к Марии почти вплотную и крикнул:

— Потому что он твой! Ты его выбрала, он был твоим мужем, у него есть ключ, вот ты и разбирайся с ним, — Его свободная рука сжалась в кулак. Мария была напугана. Она уронила сигарету на колени. Сигарета тлела, но он не обратил на это внимания, ему было плевать. Он закричал снова: — Ты хочешь сидеть спокойно, пока я расхлебываю кашу, которую ты заварила...

Она тоже крикнула, прямо ему в лицо:

— Ты прав! всю жизнь мужчины ругали меня, били меня, пытались изнасиловать. А теперь я хочу, чтобы обо мне заботились. Я думала, ты такой человек. Думала, ты на это способен. Но нет, тебе больше нравится ревновать, ругать меня, бить и насиловать, как он и все остальные...

Именно в эту секунду юбка Марии вспыхнула.

Там, где тлела сигарета, возник один язычок пламени, от которого по складкам белой материи мгновенно разбежались такие же. Эти

язычки множились и распространялись, пока Мария набирала в грудь воздуха, чтобы издать первый визг. Они были синежелтые и очень подвижные. Она вскочила на ноги, хлопая себя по одежде. Леонард схватил бутылку и недопитый стакан с вином. Он выплеснул стакан на нее, но это не дало никакого результата. Когда она, уже стоя, испустила второй долгий визг, он попытался облить ее вином из бутылки. Но оно вытекало слишком медленно. Был момент, когда ее юбка стала похожа на облачение испанской танцовщицы, вся красно-оранжевая с синими лентами, и под легкий треск пламени Мария металась, била себя, вертелась, точно хотела подняться в воздух и выскользнуть из нее. Это была лишь доля секунды, после чего Леонард схватил юбку за пояс обеими руками и дернул. Она сорвалась вся разом и вспыхнула еще ярче на полу. Он стал топтать ее — хорошо, что в ботинках, — и только когда пламя уступило место густому дыму, смог повернуться и посмотреть на Марию.

Он увидел на ее лице облегчение — остатки испуга и облегчение, но не боль. У ее наряда была подкладка, вшитая нижняя юбка из шелка или другого натурального материала, который разгорался с трудом. Она-то и спасла ее. Теперь она лежала у ее ног, потемневшая, но целая.

Он не мог остановиться. Он топтал ее, пока пламя не исчезло совсем. Дым был густой, иссиня-черный. Нужно было открыть окно, а еще он хотел обнять Марию, которая стояла неподвижно, может быть, в шоке, обнаженная, если не считать блузки. Надо принести ей из ванной халат. Он сделает это сразу же, как только убедится, что огонь не перекинулся на ковер. Но когда он наконец решил, что цель достигнута, и отступил, самым естественным показалось сначала шагнуть к ней и обнять ее. Мария дрожала, но он знал, что она придет в себя. Она повторяла его имя, снова и снова. И он тоже сбивчиво бормотал: «Мария, о господи, Мария».

Наконец они отодвинулись друг от друга, всего на несколько дюймов, и встретились взглядами. Она перестала дрожать. Они поцеловались раз, потом еще раз, но тут ее взгляд ушел в сторону и глаза широко раскрылись. Он обернулся. В двери спальни, прислонясь к косяку, стоял Отто. Еще курящиеся остатки юбки лежали между ними. Мария спряталась за спину Леонарда. Она быстро сказала что-то по-немецки — Леонард не разобрал что. Отто мотнул головой, скорее чтобы прояснить мысли, чем в знак возражения. Потом он попросил

сигарету — знакомая фраза, которую Леонард начал понимать лишь недавно. Хотя в последнее время с немецким у него стало гораздо лучше, Леонард чувствовал, что ему будет трудно уследить за разговором этих бывших супругов.

— *'Raus*, — сказала Мария. Убирайся.

И Леонард добавил по-английски:

— Уходите, пока мы не вызвали полицию.

Отто переступил через юбку и подошел к столу. На нем был старый армейский китель британского производства. Там, где раньше была капральская нашивка, темнела галочка невыцветшей материи. Он разворошил пепельницу. Нашел самый большой окурок и запалил его от Леонардовой зажигалки. Поскольку Мария еще пряталась за Леонардом, он не мог сдвинуться с места. Отто затянулся, обогнул их и направился в сторону входной двери. Не верилось, что он просто уйдет из их вечера. И он не ушел. Добравшись до ванной, он скрылся внутри. Как только дверь за ним затворилась, Мария убежала в спальню. Леонард налил в кастрюлю воды и выплеснул ее на юбку. Когда она пропиталась вся, он отнес ее в мусорное ведро. Из ванной донеслись громкий хрип и рычание, непристойный рев, перемежающийся смачным, густым отхаркиванием и отплеиванием. Мария вернулась полностью одетая. Едва она хотела заговорить, как они слышали грохот.

— Он сломал твою полочку, — сказала она. — Наверное, упал на нее.

— Он это нарочно, — сказал Леонард, — Знает, что я ее повесил.

Мария покачала головой. Он не понимал, какой ей смысл его защищать.

— Он просто пьяный.

Дверь открылась, и Отто вновь возник перед ними. Мария отошла к своему стулу рядом с кучей обуви, но не села. Отто сполоснул лицо и кое-как вытерся. К его лбу прилипли мокрые волосы, на носу висела капля. Он смахнул ее тыльной стороной ладони. Может быть, она вытекла у него из носа. Он снова посмотрел на пепельницу, но Леонард преградил ему дорогу. Англичанин сложил руки на груди и как следует расставил ноги. Гибель полочки разозлила его, теперь он оценивал шансы. Отто был дюймов на шесть ниже его и фунтов на сорок легче. Он был или пьян, или с похмелья и в плохой физической

форме. Плечи узкие, тело маленькое. Но у Леонарда имелись свои минусы: он не мог обойтись без очков и не умел драться. Однако он был по-настоящему разъярен. В этом смысле у него было преимущество перед Отто.

— Уходите, — сказал Леонард, — или я вас вышвырну.

Мария за его спиной сказала:

— Он не понимает по-английски.

Потом она перевела слова Леонарда. На бледном лице Отто ничего не отразилось, он словно не понял угрозы. Из ссадины на его губе сочилась кровь. Он тронул ее языком и одновременно полез сначала в один, а затем в другой карман кителя. Вынув оттуда сложенный конверт, он поднял его вверх.

Он заговорил с Марией, мимо Леонарда. У этого тщедушного человечка оказался неожиданно низкий голос. «Я получил его. Получил что-то в конторе такой-то и такой-то» — это было все, что Леонард разобрал.

Мария ничего не ответила. В ее молчании был странный оттенок, напряженность, которая вызвала у Леонарда желание повернуть голову. Но он не хотел пропускать немца. Отто уже сделал шаг вперед. Он ухмылялся, и из-за какой-то мышечной асимметрии его тонкий нос скоился немного вбок.

Наконец Мария сказала:

— *Es ist mir egal, was es ist* — Мне все равно, что ты получил.

Ухмылка Отто стала шире. Он раскрыл конверт и вытащил оттуда единственный листок, уже сильно захватанный. «У них есть наше письмо от пятидесят первого года. Они отыскиали его. И наше что-то, с подписями обоих. Твоей и моей».

— Все это в прошлом, — сказала Мария, — Можешь забыть об этом, — Но ее голос дрогнул.

Отто засмеялся. Его язык был оранжевым от слизанной крови.

Не поворачиваясь, Леонард спросил:

— Мария, что происходит?

— Он считает, что у него есть право на эту квартиру. Мы подавали заявление, когда были еще женаты. Он уже два года старается.

Это вдруг показалось Леонарду решением проблемы. Пусть Отто живет здесь, а они вдвоем переберутся на Платаненаллее, где он

никогда не найдет их. Скоро они поженятся, им ни к чему две квартиры. И они больше никогда не увидят Отто. Чудесно.

Но Мария, будто прочтя его мысли или желая предупредить их, уже выплевывала слова:

— У него есть где жить, у него есть комната. Все это, только чтобы навредить мне. Он до сих пор думает, что я его собственность, в этом все дело.

Отто терпеливо слушал. Его взгляд был прикован к пепельнице, он ждал удобного момента.

— Это моя квартира, — говорила ему Мария, — Она моя! И кончен разговор. А теперь убирайся.

Они могли бы уложить вещи часа за три, думал Леонард. Все пожитки Марии можно увезти на двух такси. Еще до рассвета они окажутся в безопасности у него дома. И, несмотря на усталость, с триумфом завершат празднество.

Отто щелкнул по документу пальцем. «Прочти его. Посмотри сама». Он сделал еще полшага вперед. Леонард подвинулся к нему. Но может быть, Марии стоит прочесть эту бумагу?

— Ты не сказал им, что мы разведены, — ответила Мария, — Поэтому они думают, что у тебя есть право.

Отто был в восторге. «Но они знают. Знают. Нам надо явиться вместе туда-то и туда-то, там решат, кто больше нуждается». Он взглянул на Леонарда, потом снова мимо него на Марию. «У англичанина есть жилье, а у тебя кольцо. Там-то и там-то захотят разобраться в этом».

— Он переедет сюда, — сказала Мария, — И конец делу.

На этот раз Отто выдержал взгляд Леонарда. Немец уже не казался таким заморенным и пьяным, он точно стал сильнее, увереннее в себе. Он считал, что побеждает. Он заговорил с улыбкой.

— *Ne, ne. Die Platanenallee 26 wäre besser für euch*^[36].

Блейк был прав. Берлин — маленький город, здесь ничего не утаишь.

Мария что-то выкрикнула. Это явно было оскорбление, и оно подействовало. Улыбка исчезла с лица Отто. Он закричал в ответ. Леонард очутился под перекрестным огнем супружеской ссоры, на поле боя между старыми противниками. В залпах с обеих сторон он улавливал только глаголы, громоздящиеся на концах пулеметных фраз,

как отработанные ленты, и следы нецензурных выражений, знакомых ему, но употребляемых в каких-то новых, более неистовых формах. Они кричали одновременно. Мария была вне себя — разъяренная кошка, тигрица. Он и не догадывался, что в ней может быть столько страсти, и ему на мгновение стало стыдно, что сам он никогда не доводил ее до подобного состояния. Отто двигался вперед. Леонард протянул руку, чтобы остановить его. Немец почти не заметил помехи, а Леонарду не понравилось то, что он почувствовал. Грудь у Отто была твердая и тяжелая на ощупь, как мешок с песком. Его выкрики отдавались вибрацией в руке Леонарда. Документ Отто вынудил Марию занять оборону, но теперь ее слова одно за другим попадали в цель. Ты никогда не мог, у тебя не было, ты не способен... Темой были его слабости, возможно, пьянство, или секс, или деньги, и он дрожал, он кричал. Кровь из его губы текла сильнее. Его слюна окропляла Леонарду лицо. Он продолжал напирать. Леонард схватил его за руку около плеча. Она тоже была твердой, ее невозможно было удержать.

Потом Мария сказала что-то нестерпимо обидное, и Отто вырвался из рук Леонарда и налетел на нее, прямо на горло, оборвав ее речь, так что она не могла больше произнести ни звука. Его свободная рука была отведена в сторону и сжата в кулак. Леонард поймал ее обеими руками как раз в тот момент, когда она начала движение к лицу Марии. Хватка немца на горле Марии была крепкой, ее язык высунулся наружу, багрово-черный, вылезшие глаза были уже за пределами мольбы. Кулак еще увлекал Леонарда вперед, но он навалился на руку Отто, вывернул ее за его спину и вверх, после чего ей следовало хрустнуть в суставе. Отто пришлось повернуться направо, а когда Леонард схватился покрепче за его запястье и нажал еще выше по позвоночнику, Отто отпустил Марию и развернулся, чтобы освободиться и атаковать своего противника. Леонард выпустил его руку и отступил на шаг.

Теперь его ожидания стали явью. Это было то, чего он так боялся. Ему суждено получить серьезную травму, остаться искалеченным на всю жизнь. Будь дверь квартиры открыта, он, возможно, кинулся бы к ней. Отто был маленьким, сильным и расвирипел до безумия. Вся его ненависть и злоба обратились на англичанина, все, что должно было достаться Марии. Леонард поправил сползшие очки. Он не отважился снять их. Ему надо было видеть, что на него надвигается. Он выставил

вперед кулаки, как обычно делают боксеры. Руки Отто были опущены, как у ковбоя, готового выхватить оружие. Его глаза налились кровью. Он поступил очень просто: отвел назад правую ногу и ударил англичанина по голени. Леонард раскрылся. Отто сделал выпад, целясь в его адамово яблоко. Леонард сумел увернуться, и удар пришелся в ключицу. Это было больно, по-настоящему, до нестерпимости больно. Может быть, он сломал ему кость. Следующим будет позвоночник. Он поднял руки ладонями вперед. Он хотел сказать что-нибудь, хотел, чтобы вмешалась Мария. Поверх плеча Отто он видел ее у груды тифель. Они переедут на Платаненаллее. Все будет хорошо, стоит ей только поразмыслить спокойно. Отто ударил его снова — сильно, очень сильно, по уху. Ему показалось, что во всех углах комнаты разом прозвенели электрические звонки. Это было так подло, так... несправедливо. Едва Леонард успел подумать это, как они вошли в клинч. Теперь они сжимали друг друга в объятиях. Что ему делать — притянуть это маленькое отвратительное тело поближе к себе или оттолкнуть его с риском получить новый удар? Его преимущество в росте обернулось недостатком. Отто вбуравливался в него, и он вдруг понял зачем. Рука немца шарила у него между ног, она нащупала его яички и сомкнулась на них. Вот так же он вцепился Марии в горло. В глазах Леонарда вспыхнула красная охра, потом он услышал свой крик. Назвать это болью значило ничего не сказать. Все его сознание слилось в одном жутком, бешеном вихре. Он сделает что угодно, отдаст все, лишь бы освободиться — или умереть. Он скрючился, и его голова оказалась вровень с головой Отто, его щека скользнула по колючей щеке немца, и он повернулся, открыл рот и изо всей силы укусил Отто в лицо. Это не было приемом. В агонии он сжимал челюсти, пока его зубы не встретились и рот не наполнился. Раздался рев, который не мог быть его собственным. Боль ослабла. Отто выдирался прочь. Он отпустил его и выплюнул что-то, по консистенции похожее на непрожеванный кусок апельсина. Вкуса он не чувствовал. Отто выл. Сквозь его щеку был виден желтый коренной зуб. И кровь — кто бы подумал, что в лице может быть столько крови? Отто наступал снова. Леонард понимал, что теперь ему уже не спастись. Отто наступал, по его лицу лилась кровь, и было еще что-то черное, оно надвигалось сзади и сверху, на самом краю его поля зрения. Чтобы защититься и от этого, Леонард поднял правую руку, и

время затормозилось, когда его пальцы сомкнулись на чем-то холодном. Он не мог помешать его движению, он мог только взяться за него и вложить свою лепту, помочь ему двигаться вниз, и оно пошло вниз, несокрушимая мощь в форме железной ступни, рухнуло вниз как правосудие, с его рукой на нем и рукой Марии, всей тяжестью правого суда, железная нога обрушилась на череп Отто большим пальцем вперед и проломила его, и ушла вглубь, свалив его на пол. Он упал без единого звука, лицом вниз, и больше не шевелился.

Сапожная колодка торчала у него из головы, и весь город хранил тишину.

После помолвки влюбленные, не ложась, проговорили всю ночь.

Так он пытался изобразить дело через два часа после рассвета, когда стоял в очереди, дожидаясь автобуса в Рудов. Ему нужно было отыскать в событиях какую-нибудь последовательность, разумную связь. Одно должно следовать за другим. Он влез в автобус и нашел свободное место. Его губы двигались, беззвучно складывая слова.

Он нашел место и сел. После ночной драки он чистил зубы десять минут подряд. Потом они накрыли тело одеялом. А может быть, сначала спрятали тело под одеялом, а потом он пошел в ванную и чистил зубы десять минут подряд. Или все двадцать. Его щетка валялась на полу, среди осколков, под сорванной полочкой. Паста упала в раковину. Пьяный сломал полочку, и паста упала в раковину. Паста знала, что она понадобится, щетка — нет. Паста была умнее, она лучше соображала...

Они так и не смогли, не осмелились вынуть колодку. Она торчала под одеялом. Мария засмеялась. Она была еще там. Они накрыли колодку, но она была еще там. Живые идут на работу, а те, кто с колодкой, лежат под одеялом. Пока они ехали по Хазенхайде, автобус понемногу наполнялся. Остались только стоячие места. Потом водитель стал объявлять, что мест вообще нет. Это почему-то утешало, приятно было слышать, что больше никто не войдет. Значит, пока им ничто не грозит. По дороге на юг, против основного потока людей в этот час, автобус начал пустеть. Когда они добрались до Рудова, в салоне остался один Леонард, на самом виду среди голых сидений.

Он пошел давно знакомым путем. Кругом строили больше, чем ему помнилось. Он не ходил тут со вчерашнего дня. Вчера утром он еще не был помолвлен. Они взяли с кровати одеяло и накрыли его. Не из уважения — при чем тут вообще уважение. Просто им надо было избавиться себя от этого зрелища. Иначе они не могли бы думать. Он хотел вынуть колодку. Может, из уважения. Или чтобы скрыть то, что они сделали. Он стал на колени и взялся за нее. Она подалась под его рукой, как палка в густой грязи. Вот почему он не смог ее вынуть. А что потом — вытирать ее, мыть в ванной под краном?

Они хотели спрятать все, и получилось глупо: изношенный ботинок с одного конца, с другого торчит что-то странное, натягивая одеяло, забирая на себя то, что должно было достаться ботинку. Мария начала смеяться, зашла в истерическом смехе, полном ужаса. Он не мог присоединиться к ней. Она не искала его взгляда, как обычно делают смеющиеся. Она была одна. И перестать она тоже не пыталась. Попробуй она перестать, смех перешел бы в плач. Он мог бы присоединиться, но не рискнул. Тогда все вышло бы из-под контроля. В кино, когда женщины смеялись таким смехом, полагалось дать им сильную пощечину. Тогда они затихали, осознавая правду, затем начинали плакать, а вы утешали их. Но он слишком устал. Это могло вызвать жалобы, или ругань в его адрес, или даже ответный удар. Все могло случиться.

Уже случилось. До или после одеяла он чистил зубы. Одной щетки было мало, она оказалась неэффективной. Он попросил Марию принести зубочистки. Только тогда ему удалось выковырять то, что застряло между резцом и клыком. Его не стошнило. Он думал о Тотнеме и воскресном обеде, как они с отцом орудуют зубочистками, пока не подали пудинг. Мать никогда ими не пользовалась. Женщины как-то умеют обходиться. Он не проглотил тот кусочек, не пополнил списка своих преступлений. Хотя и маленький, но плюс. Он смыл его под краном — что-то бледно-розовое и крохотное, почти незаметное, а потом сплюнул, один раз, другой, и прополоскал рот.

Потом они выпили. Или он уже выпил перед тем, как попробовать вынуть колодку. Вино кончилось, все хорошее мозельское ушло на юбку. Остался только джин из «Наафи». Ни льда, ни лимона, ни тоника. Он нашел его в спальне. Она вешала одежду обратно. Незгаженную, еще один плюс.

Она сказала, *где мой?* И он отдал ей стакан, а сам пошел за другим. Он стоял у стола, наливая джин, пытаясь не смотреть, но посмотрел. Оно сдвинулось. Теперь были видны два ботинка и черный носок. Они не переворачивали его, не проверяли, действительно ли он умер. Леонард поглядел на одеяло, стараясь уловить признаки дыхания. Кажется, оно шевельнулось. Была ли то дрожь, правда ли оно едва заметно поднялось и опустилось? А если так, хорошо это или плохо? Тогда им придется вызвать «скорую помощь», и они не успеют все обсудить, решить, что надо рассказывать. Или надо попробовать

убить его снова. Он следил за одеялом, и ему чудилось, что оно шевелится.

Он взял свой стакан в спальню и сказал ей. Она не хотела выходить и смотреть. Она ему не верила. Она уже все решила. Он мертв. Вся одежда висела как положено, Мария закрыла гардероб. Она вышла в дверь за сигаретами, но он знал, что она идет посмотреть. Вернувшись, она сказала, что не нашла их. Они сели на постель и выпили джина.

Сев, он почувствовал боль в яичках. Болело и ухо, и ключица. Кто-нибудь должен его осмотреть. Но им надо поговорить, а для этого надо подумать. А чтобы сделать это, надо выпить и посидеть, но это больно, и ухо болит. Ему нужно было вырваться из этих слишком быстрых, слишком плотных кругов. И он выпил джин. Он смотрел, как она смотрит в пол перед собой. Она была прекрасна, он знал это, но не чувствовал. Ее красота не действовала на него так, как ему хотелось. Он хотел ощутить нежность к ней, и чтобы она вспомнила, как она относится к нему. Тогда они смогут бороться вместе и решат, что им сказать полиции. Но, глядя на нее, он не чувствовал ничего. Он тронул ее за руку, но она не подняла глаз.

Они должны сговориться, иначе им не поверят. Полицейские увидят ее красоту, возможно, даже почувствуют. Он сам всего лишь помнил о ней. А если они ее почувствуют, тогда они смогут понять, и это будет спасением. *Это была самозащита*, скажет она, и все обойдется.

Он убрал свою руку с ее и спросил: *что мы скажем полиции?*

Она не ответила, даже не подняла глаз. Может быть, он и не спрашивал. Он хотел, но не услышал своих слов. Или не помнил, что слышал.

Он шел мимо лачуг беженцев. Идти было больно. Его ключица болела, только когда он поднимал руку, ухо — когда он до него дотрагивался, но яички болели, когда он садился или при ходьбе. Надо отойти от лачуг подальше, тогда он остановится передохнуть. Он увидел мальчугана с рыжими волосами — у макушки они были морковного цвета. Короткие штаны, расцарапанные коленки. Похоже, задиристый мальчишка. В Англии таких полно. Леонард часто видел его по пути на работу или обратно. Но они ни разу не перемолвились словом, даже не помахали друг другу. Просто смотрели, как будто

были знакомы в предыдущей жизни. Сегодня, надеясь вызвать этим удачу, Леонард поднял руку в знак приветствия и слегка улыбнулся. Поднимать руку было больно. Мальчик не посочувствовал бы ему, если бы знал, он продолжал смотреть на Леонарда в упор. Взрослый нарушил правила.

Леонард зашел за угол и стал, прислонясь к дереву.

Неподалеку строили многоквартирный дом. Скоро здесь вырастет настоящий город. И местные жители забудут, как все это выглядело раньше. Когда он вернется, он сможет рассказать им. *Тут никогда не было особенно красиво*, скажет он. *Поэтому все нормально. Все хорошо.* Кроме мыслей, которые крутятся и крутятся в голове.

Он ничего не мог сделать. Он снова тронул ее за руку, или это был первый раз. Он повторил вопрос или задал его в первый раз, позаботясь о том, чтобы теперь слова действительно прозвучали.

Я знаю, сказала она, что означало: *Я тоже об этом думаю, я разделяю твоё беспокойство.* А может быть, *Ты уже спрашивал, и я тебя слышала.* А может, *Я только что тебе ответила.*

Чтобы не прекращать разговора, он сказал: *Это была самозащита, это была самозащита.*

Она вздохнула. Потом сказала: *Они его знают.*

Да, сказал он. *Поэтому они поймут.*

Она выпал ила одним духом: *Он им нравился, они считали его героем войны, он им что-то наплел. Они думали, он спился из-за войны. Пьяница, который заслуживает прощения. Свободные от службы иногда угощали его пивом. И еще они думали, что он спился из-за меня. Они сказали мне это как-то раз, когда я вызвала их сюда. Я хотела, чтобы меня защитили, а они сказали, ты ведь сама его довела.*

Он встал с кровати, чтобы унять боль. Ему хотелось джина. Он хотел принести оттуда бутылку. Найти сигареты. В пачке еще оставались три штуки, но ходить было больно. А вдруг он пойдет туда и снова увидит, что оно изменило положение?

Он стал у шкафа и сказал: *Это только те, что из здешнего участка, Ordnungspolizei. А нам придется говорить с Kriminalpolizei, они из другой организации.* Он произносил эти слова, но, конечно, не было никаких преступников, никакого преступления, это была

самозащита. Она сказала: *Но местных все равно вызовут. Иначе нельзя, это их район.*

Так что же, повторил он. *Что мы им скажем?*

Она покачала головой. Он подумал, она хочет сказать, что не знает. Но она имела в виду совсем другое. Тогда была еще только половина третьего, а она уже имела в виду совсем другое.

Шагая привычной дорогой, он мог притвориться, что ничего не случилось. Он идет на работу, вот и все. Он спустится в туннель, он с нетерпением ждал этого момента. Ночью он все-таки вышел за джином. Сигарет нигде не было. Он посмотрел на торчащие из-под одеяла ботинки. Они высунулись еще дальше, в этом не было сомнения. Теперь он видел оба носка и часть голой ноги с редкими волосками. Он поскорей вернулся в спальню и сказал ей, но она не подняла глаз. Она скрестила руки на груди и смотрела в стену. Он закрыл дверь и налил им обоим джина. Глотая, он думал о «Наафи».

Знаешь что, сказал он. *Мы вызовем британскую военную полицию. Или американцев. Я же в их ведении, мне полагается это сделать.*

Она разъединила было руки, потом снова вернулась в прежнюю позу. *Дело касается меня,* сказала она. *Немецкую полицию поставят в известность.*

Он все еще стоял. И ответил: *Я скажу, что я один виноват.* Безумное предложение.

Она не улыбнулась, ее голос не потеплел. Она сказала: *Ты очень добр, спасибо. Но он немец, и это моя квартира, и он был моим мужем. Они обязательно сообщат немецкой полиции.*

Он был рад, что она не согласилась. Он сказал: *Так мы ничего не решим. Пусть они считают его героем войны, но они знают, что он бил тебя, что он пил, ревновал, и почему они должны верить его словам, а не нашим, и если бы мы захотели его убить, мы не стали бы проламывать ему голову, а потом звать полицию.*

Она сказала: *Почему бы и нет, если мы надеялись, что это сойдет нам с рук?* И когда он не ответил, потому что не понял, она сказала: *Totschlag, вот как они это назовут. Непредумышленное убийство.*

Он приближался к часовым. Сегодня у ворот дежурили Джейк и Гови. Они встретили его по-приятельски и пошутили насчет его

распухшего уха. Но пропуск тем не менее пришлось показать. В этом смысле со вчерашнего дня ничего не изменилось. Значит, все не так уж плохо. Он двинулся дальше, мимо будки часового, по дороге, обычный маршрут. По пути в свою комнату он никого не встретил.

На его двери висела записка от Гласса. *Встретимся в столовой в 13.00.* Комната была в том виде, в каком он ее оставил: рабочий стол, паяльники, омметры, вольтметры, приборы для проверки ламп, мотки провода, коробки с запасными деталями, сломанный зонтик, который он собирался починить. Все это были его вещи, его работа, вот чем он занимался на самом деле, законно и открыто. Вернее, открыто с одной точки зрения и тайно с другой, законно не во всех смыслах. С некоторыми определениями законности они были на ножах, некоторые определения им приходилось волей-неволей игнорировать. *Я должен перестать*, подумал он, *мне надо успокоиться.*

Убийство, сказала она. Ему пришлось пойти и сесть на постель, хотя сидеть было больно. Это звучало хуже, чем случайная смерть. Убийство. Это звучало хуже. Это примерно соответствовало тому, что лежало в соседней комнате.

Он попробовал начать с другого конца. *Вот что*, сказал он. *Мне надо к врачу, сейчас же.*

Она спросила сквозь зевок: *Тебе правда так плохо?* Еще одна вещь, о которой она не хотела думать.

Он сказал: *Врач должен посмотреть мою ключицу и ухо.* Про яички он не упомянул. Они болели по-прежнему. Но он не хотел, чтобы врач осматривал их, сдавливал и просил его покашлять. Он поежился, не вставая с места, и сказал: *Я должен пойти. Неужели ты не понимаешь, так мы докажем, что это была самозащита. Я должен пойти, пока все по-настоящему плохо, чтобы они могли сделать фотографии.*

Но только не моих яичек, подумал он.

А она ответила: *Про ту дырку у него на лице ты тоже скажешь, что это была самозащита?*

Тогда, сидя на постели, он чуть не потерял сознание.

Он прошел по коридору к питьевому фонтанчику. Ему хотелось ополоснуть лицо. Идя мимо кабинета Гласса, он проверил дверь. Закрыто, еще один плюс. Он был способен помахать мальчишке и поздороваться с часовыми, но не говорить с Глассом. Он взял

несколько ламп и кое-какие принадлежности в своей собственной комнате и запер ее. Со вчерашнего дня осталось кое-что закончить. Работа поможет ему успокоиться. Вдобавок ему нужен был повод, чтобы спуститься в туннель и забрать то, что необходимо забрать.

Если ты пойдешь к врачу, сказала она, ему все станет известно, а это означает полицию.

Он сказал: *Зато у нас будет доказательство драки, серьезной драки. Он разорвал бы меня в клочья.*

Конечно, сказала она. Доказательство самозащиты, но как насчет той дырки?

Что ж, сказал он. Ты объяснишь им, почему мне пришлось это сделать.

Но я и сама не знаю, сказала она. Объясни мне, почему ты так его укусил?

Он сказал: *Ты что, не видела? Не видела, что он делал?*

Она покачала головой, и он объяснил ей. А когда закончил, она сказала: *Я ничего не видела. Вы были слишком близко друг к другу.*

Это правда, сказал он.

Она отпила немного джина и спросила: *Тебе было так больно, что ты прокусил ему щеку насквозь?*

Да, конечно, сказал он. Ты должна будешь сказать, что все видела. Это очень важно.

Она сказала: *Но ты же говорил, что нам ни к чему лгать, что мы не сделали ничего плохого, что нам нечего скрывать от них.*

Разве я это говорил? — ответил он. Вообще-то да, мы не сделали ничего плохого, но нам нужно, чтобы они поверили в это, мы должны правильно все рассказать.

Ах вот как, сказала она. Ах вот оно что, если мы должны лгать, если мы должны притворяться, то нам нужно сделать это правильно. И она разняла скрещенные руки и посмотрела на него.

В подвале он прошел мимо кучи, наваленной до самого потолка. Говорили, что на ее темной стороне иногда вырастают грибы, но сам он этого не видел. И не хотел бы увидеть сейчас. Он стоял у края шахты, теперь ему было лучше. Шум генераторов, яркие голые лампочки у входа в туннель, тусклые здесь, наверху, уползающие вниз кабели и провода, вентиляция, система охлаждения. Система, подумал он, нам нужна система. Он предъявил пропуск и сказал охраннику,

что заберет снизу кое-какие вещи и ему понадобится подъемник. «Хорошо, сэр», — ответил тот.

Старый железный трап был давно убран. Теперь вниз спускались по спиральной лестнице в полтора витка, идущей вдоль стен ямы. Они ничего не упускают из виду, подумал он, эти американцы. Они хотят все сделать простым и доступным. Они заботятся о тебе. Эта легкая удобная лестница со ступеньками, на которых не поскользнешься, и железными цепями вместо перил, автоматы с кока-колой в коридорах, мясо и шоколадное молоко в столовой. Он видел, как взрослые люди пьют шоколадное молоко. Англичане оставили бы вертикальный трап, потому что секретная операция предполагает трудности. Американцы не забывали слушать «Heartbreak Hotel» и «Tutti Frutti» и играть в софтбол на площадке у склада, взрослые люди с усами от шоколадного молока, играющие в мячик. Они невинны. Разве можно скрывать от них что-нибудь? Он ничего не разузнал для Макнами, даже не пытался по-настоящему. Это тоже плюс.

Спускаться по лестнице было больно. Хорошо, что он наконец добрался до конца. Он ничего не выяснил о методе Нельсона, о том, как отделять эхо понятного текста от кодированного сообщения. У них остались эти секреты, а также шоколадное молоко. Он не узнал ничего. Хотя и пробовал заглянуть в несколько комнат. Он не лгал Макнами, но он ничего не украл, так что сейчас не было нужды лгать Глассу.

Она повторила: *Если мы собираемся лгать...* И оставила фразу незавершенной, теперь была его очередь.

Он сказал: *Нам надо действовать вместе, надо договориться. Они посадят нас в разные комнаты и будут искать противоречия.* Потом он остановился и сказал: *Но мы даже не можем ничего толком соврать. Что мы им скажем — что он поскользнулся в ванной?*

Знаю, сказала она. *Знаю,* разумея под этим: *Ты прав, так сделай же неизбежный вывод.* Но он застыл на месте. Он сидел и думал, что надо бы встать. Потом подлил себе джина. Этот тепловатый напиток почему-то совсем не пьянил.

В туннеле стояла бархатистая темнота, процеженная сквозь кондиционеры, и рукотворная тишина, и все вокруг говорило ему о профессионализме, сноровке, благоразумии. Он держал в руке лампы,

он шел работать. Он двинулся по старой узкоколейке, по которой раньше вывозили землю.

Ты слишком много пьешь, сказала она. Нам надо думать. Он допил чашку, чтобы можно было поставить ее на простыню. С закрытыми глазами ему лучше думалось. И ухо болело меньше.

Я скажу тебе еще кое-что, продолжала она. Ты слушаешь? Не засыпай. В Rathaus, в городском Совете, знают, что он претендовал на эту квартиру. У них есть письма, есть все бумаги.

Он сказал: *Ну и что? Ты же говорила, что его притязания незаконны.*

Es macht nichts^[37], сказала она. Он подавал жалобу, у нас была причина для ссоры.

Ты имеешь в виду мотив, сказал он. Ты хочешь сказать, что это посчитают нашим мотивом? Разве мы похожи на людей, которые решают жилищные проблемы таким способом?

Кто знает, сказала она. Здесь трудно найти жилье. В Берлине убивали и за меньшее.

Из этого получается, сказал он, что у него были претензии и он пришел сюда драться, и это была самозащита.

Когда ей казалось, что они зашли в тупик, она опять складывала руки на груди. Она ответила: *На работе майор однажды рассказывал о непредумышленном убийстве — тогда я и услышала, как это звучит по-английски. По его словам, оно произошло за год до того, как я начала работать здесь. Один механик из мастерских, с немецким гражданством, подрался в закуской с другим и убил его. Он ударил его по голове пивной бутылкой, и тот умер. Он был пьян и зол, но он не хотел убивать. Он очень расстроился, когда понял, что он наделал.*

И что с ним случилось?

Его посадили в тюрьму на пять лет. Наверное, он еще там.

В туннеле шел обычный рабочий день. Никто не слонялся без дела, все трудились, машины и люди. Этот порядок успокаивал, хорошо, если бы и мир наверху был таким. Он остановился и посмотрел. На огнетушителе, мимо которого он проходил, белела карточка, удостоверяющая, что еженедельная проверка была проведена вчера в 10.30. Тут же стояли инициалы исполнителя, его рабочий телефон, дата следующей проверки. Все безупречно. Рядом висел

телефонный аппарат, около него список номеров: дежурный офицер, охрана, пожарные, комната записи, камера прослушивания. Вот этот пучок проводов, скрепленных вместе блестящей новой заколкой, как волосы маленькой девочки, шел от усилителей в комнату записи. Эти провода тянулись в камеру прослушивания, по этой трубе бежала вода для охлаждения электроники, эти трубы служили для вентиляции, этот провод относился к системе аварийной сигнализации, зонд этого датчика уходил глубоко в окружающую почву. Он протянул руку и дотронулся до них. Все они работали, он любил их все.

Он открыл глаза. Молчание длилось уже минут пять. Если не двадцать. Он открыл глаза и заговорил. *Но это ведь не драка в закуской, сказал он. Он напал на меня, он мог меня убить.* Он остановился и вспомнил. *Сначала он напал на тебя, схватил тебя за горло.* Он совсем забыл о ее горле. *Дай посмотреть,* сказал он. *Не болит?* Вся ее шея до самого подбородка была в красных отметилах. А он и забыл про это.

Только глотать больно, сказала она.

Вот видишь, сказал он. *Ты должна пойти со мной к врачу. Вот что мы им расскажем, и это будет правда, так оно и было. Он мог тебя задушить.*

Да, подумал он. *Но я ему не позволил.*

Уже четыре часа, сказала она. *Ни один врач нас не примет. И даже если бы принял, пойми ты.* Она остановилась и снова разжала руки. *Пойми, я все время думаю о полиции и о том, что они увидят, когда придут сюда.*

Мы снимем одеяло заранее, сказал он.

Одеяло тут ни при чем, сказала она. *Пойми, что они увидят. Изуродованный труп.*

Не говори так, сказал он.

Проломленный череп, сказала она, *и дыра в щеке. А у нас что? Красное ухо, синяки на шее?*

И мои яички, подумал он, но не произнес ни слова.

Несколько человек возились с усилителями. Достаточно было кивнуть им. Потом он остановился в конце узкоколейки. Здесь был стол, а под ним, в точности как ему помнилось, стояли они. Но их лучше взять на обратном пути. Сначала надо закончить работу, это поможет ему. Мало того. Он хотел работать, ему необходимо было

держаться. Он миновал герметические двери камеры прослушивания. Там тоже были двое, люди, с которыми он всегда здоровался, хотя и не знал их по именам. Один сидел в наушниках, другой что-то записывал. Они улыбнулись ему. Говорить здесь не полагалось, разве что в крайнем случае, шепотом. Тот, что записывал, показал на его распухшее ухо и скорчил гримасу.

В одном из двух магнитофонов, который сейчас не работал, надо было заменить лампу. Он сел и неторопливо отвинтил заднюю крышку. Этим он занимался бы, если бы ничего не случилось. Он не хотел спешить. Заменив лампу, он еще поковырялся внутри, проверяя соединения и пайку в схеме включения по сигналу. Привинтив крышку на место, он остался сидеть, притворяясь, что думает.

Кажется, он заснул. Он лежал на спине, свет горел, он был полностью одет и ровным счетом ничего не помнил. Затем вспомнил. Она трясла его за руку, и он сел.

Она сказала: *Ты не можешь заснуть и бросить все на меня.*

Память возвращалась к нему. Он сказал: *Что бы я ни предложил, ты ни с чем не согласна. Предлагай сама.*

Я не хочу говорить тебе, сказала она. *Хочу, чтобы ты понял сам.*

Что я должен понять? — спросил он.

В первый раз за эти часы она встала. Положила руку себе на горло и сказала: *Они не поверят насчет самозащиты. Никто не поверит. Если мы вызовем их, нас посадят в тюрьму.*

Он искал бутылку с джином, но ее не было на прежнем месте. Должно быть, она ее убрала, и хорошо сделала, потому что его вдруг замутило. Он сказал: *Вовсе не обязательно.* Но сам он так не думал, она была права, их посадят в тюрьму, в немецкую тюрьму.

Что ж, отозвалась она, я скажу это. Кто-то должен сказать, почему бы не я? Нам нельзя вызывать их, нельзя ни о чем заявлять. Мы унесем его отсюда и спрячем так, чтобы никто не нашел.

О боже, сказал он.

А если его когда-нибудь найдут, сказала она, *придут сюда и скажут мне, я отвечу, да, это очень печально, но он был пьяницей и героем войны, так что в этом нет ничего удивительного.*

О боже, сказал он, и потом: *Если увидят, как мы его отсюда выносим, тогда нам конец, это будет выглядеть как убийство. Убийство.*

Правильно, сказала она. Надо сделать все незаметно. И села рядом с ним.

Мы должны справиться вместе, сказал он.

Она кивнула, и они взялись за руки и некоторое время молчали.

Вечно сидеть здесь было нельзя. Он должен был покинуть уютную камеру прослушивания. Он кивнул работникам, вышел через двойные двери и старательно сглотнул: уши закладывало при смене давления на более низкое. Затем опустился на колени около стола. Там стояли два пустых ящика. Он решил взять оба. В каждый умещались по два больших магнитофона «Ампекс» вместе с запасными деталями, микрофонами, пленкой и проводами. Ящики были черные, с укрепленным каркасом, удобными защелкивающимися замками и парой холщовых лямок, которые охватывали их целиком и застегивались для большей надежности. Он раскрыл один. Ни внутри, ни снаружи не было никаких надписей, армейских кодов или знака изготовителя. Вместо ручек тоже были широкие холщовые ремни. Он поднял ящики и двинулся в туннель. Ему непросто было протиснуться мимо тех, кто работал с усилителями, но один из них взял ящик и помог, перенес его в дальний конец комнаты. Дальше он сам поволок их по туннелю к выходу в подвал.

Он мог бы вытащить их по лестнице, хотя и не оба разом, но дежурный охранник увидел его, вывел стрелу и включил электрическую лебедку. Он поставил их на платформу, и они оказались наверху раньше его. Он пошел обратно мимо кучи земли, поднялся на первый этаж, с трудом одолел несколько двойных дверей и зашагал вдоль дороги к посту часового. Ему пришлось открыть ящики, чтобы показать Гови — простая формальность, и затем он очутился за воротами. Рабочее время кончилось, он был свободен.

Тащить большие ящики было неудобно. Они мешали ногам, оттягивали руки, у него скоро заныли плечи. И это еще пустая тара. Рыжего мальчугана нигде не было видно. В поселке он никак не мог прочесть расписание движения автобуса, цифрыплыли наискось и вверх. Он прочел их в движении. Ждать нужно было сорок минут, так что он поставил ящики у стены и сел на них.

Он заговорил первым. Было пять утра. Он сказал: *Можно стащить его сейчас по лестнице, отнести на какой-нибудь разбомбленный участок. Вложить ему в руку бутылку, тогда будет*

похоже, что он подрался с другими пьяницами. Он говорил это, но понимал, что у него не хватит сил, по крайней мере сейчас.

Она сказала: *На лестнице всегда люди. Приходят с ночной смены или рано идут на работу. Некоторые старики вообще не ложатся. Здесь никогда не бывает совсем спокойно.*

Он кивал, пока она говорила. Это была идея, но не лучшая, и он был рад, что они ее отклонили. Хоть в чем-то они согласились, хоть куда-то продвинулись. Он закрыл глаза. В конце концов все образуется.

Водитель автобуса тряс его за плечо. Он все еще сидел на ящиках, и водитель догадался, что ему надо в город. Да и остановка была конечной. Он ничего не забыл, он все вспомнил, как только открыл глаза. Водитель взял один ящик, он сам — другой. Какие-то женщины с маленькими детьми уже заняли места — наверное, ехали в центр города за покупками. Он тоже ехал туда, он ничего не забыл. Он расскажет Марии, как он все выдержал. Его руки и ноги были вялыми, он еще не успел окончательно прийти в себя. Он сел впереди, поставив свою ношу на сиденье сзади. Нет нужды охранять ее всю дорогу.

По пути на север они подбирали новых женщин с детьми и хозяйственными сумками. Ощущалась целеустремленная, деловитая пунктуальность часа пик. В автобусе стало по-праздничному шумно и весело. Он сидел, слушая разноголосицу за своей спиной, оживленные переговоры матерей, основанные на общих забегах, прерываемые смешками и сочувственными охами, пронзительные выкрики детей, восклицания по поводу увиденного за окном, перечни немецких существительных, внезапные сердитые оклики. И он впереди, один, слишком большой и слишком плохой для того, чтобы ехать с матерью, вспоминающий путешествия с нею из Тотнема на Оксфорд-стрит, у окошка, с билетиками в руке, абсолютную власть кондуктора и систему, за которую он стоял и которая была правильна — говоришь, куда тебе надо, платишь, получаешь сдачу, слышишь, как звякает звонок, и держишься крепко, пока огромный, вибрирующий, неторопливый автобус не остановится.

Он вышел со всеми прочими близ Курфюрстендамм.

Она сказала: *Не ходи в Eisenwarenhandlung^[38], иди в большой универмаг, где тебя не запомнят.*

Такой был как раз напротив. Он подождал вместе с толпой, когда полицейский остановит движение и подаст пешеходам знак, разрешая

пересечь улицу. Сейчас нельзя нарушать правила. Универмаг был новый, все было новое. Он сверился с указателем на стене. Надо спуститься в подвальный этаж. Он ступил на эскалатор. В побежденной стране никого не заставляют спускаться вниз пешком. Торговля была налажена хорошо. В считанные минуты он купил все, что нужно. Он получил свою сдачу вместе с «Bitte schon» от продавщицы, которая даже не взглянула на него и тут же занялась следующим покупателем. Он сел в метро на «Витгенбергплац» и пошел к дому Марии с «Котбусер-тор».

Когда он постучал в дверь, она откликнулась: «Wer ist da?»

— Это я, — сказал он по-английски.

Открыв дверь, она посмотрела на ящики у него в руках, потом отступила в сторону. Они не встретились взглядами. Не прикоснулись друг к другу. Он пошел вслед за ней. Она надела резиновые перчатки, все окна были распахнуты. Она вымыла ванную. В квартире пахло весенней уборкой.

Оно было по-прежнему там же, под одеялом. Ему пришлось перешагнуть через него. Она вытерла стол. На полу была пачка старых газет, а на стуле, в сложенном виде, шесть метров прорезиненной ткани, которую она обещала достать. В комнате было светло и прохладно. Он поставил ящики рядом с дверью в спальню. Ему хотелось зайти туда и лечь на постель.

— Я сварила кофе, — сказала она.

Они выпили его стоя. Она не спросила, как он провел утро, он тоже. Все, что нужно, они сделали. Она быстро покончила с кофе и принялась застилать стол газетами в два-три слоя. Он следил за ней сбоку, но когда она повернулась к нему, он отвел взгляд.

— Ну? — сказала она.

Было и так светло, а стало еще светлее. Вышло солнце, и хотя его лучи не попадали прямо в комнату, они отражались от огромных кучевых облаков и ярко освещали каждый уголок, каждую мелочь: чашку в ее руке, перевернутый заголовок в газете на столе, набранный готическим шрифтом, потрескавшуюся черную кожу ботинок, торчащих из-под одеяла.

Если бы все это внезапно исчезло, им было бы достаточно трудно вернуться к прежнему существованию. Но то, что они собирались сделать, должно было навсегда отрезать им путь назад. Поэтому,

следовал простой вывод, поэтому они поступали неправильно. Но они уже все обсудили, проговорили целую ночь. Она стояла спиной к нему и глядела в окно. Она сняла перчатки. Кончики ее пальцев касались стола. Она ждала, пока он заговорит. Он назвал ее по имени. Он устал, но постарался произнести его в привычной для них манере, с легким, точно вопросительным повышением тона в конце, как бывало, когда они призывали друг друга к чему-то важному, любви, сексу, дружбе, совместной жизни, чему бы то ни было.

— Мария, — сказал он.

Она уловила интонацию и обернулась. Ее взгляд был беспомощен. Она пожала плечами, и он понял, что она права. Это только добавит трудностей. Он кивнул в знак согласия, отвернулся, стал на колени у одного из ящиков и открыл его. Вынул оттуда нож для резки линолеума, пилу и топор и отложил их в сторону. Потом, не тронув одеяла и колодки, они подняли Отто — Леонард за плечи, Мария за ноги и понесли к столу.

С самого начала, как только они взялись за него, все пошло не так. Теперь, после наступления *rigor mortis*^[39], поднять его оказалось легче, чем они ожидали. Его ноги остались прямыми, а тело не провисло посередине. Он лежал лицом вниз, и они поднимали его, как брус. Но эта трансформация застала их врасплох. Леонард чуть не выпустил плечи. Голова откинулась вниз. Колодка под действием собственного веса выпала из черепа и ударила Леонарда по ноге.

Он вскрикнул от боли, но Мария тут же издала предостерегающий оклик:

— Не клади его. Осталось чуть-чуть.

Леонард был почти уверен, что у него сломан палец, но хуже этого было другое: из-под одеяла что-то потекло, то ли из мозга, то ли изо рта Отто — какая-то холодная жидкость промочила внизу фланелевые брюки Леонарда.

— О боже, — сказал он, — Клади его наверх поскорее. Меня сейчас стошнит.

Тело едва уместилось на столе по диагонали. Чувствуя, что штанины снизу прилипли к ногам, Леонард прохромал в ванную и склонился над унитазом.

Ничего не вышло. В последний раз он ел вчера вечером, Rippenchen mit Erbsenpüdrée. Он боялся думать о названии блюда по-английски. Однако, когда он взглянул на брюки ниже колен и увидел, что на мокрой темной ткани блестит что-то серое с примесью крови и волос, его вырвало. Одновременно он пытался снять с себя брюки. Мария наблюдала за ним с порога ванной комнаты.

— Это и на ботинках тоже, — сказал он, — И палец у меня наверняка сломан. — Он снял туфли, носки и брюки и сунул все под раковину. На его ноге не было ничего, кроме едва заметного красного пятнышка у основания большого пальца.

— Я вымою, — сказала она.

Вслед за ним она вошла в спальню. Он отыскал в гардеробе носки и запасные брюки, помятые после пребывания там Отто. У кровати были его тапочки.

— Ты можешь надеть какой-нибудь мой фартук, — предложила Мария. Это показалось ему диким. В фартуках женщины делают пироги, пекут хлеб.

— Теперь со мной все будет нормально, — сказал он.

Они снова вернулись в ту комнату. Одеяло было еще на месте, и слава богу. На ковре, где лежал Отто, темнели два больших мокрых пятна. Благодаря широко распахнутым окнам никакого запаха не чувствовалось. Но свет был безжалостен. В его лучах была хорошо видна жидкость, промочившая Леонарда. Зеленоватая, она капала со стола на ковер. Они постояли, не решаясь сделать следующий шаг. Потом Мария подошла к стулу, на котором лежали ее покупки, и стала объяснять, что это. Перед каждой фразой она делала глубокий вдох. Она старалась говорить без длинных пауз.

— Это ткань, как будет по-вашему, *wasserdicht*?

— Водонепроницаемая.

Она подняла красную жестяную банку.

— Вот клей, резиновый, он быстро сохнет. Кисть, чтобы его намазывать. Этими портновскими ножницами удобно отрезать куски. — Как на демонстрации в универмаге, не прекращая говорить, она отрезала большой квадрат ткани.

Это подробное описание ее действий помогло ему. Он взял свои собственные орудия и перенес на стол. Тут объяснять было нечего.

— Ну ладно, — чересчур громко сказал он, — Тогда я начну. Займусь ногой.

Но он не тронулся с места. Его взгляд был прикован к одеялу. Он видел каждую отдельную шерстинку, бесконечное повторение одного и того же простого узора.

— Сначаланими ботинок с носком, — посоветовала Мария. Она скovyрнула с банки крышку и теперь мешала клей чайной ложкой.

Это было разумно. Леонард положил руку на лодыжку Отто и стащил ботинок за каблук. Он снялся легко. Шнурки отсутствовали. Носок задубел от грязи. Леонард быстро содрал его. Нога уже слегка почернела. Он был рад тому, что стоит у раскрытого окна. Он закатал одеяло вверх, чуть выше коленей Отто. Ему не хотелось начинать одному.

— Прижми его крепче обеими руками, — попросил он ее, — Вот здесь, — и показал на верхнюю часть ноги.

Она послушалась. Теперь они стояли рядом, бок о бок. Он взял пилу. Она была хорошо наточена и для безопасности обернута сложенным вдвое куском картона, прихваченным резинкой. Он снял все это и посмотрел на впадину под коленом Отто. Его черные хлопчатобумажные штаны лоснились от долгой носки. Он переложил пилу в правую руку, а левой взялся за ногу Отто прямо над лодыжкой. Ее температура была ниже комнатной. Леонард чувствовал, как из его руки уходит тепло.

— Не думай об этом, — сказала Мария, — Просто действуй. — Она снова коротко вздохнула. — Помни, я люблю тебя.

Конечно, это было невозможно, и все-таки они понимали необходимость участвовать в этом вместе. Им нужно было формальное подтверждение. Он тоже сказал бы, что любит ее, но у него совсем пересохло во рту.

Он провел пилой по коленному сгибу Отто. Ее сразу заело. Там была ткань, а под ней крепкие сухожилия. Он вынул пилу, не глядя на зубья, снова опустил ее и потянул на себя. Произошло то же самое.

— Я не могу, — воскликнул он, — Она не идет, ничего не получится!

— Не дави так сильно, — сказала она. — Двигай спокойней. И первые несколько раз проводи ею к себе. Потом можешь пилить вперед-назад.

Она разбиралась в плотницком деле. Если бы полочку в ванной вешала она, результат был бы лучше. Он последовал ее совету. Пила двигалась с легкостью хорошо смазанного механизма. Потом зубья опять стали цепляться, теперь уже за кость, и вскоре вошли в нее. Чтобы нога не дергалась, Леонарду и Марии пришлось нажать на нее сильнее. Пила издавала глухой скрежет.

— Надо остановиться! — крикнул он, но не сделал этого. Он продолжал пилить. Ему не должна была встретиться кость. Он думал, что попадет в место их сочленения. Его представление о суставе было смутным, почерпнутым большей частью из воскресных обедов с жареной курицей. Он наклонял пилу в разные стороны и сильно налегал на нее, зная, что если остановится, то начать снова уже не сможет. Потом что-то кончилось, потом пила опять вошла в кость. Он старался не смотреть, но апрельский свет был неумолим. Из верхней части ноги сочилось густое и черное, заливая пилу. Ручка уже была

скользкой. Он почти кончил, осталась одна кожа, но он не мог перепилить ее, не задев стола. Он взял нож для линолеума и попытался разрезать ее одним ударом, но она собралась в складки под лезвием. Ему пришлось влезть туда, пришлось сунуть руку в разверстый сустав, в холодное месиво из темной растерзанной плоти, и перепилить кожу лезвием ножа.

— Не могу больше, — крикнул он. — О господи! — И все прекратилось. Нижняя часть ноги Отто вдруг стала отдельным предметом, вещью в матерчатом цилиндре с голой ступней на одном конце. Мария была готова к этому. Она быстро завернула ее в приготовленный кусок водонепроницаемой ткани. Потом смазала края клеем и соединила их. Она положила сверток в один из ящиков.

Из культи обильно лилась кровь, она испачкала весь стол. Промокшие газеты расплзались. Кровь стекала по ножкам стола, в ней промокли уже и те газеты, что лежали на полу. Стоило пройти по ним, как бумага прилипала к ногам, обнажая ковер. Его руки были сплошь красно-коричневыми от кончиков пальцев до локтей и выше. Кровь была и у него на лице. Там, где она подсыхала, чесалось. На очках были брызги. Руки Марии тоже не остались чистыми, на ее платье темнели пятна. Во всем доме стояла тишина, но они кричали друг другу, точно в шторм.

— Мне надо помыться, — сказала она.

— Нет смысла, — откликнулся он. — Потом вымоешься.

Он поднял пилу. Раньше она была скользкая, теперь стала липкой. Что ж, так удобней держать. Они принялись за левую ногу. Мария была справа от него и прижимала голень к столу обеими руками. С этой должно было получиться быстрее, но его надежды не оправдались. Начал он хорошо, но на полдороге пила застряла, ее накрепко заклинило в суставе. Ему пришлось взяться за нее обеими руками. Мария перегнулась через него и прижала верхнюю часть ноги тоже. И тем не менее, пока Леонард боролся с пилой, тело дергалось из стороны в сторону, точно безумный плясун, упавший лицом вниз. Одеяло свалилось, и Леонард старался не глядеть на череп. Он был на краю его поля зрения. Скоро придется иметь дело и с ним. Теперь они оба промокли насквозь от пояса до того места, где опирались на стол. Это их уже не заботило. Он покончил с суставом. Снова осталась кожа,

надо было опускать внутрь руку с ножом. А если бы плоть еще не остыла, подумал он, тогда это было бы легче?

Второй сверток очутился в ящике. Два сапога — пара. Леонард нашел джин. Глотнул из бутылки и протянул ее Марии. Она покачала головой.

— Ты прав, — крикнула она. — Нельзя останавливаться.

Они не обсуждали этого, но знали, что сейчас примутся за руки. Они начали с правой, с той, которую Леонард пытался вывернуть. Она застыла в согнутом положении. Выпрямить ее не удавалось. Трудно было отыскать удобное для пилы место и стать так, чтобы она вошла в плечо. Теперь, когда стол и пол, их одежда, руки и лица были в крови, близость черепа переносилась легче. Весь затылок Отто провалился внутрь. Мозга было почти не видно, он лишь чуть-чуть выдавился по краям пролома. После красного серое уже не пугало. Мария держала предплечье. Он начал с подмышки, пропоров куртку, а затем и рубашку. Пила была хорошая — острая и не слишком тяжелая, гибкая, но не чересчур. В месте соединения полотна с ручкой остались дюйм-два, не залитых кровью. Там стояло клеймо производителя и слово «Золинген». Он повторял его, двигая пилой. Они никого не убивают. Отто уже мертв. Золинген. Они его разбирают. Золинген. Никто не пропал. Золинген, Золинген. У Отто отнялись руки и ноги. Золинген, Золинген.

Между руками он отпил джина. Это было легко, это было разумно. Один час грязной работы или пять лет в тюрьме. Бутылка с джином тоже прилипала к пальцам. Кровь была повсюду, и он смирился с этим. Дело нужно сделать, и они его делают, Золинген. Это просто работа. Отдав Марии левую руку, он не стал отдыхать. Он засунул руки за шиворот Отто и потянул рубашку вниз. Позвонки на шее были прямо-таки созданы для того, чтобы вставить между ними пилу. Он за несколько секунд прошел кость и спинной мозг, аккуратно направляя полотно к основанию черепа, лишь немного запнувшись на шейных сухожилиях, потом хрящ трахеи и дальше, дальше, так что не пригодился и нож. Золинген, Золинген.

Исковерканная голова Отто глухо стукнулась о пол и, повернувшись в профиль, замерла среди мятых страниц «Тагесшпигеля» и «Абенда». Он выглядел почти так же, как тогда в шкафу, — длинный нос, закрытые глаза, нездоровая бледность. Но

нижняя губа больше ему не досаждала. То, что осталось на столе, было уже никем. Оно было полем битвы, городом далеко внизу, который ему приказали разрушить. Золинген. Снова джин, липкий «бифитер», потом главное, бедра, решающая атака, и на этом конец — домой, в горячую ванну, задание выполнено.

Мария сидела на деревянном стуле у открытых ящиков. Она брала каждую очередную часть своего бывшего мужа на колени, терпеливо, почти с материнской заботой оборачивала и заклеивала ее и аккуратно укладывала вместе со всем прочим. Сейчас она заворачивала голову. Она была хорошая женщина, славная, надежная. Если они сделают это, им вдвоем будет под силу что угодно. Закончив эту работу, они смогут начать заново. Они же помолвлены, можно будет праздновать дальше.

Пила удобно легла в складку между ягодицей и ногой. Теперь он не собирался искать сустав. Прямо сквозь кость — крепкий брусочек два на два и хороший инструмент, чтобы его перепилить. Штанина, кожа, жир, плоть, кость, плоть, жир, кожа, штанина. Два последних слоя он одолел ножом. Этот кусок был тяжелым и сочился с обоих концов, когда он передавал его Март. Его шлепанцы стали черными и тяжелыми. Джин, и другая нога. Таков был порядок действий, порядок боя: все дважды, кроме головы. Потом завернуть большой обрубок, оставшийся на столе, убрать комнату, отмыть и оттереть кожу, их кожу, и избавиться от вещей. У них есть система, они сделают это еще раз, если очень понадобится.

Мария заклеивала в ткань второе бедро.

— Сними с него куртку, — сказала она.

Это тоже было легко, поскольку руки уже не мешали. Поднять, и только. До сих пор все умещалось в один ящик. Туловище пойдет в другой. Она уложила второе бедро и закрыла крышку. У нее был портновский сантиметр. Он взял один конец, и они вытянули его вдоль куска на столе. Сто два сантиметра от зияющей шеи до культей. Она забрала сантиметр и стала на колени у ящика.

— Слишком большой, — сказала она. — Не влезет. Придется распилить пополам.

Леонард словно очнулся от сна.

— Не может быть, — сказал он. — Давай проверим снова.

Она оказалась права. Ящики были в девяносто семь сантиметров длиной. Он схватил сантиметр и измерил все сам. Наверняка есть

способ как-то подогнать цифры.

— Мы его втиснем. Заверни, и втиснем.

— Не войдет. Тут лопатки, а другой конец толстый. Придется распиливать пополам, — Эго был ее муж, и она знала.

Руки и нош, и даже голова были придатками, которые дозволялось отрезать. Но трогать остальное — нет, это неправильно. Он попытался отыскать в памяти принцип, какое-нибудь элементарное соображение приличия, чтобы подтвердить свою инстинктивную уверенность. Он страшно устал. Стоило ему закрыть глаза, как он словно поднимался в воздух, теряя ощущение собственного веса. Ему нужна была какая-то опора, несколько основных правил. Просто невозможно, мысленно говорил он Глассу и горстке старших офицеров, теоретизировать и определять главные принципы в самый разгар работы. Такие вещи следует обдумывать заранее, чтобы потом можно было сосредоточиться на самом процессе.

Мария опять села. Ее намокшее платье провисало между колен.

— Давай быстрее, — сказала она, — Потом можно будет отмыться. — Она нашла пачку с тремя сигаретами. Раскурила одну, затянулась и отдала ему. Он не обратил внимания на красные пятна, расплывшиеся по бумаге, ему действительно было все равно. Но когда он подошел, чтобы вернуть ей сигарету, она прилипла к его пальцам.

— Оставь себе, — сказала она, — и давай начнем.

Скоро ему пришлось перехватить окурок, иначе он обжег бы себе пальцы. Бумага разошлась, табак высыпался. Он уронил все это на пол и раздавил ногой. Затем взял пилу и расстегнул Отто рубашку, обнажив спину над брючным поясом. Прямо на позвоночнике была крупная родинка. Его покорила мысль, что надо будет пилить по ней, и он сдвинул полотно на полдюйма ниже. Теперь первый надрез прошел по всей ширине спины, и позвоночник снова помог держать направление. Он миновал кость довольно легко, но, углубившись еще на дюйм-другой, почувствовал, что больше не движется вниз, а скорее сталкивается то, что находится внутри, к одному боку. Но он не остановился. Он достиг полости, содержимого которой ему совсем не хотелось видеть. Он поднял подбородок, чтобы не заглядывать в дыру. Он смотрел в сторону Марии. Она по-прежнему сидела там же, бледная и усталая, не глядя на него. Ее глаза были устремлены на открытое окно и большие кучевые облака, плывущие над двором.

Раздался чмокающий звук — он напомнил ему о желе, которое вытряхивают из формы. Внутри совершались какие-то перемещения, что-то лопнуло и наткнулось на что-то еще. Он допил до низу, и перед ним опять встала знакомая трудность. Он не мог перепилить кожу на животе и сохранить в целости дерево под ней. Стол был хороший, на совесть сработанный из вяза. И на сей раз он не стал опускать туда руку. Вместо этого он повернул туловище на девяносто градусов и подтянул его вперед за верхнюю половину, так что пропил оказался на одном уровне с краем стола. Ему следовало попросить Марию помочь. Ей следовало предвидеть трудность и спасти его. Он держал верхнюю половину обеими руками. Нижняя так и осталась на столе. Как же ему взять линолеумный нож и разрезать кожу живота? Он слишком устал, чтобы остановиться, хотя и понимал, что его попытка обречена на неудачу. Он поднял левую ногу, чтобы подпереть туловище коленом, и нагнулся вперед за ножом, который лежал на столе. У него все-таки был шанс на успех. Он мог бы удерживать верхнюю часть тела рукой и коленом, а свободной рукой достать до нужного места и разрезать кожу. Но усталость не позволила ему сохранить равновесие. Он почти дотянулся до ножа, когда почувствовал, что падает. Ему пришлось быстро поставить левую ногу. Он попытался вовремя вернуть на место свободную руку. Но туловище выскользнуло, и он не поймал его. Верхняя половина Отто сорвалась, качнувшись на остатках кожи и обнажив путаную грудку его пищеварительных органов, и увлекла за собой нижнюю. Обе рухнули на пол, вывалив свое разноцветное содержимое на ковер.

Прежде чем покинуть комнату, Леонард внезапно, в один миг осознал, какое огромное расстояние им пришлось одолеть, увидел весь путь, приведший их к этому от счастливой домашней помолвки, и то, как каждый очередной шаг казался вполне логичным, вытекающим из предыдущего, и как некого было винить. Прежде чем он ринулся в ванную, у него в памяти отпечатались картины каких-то красновато-бурых кусков, мотка тускло отсвечивающих иссиня-белых, цвета вареного яйца трубок, чего-то черного и фиолетового, и все это отливало мертвенным блеском, словно глубоко возмущенное тем, что нарушили его сокровенную интимность, раскрыли бережно хранимые секреты. Несмотря на распахнутые окна, комната наполнилась тяжелым затхлым духом, который сам по себе был только фоном для

остального: сладковатого, сернисто-земляного запаха экскрементов и *Sauerkraut*. Оскорбление, успел подумать Леонард, поспешно перешагивая через ставшие торчком, так и не разъединившиеся половины туловища, состоит в том, что все это есть и в нем самом.

Точно в доказательство этого, он вцепился руками в края унитаза и изверг из себя порцию зеленой желчи. Потом прополоскал рот над раковиной. Контакт с чистой водой был напоминанием о другой жизни. Не важно, что он еще не кончил, он должен стать чистым, сейчас же. Он сбросил шлепанцы, снял рубашку с брюками, кинул все в кучу под раковиной и залез в ванну. Присел и начал мыться под струей из крана. Подсохшую кровь не так просто было отмыть ледяной водой. Лучше всего помогала пемза, и он тер себя без единой другой мысли очень долго, полчаса, если не вдвое больше. Когда он закончил, его руки и лицо были стерты почти до мяса и он дрожал от холода.

Чистая одежда была в спальне. Он забыл обо всем, память оставила его на время омовения, а теперь ему придется прошагать чистыми голыми ногами мимо своей незавершенной работы.

Но когда он появился в гостиной, с полотенцем вокруг пояса и еще мокрый, Мария укладывала в ящик самый большой из обернутых кусков. Она заговорила так, словно он никуда не исчезал и только что задал вопрос.

— Сейчас все по-другому. Нижняя половина туловища, рука, бедро, нога и голова в этом ящике. А в этом верхняя половина, рука, бедро и нога.

Около стола он увидел совок и ведро. Все прочее было внутри. Он помог ей закрыть ящики, затем, попросив ее сесть на них, затянул холщовые лямки как можно туже. Перетащил ящики к стене. Теперь в комнате была лишь ручная кладь, а убрать оставалось совсем немного. Он заметил, что она греет на плите чайник и кастрюли с водой для мытья. Он пошел в спальню, рассчитывая одеться и поспать хотя бы десять минут, пока она будет в ванной. Он потерял какое-то время, ища свои туфли, и только потом вспомнил, где они. Тогда он лег и закрыл глаза.

Сразу же она очутилась перед гардеробом, вымытая и в халате, занятая поисками одежды.

— Не спи, — сказала она. — Ты ни за что не проснешься вовремя.

Конечно, она была права. Он сел, нашел очки и стал глядеть на нее. Одеваясь, она всегда поворачивалась к нему спиной — эта стыдливость обычно трогала, если не возбуждала его. Теперь же, с учетом того, через что им пришлось пройти и каким образом закончилась их помолвка, он испытывал только раздражение. Он встал с постели, проскользнул мимо, не коснувшись ее, и вошел в ванную. Там он вынул свои туфли из-под кучи окровавленной одежды. Было вовсе не трудно вытереть их дочиста влажной фланелькой. Он надел их и бросил фланельку на все остальное. Затем принялся убирать в гостиной. Мария заранее подготовила несколько больших бумажных сумок. Он засовывал туда газеты, когда Мария появилась из ванной и стала помогать ему. Они скатали ковер и положили его у двери. Потом его тоже придется выкинуть. Чтобы отмыть стол и пол, им нужно было ведро. Отвернувшись, Мария вытряхнула его содержимое в самую большую кастрюлю.

Леонард взял щетку и начал посыпать стол стиральным порошком, когда она сказала:

— Глупо заниматься этим вдвоем. Лучше сразу вынеси ящики. А я закончу здесь.

Конечно, она знала, что справится с уборкой лучше его. Но дело было не только в этом. Она хотела, чтобы он ушел, хотела остаться одна. И ему перспектива покинуть эту квартиру, выбраться отсюда, пускай и с тяжелой кладью, показалась заманчивой. Она словно обещала свободу. Он хотел очутиться подальше от Марии не меньше, чем она хотела его ухода. Это было просто и ясно. Ибо сейчас они не могли дотронуться друг до друга, не могли даже встретиться взглядом. Одна только мысль о том, чтобы сделать самый обычный жест — например, взять ее за руку, — вызывала у него содрогание. Всякое общение между ними, любая мелочь, любое крошечное взаимодействие мешало и раздражало, как соринка в глазу. Он увидел инструменты. Топор тоже лежал там, нетронутый. Леонард не мог вспомнить, почему он решил купить и его. Воображение оказалось еще более жестоким, чем жизнь.

— Не забудь про нож и пилу, про все ее зубья, — сказал он.

— Не забуду.

Он надел пальто, пока она открывала дверь. Потом стал между ящиками, поднатужился, поднял их и быстро, по прямой выбежал на

лестничную площадку. Там он поставил их и обернулся. Она стояла на пороге, держа руку на двери, готовая закрыть ее. Почувствуй он хоть малейшее желание, он подошел бы к ней, поцеловал в щеку, тронул за руку. Но их разделяло висевшее в воздухе отвращение, и притворяться было невозможно.

— Я вернусь, — Его хватило только на эти слова, и даже они прозвучали как сумасбродное обещание.

— Ладно, — сказала она и закрыла дверь.

Минуты две он стоял между ящиками перед верхним пролетом лестницы. Когда он начнет спускаться на следующий этаж, времени на раздумья уже не останется. Но сейчас у него в голове было почти пусто. Кроме головокружительной усталости, он ощущал смутное удовольствие от того, что покинул квартиру. Избавляясь от Отто, он в каком-то смысле избавлялся и от Марии. Так же как и она от него. Наверное, все это печально, но пока он был недосыгаем для грусти. Он уходил. Подняв свой багаж, он двинулся вниз. Волоча ящики по ступеням, он мог управиться с обоими разом. На каждой лестничной клетке он делал передышку. Какой-то человек возвращался с работы и, проходя вверх, кивнул Леонарду. Двое мальчишек проскользнули мимо, пока он отдыхал. Никто не видел в нем ничего странного. В Берлине было полно людей с тяжелой ручной кладью.

По мере того как он спускался, все больше отдаляясь от квартиры Марии и от нее самой, к нему возвращались все его прежние физические страдания. Боль от поврежденной ключицы теперь пульсировала глубоко в плече. До уха уже не надо было дотрагиваться, поскольку оно и так все время напоминало о себе. Стаскивание по лестнице багажа весом не меньше ста пятидесяти фунтов не пошло на пользу его паху. Сказывался и прощальный удар Отто: электрические импульсы, рождающиеся у основания большого пальца нош, простреливали ее до лодыжки. Он шел вниз, и ему становилось все хуже. Добравшись до конца, он по одному вынес ящики из подъезда во двор и там устроил себе более продолжительный отдых. Вся его кожа горела, как будто ее ошпарили или прошлись по ней наждаком. Окружающие предметы давили своей массивностью. Скрежет попавшего под ногу камешка вызывал ощущение мгновенной пустоты в животе. Грязь на стене около выключателя света на лестнице и сама эта непроницаемая стена, бессмысленность всех ее кирпичей угнетали его, мучили, словно болезнь. Был ли он голоден? Даже мысль о том, чтобы брать отдельные части этого твердого мира, вводить их в себя через дыру в голове и протискивать сквозь кишки, казалась омерзительной. Он весь был розовый, сухой, воспаленный. Он прислонился к ограде двора, глядя, как дети играют в футбол. Когда

мяч ударялся о землю или чьи-нибудь подошвы тормозили на крутых поворотах, возникало трение, заставлявшее бунтовать все его обостренные чувства. Если он прикрывал веки, глаза начинало жечь.

Здесь, на уровне земли и на открытом воздухе, ему предстояло возобновить свой труд. Ни у кого еще не было таких тяжелых ящиков. Он поднял их и неверной походкой двинулся вперед. Через десять ярдов ему пришлось опустить их. Он не мог позволить себе пошатнуться. Он должен был идти, как всякий другой человек с поклажей. Ему нельзя было морщиться или слишком внимательно рассматривать ладони. Десять ярдов за один раз — это слишком мало. Он установил для себя минимум в двадцать пять шагов.

Он миновал двор в три приема и вышел на улицу. Она была почти безлюдна. Если кто-нибудь захочет помочь, ему надо будет отказаться, желательно в грубой форме. Он должен выглядеть как человек, не нуждающийся в помощи, тогда ему ее не предложат. Он начал свои двадцать пять шагов. Сам процесс счета немного облегчал его мучения. Трудно было удержаться, чтобы не считать вслух. Он опустил груз и притворился, что смотрит на часы. Без четверти шесть. Движение на Адальбертштрассе уже не такое, как в час пик. Теперь надо дойти до следующего угла. Он подождал, пока все его окружение из прохожих полностью сменится, затем снова взялся за ящики и ринулся вперед. Раньше он обязательно выполнял норму в двадцать пять шагов, но на этот раз, похоже, ему не удастся одолеть и двадцати. Его пальцы беспомощно разжались, и ящики рухнули на тротуар. Один упал набок.

Он ставил его обратно, перегородив дорогу, когда его с недовольным кудактаньем обошла какая-то дама с собакой. Может быть, она выражала мнение всей улицы. Собака, шустрая с виду дворняжка, заинтересовалась ящиком, который поднимал Леонард. Она обнюхала его по всей длине, виляя хвостом, и забежала с другого боку, где вдруг изменила повадку и стала жадно тыкаться в него мордой. Ее вели на поводке, но женщина, видимо, была из тех хозяев, которые не любят мешать своим питомцам. Она терпеливо стояла, ослабив поводок и дожидаясь, пока животное отвлечется само. Она была меньше чем в двух футах от Леонарда, но не смотрела на него. Ее внимание было обращено только на собаку, которая нюхала уже как безумная. Она знала.

— *Komm schon, mein kleiner Liebling. Ist doch nur ein Koffer* — Это просто ящик.

Леонард тоже не отгонял собаку. Ему нужен был повод, чтобы продлить отдых. Но теперь она ворчала и скулила попеременно. Она пыталась сомкнуть челюсти на ребре ящика.

— *Gnädige Frau* — сказал Леонард, — пожалуйста, следите за своей собакой.

Но вместо того чтобы потянуть за поводок, женщина лишь усилила поток ласковых уговоров. «Дурашка, что это ты надумала? Эти вещи принадлежат господину, а не тебе. Пойдем же, моя сосисочка...»

Некая спокойная, отстраненная часть его «я» размышляла о том, что, если бы кто-нибудь захотел от чего-то избавиться, одной голодной собаки было бы мало. Тут понадобилась бы стая. Собака нашла удобное место. Она вцепилась зубами в угол ящика. Она грызла его, ворча и виляя хвостом.

Наконец женщина обратилась к Леонарду.

— Должно быть, у вас там еда. *Wurst*, наверное.

В ее голосе прозвучала обвинительная нотка. Похоже, она решила, что имеет дело с контрабандистом, переправляющим с Востока дешевые продукты.

— Это дорогой ящик, — сказал он, — Если ваша собака испортит его, вам придется отвечать, *gnädige Frau* — Он огляделся, словно в поисках полицейского.

Женщина была оскорблена. Она яростно дернула за поводок и двинулась прочь. Собака взвизгнула и побежала рядом, но затем, кажется, пожалела о своей покорности. Ее хозяйка удалялась, но она стала рваться назад. Сквозь пелену генетической памяти она учуяла шанс всей жизни — безнаказанно пожрать человечину и отомстить за десять тысяч лет рабства, в которое попали ее волчьи предки. Спустя минуту она все еще оглядывалась и слегка упиралась, демонстрируя свою неохоту идти. Но женщина шагала вперед, отвергнув всякие компромиссы.

На ящике остались следы зубов и слюна, но ткань, которой он был обшит, уцелела. Он снова примерился к своей поклаже и поднял ее. Через пятнадцать шагов ему пришлось остановиться. Неодобрение женщины не исчезло вместе с ней, им были заражены взгляды других

прохожих. Что там у него в чемоданах, почему они такие тяжелые? Почему он не пригласил помочь кого-нибудь из друзей? Это что-то незаконное, наверняка контрабанда. Почему он выглядит таким измотанным, этот человек с тяжелыми чемоданами? Почему он не побрился? Рано или поздно Леонард должен был попасться на глаза полицейскому в зеленой форме. Они здесь всегда настороже. Такой уж это город. И власть у нее безграничная, у этой немецкой полиции. Он не сможет отказаться, если они потребуют открыть багаж. Ему нельзя стоять, иначе дело кончится плохо. Он решился на отчаянные перебежки по десять — двенадцать шагов. Он пытался выдать мучительную гримасу напряжения за улыбку respectable приездного, только что с вокзала, который не нуждается ни в пристальном внимании, ни в чужой помощи. Паузы между перебежками он сокращал насколько возможно. Останавливаясь, он озирался из-за едущих мимо машин и делал вид, что заблудился или ищет нужный дом.

Около станции метро «Котбусер-тор» он поставил ящики на край тротуара и сел на них. Он хотел дать передохнуть больной ноге. Он собирался снять туфлю. Но ящики тревожно прогнулись под его тяжестью, и он сразу же встал. Если бы ему удалось поспать минут десять или даже пять, подумал он, тогда управиться с этим грузом было бы гораздо легче.

Он стоял поблизости от *Eckladen*^[40], где они иногда кое-что покупали. Владелец, который заносил внутрь подставки с овощами и фруктами, увидел Леонарда и помахал ему.

— Едете отдыхать?

Леонард кивнул и в то же время сказал:

— Нет, нет еще, — а потом в смятении добавил по-английски: — Я вообще-то по делу, — о чем немедленно пожалел. Каков-то он будет, отвечая на вопросы любопытного полицейского?

Он стоял около ящиков, наблюдая за машинами. Он видел предметы, плывущие на краю его поля зрения: английский почтовый ящик, оленя с высокими рожками, настольную лампу. Когда он оборачивался к ним, они исчезали. Его сны начинались без него. Чтобы прогнать каждый очередной фантом, надо было поворачивать голову. В них не было ничего зловещего. Один за другим кружились бананы, коробка печенья с нарисованным на ней сельским домиком

открылась сама собой. Как ему сосредоточиться, если он все время должен вертеть головой, чтобы не давать этим призракам воли? Осмелится ли он оставить их там, где они есть?

У него был план, придуманный так давно, что теперь он уже сомневался в его разумности. Тем не менее следовало придерживаться этого плана, поскольку другого в запасе не было. И все же одна смутная мысль по-прежнему притягивала Леонарда. Темнело, у машин зажглись фары, магазины закрывались, люди шли домой. Уличный фонарь, ненадежно прикрепленный к ветхой стене у него над головой, загорелся с легким потрескиванием. Какие-то дети прокатили мимо коляску. Такси, которое он высматривал, уже тормозило у тротуара. Он даже не подал знака. Шофер сам увидел его поклажу. Сумерки не помешали ему заметить, какая она тяжелая. Он вышел и открыл багажник.

Это был старый «мерседес» с дизельным двигателем. Леонард думал, что успеет погрузить один ящик прежде, чем к нему притронется шофер. Но получилось так, что они уложили его вместе.

— Книги, — объяснил Леонард.

Шофер пожал плечами. Его это не касалось. Второй ящик они сунули на заднее сиденье. Леонард сел вперед и попросил отвезти его на вокзал Цоо. Обогреватель работал, кресло было огромным и блестящим. Та же мысль опять подкрадывалась к Леонарду. Надо только произнести нужные слова, и он окажется там.

Но он даже не помнил, как такси отъехало от тротуара. Когда он проснулся, оно не двигалось и ящики уже стояли снаружи, бок о бок, а дверца с его стороны была открыта. Видимо, шофер потряс его за плечо. От смущения Леонард дал слишком большие чаевые. Шофер прикоснулся к козырьку фуражки и отошел к группе своих товарищей, собравшихся около привокзальной стоянки. Леонард повернулся к ним спиной, чувствуя, что на него смотрят. Именно из-за них он без заминки одолел со своим грузом десять ярдов, отделявших его от высоких двойных дверей главного здания вокзала.

Едва зайдя внутрь, он поставил их на пол. Здесь ему было спокойнее. Всего в нескольких футах от него строилась дюжина британских солдат, тоже с казенными чемоданами. Все рестораны и торговые точки работали, а наверху, откуда отправлялись поезда к Центральному вокзалу, еще кишел народ, не успевший разъехаться по

домам. За витриной с дамским бельем и книжным киоском висел указатель пути к автоматическим камерам хранения. Повсюду был разлит запах сигар и крепкого кофе, дух немецкого благополучия. Леонард поволок ящики по гладкому полу. Он миновал ларек с фруктами, кафе, магазин сувениров. Какое это было счастье, какая удача! Наконец-то он превратился в законного пассажира, абсолютно незаметного, мало того — пассажира, которому не надо тащить багаж наверх к поездам.

Чтобы попасть в камеру хранения, нужно было немного спуститься по одному из туннелей, отходящих от главного вестибюля. Здесь было круглое помещение, по стенам которого тянулись новенькие ячейки. Они были обращены к центральной стойке, где несли дежурство двое людей в форме, готовые принять багаж и уложить его на специальные полки у себя за спиной. Когда вошел Леонард, перед стойкой ждали своей очереди два или три человека. Он протащил свою поклажу в самый дальний конец комнаты и нашел две свободные ячейки на уровне пола. Он действовал с умышленной неспешностью — подровнял ящики, выпрямился, чтобы достать из кармана захваченную с собой мелочь. Торопиться было некуда. У него была целая горсть монеток по десять пфеннигов. Он открыл ячейку и подтолкнул ящик коленом. Тот остался на месте. Он положил деньги обратно в карман и нажал сильнее. Оглянулся через плечо. Теперь перед стойкой никого не было. Двое мужчин за ней переговаривались и смотрели в его сторону. Он нагнулся, чтобы устранить помеху. Ячейка была на дюйм уже, чем следовало. Он сделал последнюю неуверенную попытку втиснуть туда ящики и бросил. Не будь он таким усталым, он мог бы сейчас принять верное решение. Распрямившись, он увидел, что один из дежурных, с седеющей бородой, жестами подзывает его к себе. Это было логично. Если ваш багаж не входит в ячейку, несите его к стойке. Но он не был готов к этому, его план этого не предусматривал. Стоит ли это делать? Не заинтересуются ли они тем, почему его чемоданы такие тяжелые? Какие полномочия дает им их форма? Запомнят ли они его лицо?

Поджидая Леонарда, бородатый опустил руки на жестяную стойку перед собой. Странно, что служащий рангом не выше обычного швейцара одет как адмирал. Важно было не проявлять робости. Леонард демонстративно поглядел на часы и взялся за ящики. Он

попытался выйти быстро. Он выбрал единственный путь, лежащий поодаль от стойки. Он ждал оклика или звука бегущих шагов. Перед ним был сужающийся коридор, который вел к нескольким двойным дверям. Он не остановился ни разу. Чтобы миновать двери, пришлось повернуться задом. Очутившись на тихой боковой улочке, он поставил ящики у стены и сел на тротуар.

У него не было ясных намерений. Больная нога требовала отдыха. Если бы адмирал догнал его, он сдался бы с радостью. Теперь, когда он сел, необходимость нового плана стала очевидной. Его мысли сочились медленно. Они были выделениями неподвластного ему органа. Он мог оценить продукт, но не участвовал в его создании. Можно еще раз попытаться засунуть ящики в автоматические камеры. Можно уступить их адмиралу. Можно бросить их здесь, на улице. Просто уйти от них. Так ли нужна им недельная отсрочка, которую предоставляют камеры? Именно в этот момент вернулась та приятная, заманчивая мысль. Он может пойти домой. Запереть дверь, принять ванну, посидеть в безопасности среди своих вещей, выспаться в своей постели. А потом, когда силы вернуться к нему, он придумает новый план и выполнит его — чистый, выбритый, бодрый, вне всяких подозрений.

Он видел перед собой дом. Комнаты, большие как поляны, безотказная сантехника, уединение. Он мечтал в полудреме и наконец встал на ноги. Самый короткий путь к такси лежал через здание, мимо адмирала. Но он двинулся в обход, вдоль стены. Его пах болел сильнее, чем нога. С ладоней сдиралась кожа. Дорога заняла у него двадцать минут. Никто за ним не следил, и он отдыхал подолгу. На стоянке он выбрал себе такси, снова большой «мерседес», но на сей раз уже не помогал грузить ящики и воздержался от объяснений. Конечно, извиняться за их тяжесть значило намекать на свою вину.

Он оставил один ящик на тротуаре перед двадцать шестым домом и обеими руками донес второй до самого лифта. Когда он вышел, ящик стоял на прежнем месте, и это удивило его не меньше, чем если бы он пропал. Как ему теперь отличить, чему следует удивляться, а чему нет? Лифт справился с грузом легко. Леонард отпер квартиру и поставил ящики в прихожей, у самой двери. Отсюда он видел в гостиной свет и слышал музыку. Он направился туда. Толкнул дверь в комнату и очутился на вечеринке. Здесь были стаканы, орешки в вазочках,

полные пепельницы, смятые подушки и «Голос Америки» по радио. Все гости разошлись. Он выключил радио, и тишина показалась чересчур внезапной. Он сел на ближайший стул. Его бросили. Друзья, прежний Леонард и его невеста в шуршащем белом платье — все они ушли, а ящики были слишком тяжелы, ячейки слишком узки, адмирал враждебен, и его руки, ухо, плечо, пах и нога пульсировали в унисон.

Он прошел в ванную и долго пил из-под крана. Потом он был в спальне, лежал на спине под одеялом и смотрел в потолок. Приоткрытая дверь и непогашенный свет в прихожей создавали как раз такой полумрак, какой был ему нужен. Когда он закрыл глаза, на него навалилась тошнотворная усталость. Чтобы снова увидеть потолок, ему пришлось сопротивляться, как утопающему. Его веки не были тяжелыми. Пока глаза оставались открытыми, он мог не спать. Он старался не думать. У него все болело. И некому было за ним поухаживать. Он отгонял мысли, концентрируясь на своем дыхании. В таком легком трансе, почти полусне, он провел около часа.

Потом зазвонил телефон, и, не успев толком очнуться, он уже шел к нему. Он пересек прихожую, мельком увидев ящики слева у двери, и ступил в гостиную, не включив света. Телефон стоял на подоконнике. Он схватил трубку, ожидая услышать Марию или, может быть, Гласса. Но это был мужчина с вкрадчивым голосом, и смысл его вводной фразы ускользнул от Леонарда. Что-то насчет пустой пасты в посылке. Затем голос сказал:

— Я звоню по поводу приготовлений к десятому мая, сэр.

Видимо, набрали не тот номер, но Леонарду не хотелось отпускать голос. Он был приятен, звучал мягко и уверенно.

— Да-да, — сказал Леонард.

— Меня просили позвонить и узнать, чего вы хотите, сэр.

Леонарда подкупило именно его «сэр», это по-мужски сдержанное, ненавязчивое уважение. Кто бы ни был этот незнакомец, он поможет. Он говорил как человек, способный унести ящики, не задавая вопросов. Важно было продолжать разговор.

— А что вы предлагаете? — спросил Леонард.

— Что ж, сэр, я мог бы начать где-нибудь подальше, перед входом в здание, когда все будут сидеть внутри, и постепенно приближаться, — ответил голос. — Ну, вы понимаете, сэр. Все разговаривают и пьют, потом один-двое с хорошим слухом замечают

меня первые, а за ними и все остальные, когда подойду ближе. И тут я вхожу прямо в комнату.

— Ясно, — сказал Леонард. Он подумал, что может довериться этому человеку. Надо было лишь дожждаться удобного случая.

— А выбор мелодий пусть будет моей заботой, сэр. Немножко рилов, немножко ламентов^[41]. Когда народ слегка выпьет, вы уж извините меня, сэр, нет ничего лучше хорошего ламенты.

— Это правда, — сказал Леонард, увидев наконец свой шанс. — Мне иногда бывает очень грустно.

— Простите, сэр?

Если бы только этот мягкий голос спросил почему.

— Иногда обстоятельства берут надо мной верх, — сказал Леонард. Голос помедлил, затем ответил:

— Берлин далеко от дома, сэр, для всех нас. — Последовала еще одна пауза, затем: — Сержант Стал говорит, что я нужен вам на час, сэр. Это верно?

Только теперь выяснилось, что голос принадлежит музыканту из Шотландского полка, волынщику Мактагарту. Леонард закруглил разговор как можно быстрее. Он оставил трубку около телефона и вернулся в постель. По дороге он потушил свет в прихожей. Этот звонок подействовал на него благотворно, острие его усталости притупилось. Он чувствовал, что теперь заснуть будет легче.

Он проснулся через несколько часов, полностью освеженный. Судя по тишине, было от двух до трех ночи. Он сел. Ему лучше, понял он, потому что он очнулся с простым решением. Он спасовал перед проблемой, когда нужны были всего-навсего ясная голова и целеустремленность. Теперь, пока железо еще горячо, он может приступить к делу. Затем он опять ляжет спать и проснется свободным от всяких хлопот.

Он вышел из спальни в прихожую. Здесь никогда еще не было так тихо. Он не стал зажигать свет. Достаточно было луны, хотя он не совсем понимал, как ее бесцветные лучи проникают сюда. Он сходил в кухню и взял острый нож. Вернулся в прихожую, стал перед ящиками на колени и расстегнул лямки на обоих. Потом открыл один. Части были уложены аккуратно, как их упаковала Мария. Он вынул кусок, разрезал водонепроницаемую ткань и бережно опустил руку на ковер. Неприятного запаха не было, он не опоздал. Он отодвинул ткань

подальше в сторону, потом принялся разворачивать ногу, бедро и грудь. Крови оказалось удивительно мало, да и ковер был красным. Он разложил части на ковре в прихожей так, чтобы каждая заняла правильное место. Обрисовался человеческий силуэт. Он открыл второй ящик и освободил от материи нижнюю часть туловища и конечности. Теперь оно было перед ним, безголовое тело, лежащее на спине. Голову он держал в руках. Он повернул ее. Под материей угадывался контур носа и неопределенные черты лица.

Но в тот самый момент, когда он поддевал ткань кончиком ножа, чтобы распороть склеенный шов, что-то привлекло его внимание. Он придерживал на полу тяжелую голову, но не мог больше шевельнуть ножом. Ему мешала не перспектива увидеть лицо Отто. И не законченная фигура, лежащая на ковре около него. Дело было в том, что он увидел стену спальни и свою постель. Он заставил свои глаза чуть приоткрыться и увидел очертания собственного тела под одеялом. В течение двух секунд он слышал шум уличного движения, еще не совсем замершего в это ночное время, и видел свое неподвижное тело. Потом его глаза закрылись, и он снова очутился тут, с ножом в руке, пытающийся разрезать шов.

Его встревожило то, что сон кажется таким реальным. Это значило, что все может случиться. Все правила отменены. Он собирал Отто заново, уничтожая результат сегодняшнего труда. Он отодрал кусок прорезиненной ткани, и показалась голова с верхушкой уха. Надо остановиться, подумал он, надо проснуться прежде, чем Отто вновь оживет. С усилием он снова открыл глаза. Он видел часть своей руки и контуры своих ступней под одеялом. Если бы ему удалось шелохнуться или издать какой-нибудь звук, пускай едва слышный, он смог бы вернуть себя назад. Но занятое им тело было инертно. Он хотел пошевелить пальцем ноги. Услышал, как по улице проехал мотоцикл. Если бы кто-нибудь вошел в комнату и дотронулся до него. Он старался закричать. Он не мог разомкнуть губы и набрать в легкие воздух. Его веки тянуло вниз, и он снова оказался в прихожей.

Почему ткань сбоку прилипла к лицу Отто? Конечно, виноват укус, кровь из щеки присохла к материи. Только по этой причине Отто и собирался наказать его. Он потянул ткань, и она отодралась с негромким треском. Дальше пошло легко. Упаковка спала, и голова осталась у него в руках. Глаза пьяницы с красными мешками смотрели

на него, он ждал. Надо было только приложить голову к обрубку шеи, и он вернется к жизни. Следовало оставить его разделенным на части, но теперь было слишком поздно. Голова еще не совсем легла на место, а руки уже потянулись к ножу. Отто садился. Ему видны были открытые ящики, и нож был у него в руке. Леонард опустил перед ним на колени и закинул назад голову, подставляя горло. Отто справится быстро. Но ящики ему придется наполнять самому. Он отвезет Леонарда на вокзал Цоо. Отто — берлинец, они с адмиралом часто выпивают вместе. Снова появилась стена спальни, одеяло, край простыни, подушка. Его тело было свинцовым. Отто ни за что не унесет его в одиночку. Ему поможет волынщик Мактаггарт. Леонард сделал нерешительную попытку крикнуть. Лучше не мешать тому, что должно случиться. Он слышал, как воздух проходит между его зубами. Он попытался согнуть ногу. Глаза закрывались снова, сейчас он умрет. Его голова сдвинулась, она повернулась на дюйм в сторону. Щека коснулась подушки, это прикосновение включило чувство осязания, и он ощутил тяжесть одеяла на своих ногах. Его глаза были открыты, и он мог пошевелить рукой. Мог крикнуть. Он сел и потянулся к лампе.

Даже при свете сон не исчез, он ждал возвращения Леонарда. Леонард хлопнул себя по щеке и встал. Нош не держали его, глаза все еще закрывались. Он кое-как добрался до ванной и сполоснул лицо. На обратном пути он зажег свет в прихожей. Закрытые ящики стояли у двери.

Он не мог рискнуть и лечь снова. Весь остаток ночи он просидел в кровати, подтянув к себе колени, при включенном верхнем свете и выкурил целую пачку из двадцати сигарет. В половине четвертого он пошел на кухню и сварил себе кофе, полный кофейник. К пяти он побрился. От воды щипало ободранные ладони. Он оделся и снова отправился в кухню пить кофе. Его план был прост и хорош. Он сядет со своим грузом в метро и доедет до конца линии. Отыщет там пустынное место, поставит ящики и уйдет.

За полосой усталости пришла новая ясность. Он допил кофе, покурил, неторопливо почистил ботинки и заклеил пластырем ссадины на ладонях. Он насвистывал и напевал «Heartbreak Hotel». Сейчас ему хватало одной лишь свободы от его сна. В семь он поправил галстук, причесался еще раз и надел куртку. Прежде чем открыть дверь, он попробовал поднять ящики. Они были не просто тяжелыми. Их тянуло,

откровенно и неодолимо тянуло к земле. Отто хочет, чтобы его похоронили, подумал он. Но время пока не настало.

Он по очереди перенес ящики к лифту. Когда кабина приехала, он подпер дверцу одним из них, а другой затолкнул внутрь коленом. Нажал нижнюю кнопку, но лифт остановился на следующем этаже. Вошел Блейк. На нем был голубой блейзер с серебряными пуговицами, в руке он держал плоский чемоданчик. Кабина наполнилась запахом его одеколона. Движение вниз возобновилось.

Блейк холодно кивнул.

— Приятный был вечер. Спасибо.

— Спасибо вам, что пришли, — сказал Леонард.

Лифт стал, двери открылись. Блейк смотрел на ящики.

— Это казенные? — Леонард поднял один, но Блейк опередил его со вторым и вынес ящик в вестибюль, — Господи боже. Что у вас там? Это явно не магнитофон.

Вопрос не был риторическим. Они стояли у открытого лифта, и Блейк, видимо, полагал, что ему должны ответить. Леонард замялся. Он собирался сказать, что там магнитофоны.

— Вы везете их в Альтглинике, — продолжал Блейк. — Не сомневайтесь, со мной можно говорить. Я знаю Билла Харви. И имею допуск к «Золоту».

— Это приборы для дешифровки, — сказал Леонард. И потом, поскольку у него возникло опасение, что Блейк может явиться на склад с проверкой, добавил: — Присланные из Вашингтона. Сегодня используем их в туннеле, а завтра отправим назад.

Блейк смотрел на часы.

— Надеюсь, вам подадут спецмашину для доставки. А мне надо бежать, — И, не прибавив больше ни слова, он устремился на улицу, где стоял его автомобиль.

Леонард дождался, пока он уедет, а затем поволок ящики наружу. Надо было приступить к самой тяжелой операции этого дня, нести их на станцию метро «Ной-Вест-Энд» в конце улицы, а встреча с Блейком исчерпала его силы. Он уже вытащил свою кладь на тротуар. Его глаза щипало от солнечного света, опять стали напоминать о себе больные места. На другой стороне проезжей части что-то происходило, но он счел за лучшее не обращать на это внимания. Там был автомобиль с

очень шумным мотором и чей-то голос. Потом мотор заглушили, и голос остался один.

— Эй! Леонард. Черт подери, Леонард!

Гласс вылезал из «жука» и направлялся к нему через Платаненаллее. Его черная борода сверкала от утреннего избытка энергии.

— Где ты, черт возьми, пропадаешь. Вчера весь день тебя искал. Нам надо поговорить... — Тут он увидел ящики, — Постой-ка. Это же наши. Господи, Леонард, что у тебя там?

— Оборудование, — сказал Леонард.

Гласс уже взялся за одну лямку.

— Боже мой, зачем ты его сюда приволок?

— Работал над ним. Всю ночь.

Гласс взвалил ящик себе на грудь. Он собирался пересечь с ним улицу. Но ему пришлось сначала пропустить чужую машину. Он крикнул через плечо:

— Сколько раз говорено, Марнем. Ты знаешь правила. Это безумие. Что ты себе позволяешь?

Он не стал дожидаться ответа. Перебежав мостовую, он опустил ящик на землю и открыл багажник «жука». Там как раз хватило места. Леонарду оставалось только последовать за ним с другим ящиком. Гласс помог ему погрузить его на заднее сиденье. Они сели вперед, и Гласс с силой захлопнул дверцу. Взревел мотор без глушителя.

С первым судорожным рывком машины Гласс прокричал снова:

— Черт побери, Леонард! Зачем ты так меня подводишь? Я не успокоюсь, пока мы не вернем эти вещи туда, где им полагается быть!

Всю дорогу на склад Леонарду хотелось думать о часовых, которые обязаны будут открыть ящики, в то время как Гласс, чье негодование наконец улеглось, хотел говорить о приближающейся годовщине. Очень скоро они должны были оказаться на месте. Гласс давно отыскал короткий маршрут, и за десять минут они проехали Шёнеберг и обогнули по кромке летное поле аэропорта Темпельхоф.

— Вчера я оставил на твоей двери записку, — сказал Гласс. — Ты не отвечал на звонки, а потом у тебя всю ночь было занято.

Леонард не отрываясь смотрел в дыру у себя под ногами. Несущийся внизу асфальт гипнотизировал. Сейчас его ящики будут открыты. Он так устал, что был почти рад этому. Начнется процесс, арест, допросы и все прочее, и он с удовольствием отдастся течению. Он не станет ничего объяснять, пока ему не позволят как следует выспаться. Это будет его единственным условием.

— Я снял с рычага трубку, — сказал он, — Я работал.

Они ехали на четвертой скорости, но делали намного меньше двадцати миль в час. Стрелка спидометра дрожала.

— Нам надо кое-что обсудить, — сказал Гласс. — Давай говорить откровенно, Леонард. Я здорово огорчен.

Леонард видел перед собой чистую белую камеру, койку со свежими простынями, и тишину, и человека за дверью, приставленного для охраны.

— Правда? — сказал он.

— По нескольким причинам, — продолжал Гласс. — Во-первых, у тебя было больше ста двадцати долларов на развлечения для нашего вечера. Я так понимаю, ты спустил все на один номер. На один час.

Возможно, у ворот дежурит кто-нибудь из его давних знакомых, Ли, Джейк или Гови. Они вынут кусок. *Сэр, это не электронное оборудование, это человеческая рука.* Кого-нибудь может стошнить. Например, Гласса, который как раз переходил ко второму пункту.

— Во-вторых. Все эти сто двадцать долларов ушли на единственного парня с волынкой. По-твоему, все кругом обожают волынку? Покажи мне хоть одного такого идиота. Мы что, должны сидеть целый час и слушать эти дурацкие завывания?

Иногда в дыре мелькала белая полоса. Леонард пробормотал туда:
— Можно потанцевать.

Гласс театрально хлопнул себя по глазам. Леонард не отрывал взгляда от дырки. «Жук» по-прежнему ехал прямым курсом.

— В-третьих. Там наверняка будут большие шишки из разведслужб, между прочим, и из вашей тоже. Знаешь, что они скажут?

— Когда народ слегка выпьет, — сказал Леонард, — нет ничего лучше хорошего ламенты.

— Именно что ламенты. Они скажут, так-так, американская закуска, немецкие вина и *шотландские* развлечения. Разве Шотландия участвует в операции? У нас с ней что, особые отношения? Может, Шотландия вступила в НАТО?

— Была еще поющая собака, — промямлил Леонард, не поднимая головы, — Эта, правда, английская.

Гласс его не слышал.

— Леонард, ты провалил все дело, и надо исправить его сегодня утром, пока еще не поздно. Мы доставим на место это оборудование, а потом я отвезу тебя в казармы Шотландского полка в Шпандау. Ты переговоришь с сержантом, отменишь волынщика и заберешь обратно наши деньги. Ну как?

Их обгоняла колонна грузовиков, поэтому Гласс не заметил, что его пассажир хихикает.

Появились антенны на крыше склада. Гласс сбрасывал скорость.

— Этим ребятам придется показать, что у нас тут. Пусть смотрят, но что это такое, им знать не обязательно.

Приступ истерического смеха прошел.

— О боже, — сказал Леонард.

Они остановились. Гласс начал опускать стекло, часовой направился в их сторону. Его лицо было им незнакомо.

— Новичок, — сказал Гласс. — И приятель его тоже. Значит, дольше провозимся.

Лицо, появившееся в окне, было большим и розовым, глаза горели служебным рвением.

— Доброе утро, сэр.

— Доброе утро, солдат, — Гласс передал ему оба пропуска. Часовой выпрямился и с минуту изучал их. Гласс сказал, не понижая

голоса: — Этих ребят учат бдительности. Им надо отслужить месяцев шесть, тогда они немного оттают.

Это была правда. Гови наверняка узнал бы их и махнул, чтобы проезжали.

Восемнадцатилетнее лицо снова возникло в окне. Пропуска были переданы обратно.

— Сэр, я должен проверить багажник и заглянуть в этот ящик.

Гласс вылез из машины и открыл капот. Он вытащил ящик на дорогу и опустился перед ним на колени. Со своего места Леонард видел, как он расстегивает лямки. Оставалось всего секунд десять. В конце концов, можно просто побежать отсюда по дороге. Вряд ли это ухудшит дело. Он выбрался из машины. Второй часовой, который выглядел еще моложе первого, подошел к Глассу сзади и тронул его за плечо.

— Сэр, мы хотели бы проверить это в караульном помещении.

Гласс разыгрывал немую сцену бурного спора с кем-то невидимым. Энтузиазм, с которым он пасовал перед правилами секретности, должен был служить примером. Одна из лямок была уже расстегнута. Не обращая на это внимания, он взвалил ящик себе на грудь и, пошатываясь, поволок его в будку на обочине дороги. Первый солдат, открывший Глассу дверцу машины, вежливо отступил в сторону, чтобы не мешать Леонарду вытаскивать другой ящик. Подняв его обеими руками, Леонард побрел за Глассом, а двое часовых отправились следом.

В караулке был деревянный столик с телефоном. Гласс убрал телефон на пол и, крикнув, водрузил ящик на стол. Вчетвером они еле умещались вокруг. Леонард достаточно хорошо знал Гласса и понимал, что все эти хлопоты и перетаскивания испортили ему настроение. Он отступил назад, шумно дыша носом и поглаживая бороду. Он принес ящик, остальное полагалось делать часовым. И они могли не сомневаться в том, что о любой их ошибке будет доложено по инстанции.

Свой ящик Леонард поставил у стола. Он намеревался подождать снаружи, чтобы не присутствовать при самой проверке. После того сна он не хотел больше ничего видеть. Вдобавок было весьма вероятно, что кого-нибудь из молодых солдат вырвет в тесном помещении. Если не всех троих. Однако он задержался на пороге. Трудно было туда не

смотреть. Его жизнь вот-вот должна была измениться, но он не чувствовал ничего особенного. Он сделал все возможное и знал, что он не такой уж дурной человек. Первый часовой отставил винтовку и принялся расстегивать вторую лямку. Леонард наблюдал за этим словно издалека. Мир, который мало интересовался Отто Экдорфом, готов был взорваться негодованием после его смерти. Солдат поднял крышку, и все посмотрели на свертки внутри. Они были упакованы экономно, но все же мало походили на электронные приборы. Даже Гласс не мог скрыть любопытства. Запах клея и резины был густым, как табачный дым. Из ничего у Леонарда родилась мысль, и он приступил к действиям не размышляя. Он протиснулся к столу как раз в тот миг, когда часовой протянул руку, чтобы вынуть один из свертков.

Леонард взял юношу за запястье.

— Прежде чем этот осмотр будет продолжен, мне надо сказать несколько слов лично мистеру Глассу. Возможны серьезные осложнения, связанные с секретностью, и мне не потребуется больше минуты.

Солдат убрал руку и повернулся к Глассу. Леонард закрыл ящик.

— Ну как, согласны? — спросил Гласс. — Только минуту.

— Пожалуйста, — ответил один из часовых.

Вслед за Леонардом Гласс вышел из будки. Они остановились у красно-белого шлагбаума.

— Извини, Боб, — сказал Леонард, — я не знал, что они полезут внутрь.

— Они новенькие, только и всего. Напрасно ты вывозил отсюда оборудование.

Леонард оперся на шлагбаум. Терять ему было нечего.

— Я сделал это не без причины. Послушай. Боюсь, мне придется остановить эту проверку, чтобы избежать более серьезных нарушений. Я должен сказать тебе, что у меня допуск четвертой степени.

Гласс подобрался, точно по команде «смирно».

— Четвертой степени?

— Это связано с технической стороной дела, — сказал Леонард и полез за бумажником, — У меня четвертый допуск, а эти ребята собираются запустить лапы в то, что их абсолютно не касается. Я хочу, чтобы ты позвонил Макнами на Олимпийский стадион. Вот его карточка. Пусть он свяжется с дежурным офицером. Осмотр должен

быть прекращен. Содержимое этих ящиков сверхсекретно. Скажи об этом Макнами, он поймет, о чем речь.

Гласс не стал задавать вопросы. Он повернулся и быстро пошел обратно в будку. Леонард слышал, как он велел часовым закрыть ящик и затянуть ляжки. Кто-то из них, должно быть, попытался возразить, потому что Гласс прикрикнул: «А ну живо, солдат. Не воображай о себе слишком много!»

Пока Гласс говорил с Макнами, Леонард бродил по обочине. Весеннее утро обещало быть чудесным. В канаве у дороги росли желтые и белые цветы. Здесь не было растений, которые он мог бы определить. Через пять минут Гласс вышел из караульного помещения. Солдаты несли ящики за ним. Леонард с Глассом подождали, пока они вновь погрузят багаж в машину. Затем часовые подняли шлагбаум и, пропуская их автомобиль, вытянулись по стойке «смирно».

— Дежурный офицер чуть шкуру не спустил с этих бедолаг, — сказал Гласс. — А Макнами — с дежурного офицера. Видать, у тебя там секрет не из последних.

— Это точно, — сказал Леонард.

Гласс остановил машину и выключил двигатель. Дежурный офицер и двое солдат ждали их около двойных дверей. Прежде чем вылезти, Гласс положил руку на плечо Леонарду и сказал:

— А ты далеко продвинулся с тех пор, как жег во дворе картон.

Они вышли. Леонард ответил поверх крыши «жука»:

— Я считаю, что мне оказали честь.

Солдаты взяли ящики. Дежурный офицер спросил, куда их отнести, и Леонард назвал туннель. Он хотел пойти туда и немного успокоиться. Но Гласс и дежурный офицер отправились с ним, а солдаты шагали следом. Когда они спустились в яму, ящики погрузили на маленькую деревянную тележку, и солдаты повезли ее, толкая перед собой по рельсам. Они миновали мотки колючей проволоки, за которыми начинался русский сектор. Через несколько минут они все протиснулись мимо усилителей, и Леонард показал место под столом, куда надо было поставить груз.

— Черт возьми, — удивился Гласс, — Я сто раз проходил мимо этих ящиков, и ни разу мне даже в голову не пришло заглянуть туда.

— И сейчас не стоит, — сказал Леонард.

Дежурный офицер взял проволоку и опечатал ящики.

— Чтобы никто не открыл без вашей санкции, — сказал он.

Они отправились в столовую выпить кофе. Леонардов допуск четвертой степени явно поднял его в глазах американца. Когда Гласс наполнил о поездке в Шпандау на встречу с сержантом из Шотландского полка, Леонард самым естественным образом приложил руку ко лбу.

— Не могу. Я две ночи не спал. Давай лучше завтра.

И Гласс ответил ему:

— Ладно, не волнуйся. Я все сделаю сам.

Он предложил Леонарду подбросить его домой. Но Леонард не был уверен, что ему стоит ехать туда. У него появились новые проблемы. Он хотел обдумать их в каком-нибудь спокойном месте. Поэтому Гласс высадил его на окраине города у «Гренцаллее», конечной станции метро.

Несколько минут после отбытия Гласса Леонард ходил по вестибюлю станции, наслаждаясь свободой. Он таскал эти ящики месяцы, годы. Он сел на скамью. Их больше с ним не было, но он еще не избавился от них. Он сидел и смотрел на свои заклеенные пластырем ладони. Температура в туннеле достигала восьмидесяти градусов^[42], а под столом около усилителей могла быть и выше. Через два дня, если не раньше, от ящиков начнет пахнуть.

Возможно, их и удалось бы вынести оттуда под каким-нибудь соусом, если бы его снова выручил четвертый допуск, но Макнами наверняка уже едет на склад со стадиона, горя нетерпением узнать, какое такое оборудование попало Леонарду в руки. Ситуация казалась безвыходной. Он собирался оставить ящики вблизи железной дороги, по которой путешествовали массы людей, в том числе и из-за границы, а кончил тем, что оставил их в крохотной комнатке, где они были однозначно связаны с ним. Да, теперь он влип. Он пытался сосредоточиться и найти выход, но в голове у него вертелась лишь мысль о том, как безнадежно он влип.

Напротив его скамьи находилась билетная касса. Он опустил голову на грудь. На нем был хороший костюм с галстуком и начищенные ботинки. Можно было не опасаться, что его примут за бродягу. Он вытянул ноги и спокойно проспал два часа. Хотя сон его был глубоким, Леонард слышал шаги пассажиров, отдающиеся эхом в

вестибюле станции, и ему было приятно сознавать, что он спит в безопасности среди этих незнакомых людей.

Он очнулся в ужасе. Было десять минут первого. Наверное, Макнами уже ищет его на складе. Если ученый проявит беспечность или нетерпение, он может даже воспользоваться своей властью и вскрыть печати на ящиках. Леонард встал. В его распоряжении оставался только час или два. Ему нужно было с кем-то поговорить. Мысль о Марии причиняла боль. Он не мог пойти в ее квартиру. Он отсидел себе зад на жестких планках скамьи, его костюм помялся. Он побрел к кассе. Усталость мешала ему соображать. Вместо этого он просто начал действовать, будто повинуясь приказам. Он купил билет до «Александерплац» в русском секторе. Поезд уже стоял на путях, а на «Германплац», где ему надо было сделать пересадку, сразу появился второй. Эта удача укрепила Леонарда в его намерениях. Что-то влекло его к цели, к огромному, устрашающему решению. От «Александерплац» пришлось десять минут идти по Кёнигштрассе. Один раз он остановился и спросил дорогу.

Нужное ему заведение оказалось просторней, чем он воображал. Ему представлялось что-то маленькое и уютное, с высокими кабинками для перешептываний. Но кафе «Прага» было гигантским, с недостижимым закопченным потолком и десятками маленьких круглых столиков. Он выбрал заметное место и попросил кофе. Когда-то Гласс говорил ему, что надо только дожждаться, пока к тебе подойдет один из Hundert Mark Jungen. Время было обеденное, и в кафе стягивался народ. Леонард видел за столиками множество посетителей с серьезными лицами. Они могли с равной вероятностью быть местными служащими и шпионами из полудюжины стран.

Он коротал время, рисуя карандашом план на бумажной салфетке. Прошло пятнадцать минут, но ничего не случилось. Значит, это просто очередная берлинская легенда. Говорили, что кафе «Прага» стало биржей неофициального обмена информацией. А на самом деле оно оказалось обыкновенным, скучным восточноберлинским кафе, где подавали слабый тепленький кофе. Он пил третью чашку, и его уже тошнило. Он не ел два дня. Он полез в карман за восточными марками, и тут напротив него сел юноша с лицом, пылающим веснушками.

— *Vous êtes français*^[43]. — Это было утверждением.

— Нет, — сказал Леонард. — Я англичанин.

Незнакомец был примерно одного возраста с Леонардом. Он поднял руку, подзывая официанта. Он явно не чувствовал необходимости что-то объяснять или извиняться за ошибку. Ему надо было просто завязать разговор. Он заказал два кофе и протянул над столом крапчатую руку.

— Ханс.

Леонард пожал ее и ответил:

— Генри, — Так звали его отца, и это казалось меньшей ложью.

Ханс вынул пачку «Кэмела», предложил ему и с заметным самодовольством щелкнул «зиппо». Его английский был безупречен.

— Раньше я вас тут не видел.

— Раньше я тут не бывал.

Принесли здешний кофе, который мало напоминал настоящий, и после ухода официанта Ханс сказал:

— Ну как, нравится вам в Берлине?

— Нравится, — сказал Леонард. Он не ожидал, что придется вести светскую беседу, но это, видимо, входило в правила игры. Он хотел все сделать правильно и потому вежливо спросил:

— Вы здесь выросли?

Ханс сообщил, что провел детство в Касселе. Когда ему было пятнадцать, его мать вышла за берлинца. Леонард с трудом следил за его рассказом. От бессмысленных подробностей его бросало в жар, а тут Ханс начал еще выпрашивать его о жизни в Лондоне. Леонард бегло описал свои детские годы в Англии, сказав в заключение, что Берлин кажется ему гораздо интересней. Однако он тут же пожалел о своих словах.

— В это трудно поверить, — произнес Ханс. — Ведь Лондон — столица мира. А Берлин — конченный город. Вся его слава в прошлом.

— Возможно, вы правы, — сказал Леонард. — Возможно, мне просто нравится жить за границей, — Это тоже было ошибкой, поскольку разговор перешел на удовольствия, связанные с туризмом. Ханс спросил Леонарда, где он бывал еще, и у Леонарда не хватило сил солгать. Он был в Уэльсе и Западном Берлине.

Ханс призывал его к большей отваге.

— Вы же англичанин, вы можете себе это позволить, — Затем последовал перечень мест, которые Ханс рассчитывал посетить. Его открывали Соединенные Штаты. Леонард посмотрел на часы. Было

десять минут второго. Он не знал, что это должно означать. Может быть, его ищут люди со склада. Он не знал, что он им скажет.

Как только Леонард посмотрел на часы, Ханс закруглил свое перечисление и окинул зал взглядом. Потом сказал:

— Генри, по-моему, вы не зря сюда пришли. Вы хотите что-нибудь купить, верно?

— Нет, — сказал Леонард. — Я хочу сообщить кое-что нужному человеку.

— У вас есть что продать?

— Платить не обязательно. Могу сообщить просто так.

Ханс снова угостил Леонарда сигаретой.

— Послушайте, друг мой. Я дам вам совет. Если вы будете предлагать то, что у вас есть, бесплатно, люди подумают, что это не стоит внимания. А если это важно, вы должны назначить цену.

— Хорошо, — ответил Леонард. — Если кто-то захочет мне заплатить, я не откажусь.

— Я мог бы выслушать вас и продать это сам, — сказал Ханс. — Вся выручка была бы моя. Но вы мне нравитесь. Может быть, я когда-нибудь навещу вас в Лондоне, если вы дадите мне адрес. Поэтому я возьму комиссионные. Пятьдесят процентов.

— Годится, — сказал Леонард.

— Договорились. Так что у вас есть?

Леонард понизил голос:

— Информация для советских Вооруженных сил.

— Отлично, Генри, — сказал Ханс нормальным тоном. — Сегодня сюда зашел мой приятель, который знает кое-кого из высшего командования.

Леонард вынул свою карту.

— С восточной стороны шоссе Шёнефельдер, чуть севернее кладбища, вот здесь, в Алытлинке, прослушиваются их телефонные линии. Они идут по обочине. Я пометил, где надо искать.

Ханс взял карту.

— Как они могли туда подключиться? Это невозможно.

Леонарду не удалось скрыть гордость.

— Там туннель. Я нарисовал его потолще. Он начинается от здания в американском секторе. Оно замаскировано под радиолокационную станцию.

Ханс покачал головой.

— Слишком далеко. Это невозможно. Никто не поверит. Мне и двадцати пяти марок не дадут.

Леонарда разбирал смех.

— Это огромная работа. Верить не надо. Надо просто пойти и посмотреть.

Ханс взял карту и встал. Он пожал плечами и сказал:

— Я поговорю с другом.

Леонард смотрел, как он идет в дальний конец помещения и говорит там с человеком, скрытым колонной. Потом оба вышли через вращающиеся двери туда, где были телефоны и уборные. Спустя несколько минут вернулся Ханс, гораздо более оживленный.

— Друг говорит, это по меньшей мере любопытно. Сейчас он пытается найти своего знакомого.

Ханс зашагал обратно. Леонард подождал, пока он исчезнет из виду, а затем покинул кафе. Пройдя по улице ярдов пятьдесят, он услышал оклик. За ним бежал человек, подпоясанный белой скатертью, размахивая листком бумаги. Он задолжал за пять кофе. Едва он расплатился и принес свои извинения, как его нагнал Ханс. Веснушки на его лице сияли под солнцем.

Официант ушел, и Ханс сказал:

— Вы собирались дать мне свой адрес. И еще. Мой друг заплатил двести марок.

Леонард двинулся дальше, но Ханс не отставал. Тогда Леонард сказал:

— Возьмите себе деньги, а мой адрес останется при мне.

Ханс взял Леонарда под локоть.

— Мы так не договаривались.

Его прикосновение вызвало у Леонарда приступ ужаса. Он вырвал руку.

— Я вам не нравлюсь, Генри? — сказал Ханс.

— Нет, — ответил Леонард, — Пошел к черту, — Он ускорил шаг. Когда он оглянулся через плечо, Ханс уже направлялся обратно к кафе.

На Александерплац Леонарда вновь охватило смутение. Ему хотелось сесть и дать ноге отдых, но прежде он должен был сообразить, куда идти. Надо было повидаться с Марией, но он знал, что еще не в силах говорить с ней. Он поехал бы домой, но там его мог

ждать Макнами. Если ящики уже вскрыли, с ним явится и военная полиция. В конце концов он купил билет до «Ной-Вест-Энд», подумав, что в поезде ему легче будет справиться с мыслями.

Он вышел на «Цоо», решив пойти в парк и поспать где-нибудь в укромном уголке. День был солнечный, но, когда он побродил минут двадцать и отыскал тихое местечко на берегу канала, ветер показался ему слишком свежим, чтобы не обращать на него внимания. С полчаса он лежал на аккуратно подстриженной траве, пытаясь унять дрожь. Потом вернулся через весь парк на станцию и поехал домой. Теперь он мечтал только о том, чтобы выспаться. Если его ждет полиция, он всего лишь ускорит неизбежную развязку. Если там Макнами, он сочинит что-нибудь на ходу.

Он сам не заметил, как добрался от «Ной-Вест-Энд» до Платаненаллее. От усталости он не чувствовал под собой ног. Его словно несла домой посторонняя сила. В квартире никого не оказалось. В почтовую щель были опущены две записки. Одна от Марии: «Где ты? Что происходит?» Другая от Макнами: «Позвоните мне», с тремя телефонными номерами. Леонард отправился напрямик в спальню и задернул шторы. Снял с себя всю одежду. Он не стал возиться с пижамой. Меньше чем через минуту он наконец канул в сон.

Не прошло и часа, как он очнулся с сильным желанием бежать в туалет. Звонил телефон. Он помедлил в прихожей, не зная, куда двинуться сначала. Подошел к телефону и, уже взяв трубку, понял, что сделал это напрасно. Он не сможет сосредоточиться.

Это был Гласс, он говорил издалека и казался очень расстроенным. На заднем плане слышался какой-то шум. Все происходило точно в дурном сне.

— Леонард, Леонард, это ты?

Голый, дрожа в сумраке гостиной, Леонард скрестил ноги и сказал:

— Да, я.

— Леонард? Ты это или нет?

— Да, Боб, это я, я здесь.

— Слава богу. Слушай. Ты меня слушаешь? Ты должен сказать мне, что было в тех ящиках. Сейчас же.

Леонард почувствовал, как у него слабеют ноги. Он сел на ковер среди неубранных остатков вечеринки.

— Их открыли? — спросил он.

— Ну давай, Леонард. Говори.

— Во-первых, это секретно, Боб, и потом, линия может прослушиваться...

— Кончай пудрить мне мозги, Марнем. Здесь и так ад кромешный. Что было в ящиках?

— А что происходит? Откуда весь этот грохот?

Гласс старался перекричать шум.

— Господи боже! Разве тебе не сообщили? Они нас обнаружили. Ворвались в камеру. Наши еле унесли ноги. Никто не успел закрыть стальные двери. Теперь они заняли весь туннель, до самой границы между секторами. На всякий случай мы все вывозим со склада. Через час мне надо быть у Харви, отчитываться за понесенный ущерб. Я должен знать, что было в ящиках, Леонард!

Но Леонард не мог говорить. У него перехватило дыхание от восторга и благодарности. Как все просто и быстро. А теперь все покроет великое русское безмолвие. Он может одеться, пойти к Марии и сказать ей, что им больше ничто не грозит.

Гласс громко звал его по имени.

— Извини, Боб, — сказал Леонард, — Меня потрясли твои новости.

— Ящики, Леонард. Ящики!

— Ладно. Там был труп человека, который я разрубил на куски.

— Тьфу, черт. Мне сейчас не до шуток!

Леонард пытался говорить так, чтобы в его голосе не слышалось радости.

— Тебе не о чем беспокоиться, Боб. Там было декодирующее оборудование, которое я делал сам. Но я не закончил сборку, и теперь выяснилось, что эти схемы устарели.

— Почему тогда утром заварилась такая каша?

— Все, что относится к декодированию, проходит по четвертой степени, — сказал Леонард, — Но послушай, Боб, когда это случилось?

Гласс говорил с кем-то другим. Он отвлекся.

— Что-что?

— Когда захватили туннель?

— В двенадцать пятьдесят восемь, — без запинки ответил Гласс.

— Нет, Боб. Этого не может быть.

— Слушай, если тебя интересуют подробности, включи *Deutschlandsender*^[44]. Там только об этом и говорят.

У Леонарда похолодело в животе.

— Они не могут обнародовать это.

— Так мы считали. Что они потеряют лицо. Но комендант советского гарнизона в Берлине сейчас в отъезде. Его заместитель, малый по фамилии Коцюба, должно быть, псих. Для него главное — пропаганда. Они будут выглядеть полными идиотами, но это их не смущает.

Леонард думал о своей недавней шутке.

— Не может быть, — повторил он.

Кто-то снова отвлекал Гласса от разговора. Он заторопился.

— Завтра у них пресс-конференция. В субботу они поведут корреспондентов в туннель на экскурсию. Хотят открыть его для свободного посещения. Туристская достопримечательность, памятник коварству американцев. Леонард, они выжмут из этого все, что смогут.

Он дал отбой, и Леонард поспешил в туалет.

Джон Макнами назначил Леонарду встречу в «Кемпински» и выбрал столик снаружи. Не было еще и десяти утра, и все прочие посетители сидели внутри. День снова обещал быть солнечным и холодным. Всякий раз, как солнце пряталось за огромным белым кучевым облаком, воздух становился ледяным.

В последнее время Леонард плохо переносил холод. Его непрерывно знобило. Наутро после звонка Гласса он заметил, что у него дрожат руки. Это была не просто мелкая дрожь — его трясло, как паралитика, и на застегивание рубашки ушло несколько минут. Он решил, что это запоздалый мышечный спазм, вызванный перетаскиванием ящиков. Придя в закусочную на Райхсканцлерплац, чтобы поесть в первый раз за два с лишним дня, он уронил сардельку на тротуар. Чья-то собака тут же съела ее вместе с горчицей.

В «Кемпински» он занял место на солнце, но сидел не снимая пальто и сжимал зубы, чтобы они не стучали. Он боялся, что не сможет удержать чашку с кофе, и взял пива, которое тоже было ледяным. Макнами, похоже, прекрасно себя чувствовал в твидовом пиджаке, надетом поверх тонкой рубашки. Когда ему принесли кофе, он набил трубку и закурил. Ветер дул в сторону Леонарда, и от запаха дыма и связанных с ним ассоциаций его замутило. Он вышел в уборную, чтобы потом незаметно пересесть. Вернувшись, он выполнил свое намерение, но теперь оказался в тени. Запахнув поплотнее пальто, он подсунул под себя руки. Макнами передвинул к нему нетронутое пиво. Стеклянная кружка запотела, две капельки пробирались по ней ломаным параллельным курсом.

— Ну, — сказал Макнами, — давайте поговорим.

Леонард чувствовал, как его руки дрожат под ягодицами. Он сказал:

— Поскольку мне не удалось ничего разузнать у американцев, я стал проверять кое-какие собственные идеи. Начал собирать схему в свободное время. Я действительно надеялся, что смогу отделить от кодированного сообщения эхо ясного текста. Ради безопасности я работал дома. Но у меня ничего не вышло. Да и сами идеи оказались устарелыми. Тогда я повез все на склад, чтобы демонтировать у себя в

комнате, где я держал запасные детали. Мне и в голову не пришло, что меня станут так тщательно обыскивать. Но у ворот дежурили два новичка. Это бы неважно, но со мной был Гласс. Я не хотел, чтобы он увидел мои заготовки. Мне трудно было бы объяснить, какое отношение они имеют к моим прямым обязанностям. Извините, если пробудил у вас неоправданные надежды.

Макнами постучал черенком трубки по своим корявым желтым зубам.

— Часок-другой я таки поволновался. Решил, что вы каким-то образом раздобыли нельсоновский прибор. Ну да ладно. Я думаю, на Доллис-хилл не сегодня-завтра дойдут до всего своим умом.

Теперь, когда ему поверили, Леонарду хотелось уйти. Он должен был согреться, а также просмотреть сегодняшние газеты.

Но Макнами настроился порассуждать. Он заказал еще одну чашку кофе и липкий яблочный пирожок.

— Я предпочитаю думать о плюсах. Мы знали, что это не может длиться вечно, а ведь эксплуатация продолжалась почти год. На обработку накопленного материала в Лондоне и Вашингтоне уйдет несколько лет.

Леонард потянулся за пивом, но передумал и убрал руку.

— С точки зрения международного сотрудничества и всего такого прочего хорошо уже то, что мы успешно работали с американцами над серьезным проектом. После Бёрджесса и Маклина они не слишком нам доверяли. Теперь все изменилось к лучшему.

Наконец Леонард улучил момент, извинился и встал. Макнами остался сидеть. Вновь набивая трубку, он поднял глаза на Леонарда, в спину которому светило солнце, и прищурился.

— Похоже, вам не мешает отдохнуть. Вы, наверное, знаете, что вас отзывают. Ответственный за перемещения свяжется с вами.

Они обменялись рукопожатием. Леонард замаскировал свою дрожь наигранным энтузиазмом. Макнами, кажется, ничего не заметил. Его последней фразой, обращенной к Леонарду, было:

— Вы хорошо себя проявили, несмотря ни на что. Я замолвлю за вас словечко на Доллис-хилл.

— Благодарю вас, сэр, — сказал Леонард и поспешил вверх по Курфюрстендамм к газетному киоску.

Он проглядел газеты, пока ехал в метро на «Котбусер-тор». Прошло два дня, но интерес восточногерманской прессы к истории с туннелем еще не угас. И «Тагесшпигель», и «Берлинер цайтунг» давали полные развороты с фотографиями. На одной были видны усилители и край стола, под которым находились ящики. По какой-то причине телефоны в камере прослушивания еще работали. Репортеры пытались звонить, но не получали ответа. Освещение и вентиляция тоже были в исправности. Приводились подробные описания участка туннеля от шоссе Шёнефельдер до мешков с песком, обозначающих границу с американским сектором. За мешками была «сплошная тьма, в которой мерцали только два сигаретных огонька. Но наблюдатели не ответили на наш оклик. Наверное, им было совестно». В другом месте Леонард прочел: «Весь Берлин возмущен закулисными махинациями отдельных американских офицеров. Только когда эти агенты оставят свою провокационную деятельность, в городе наступит мир». Один заголовок гласил: «Загадочные помехи на линии». В статье под ним рассказывалось, как советская разведка обратила внимание на шумы, мешающие нормальному телефонному сообщению. Был отдан приказ раскопать несколько участков кабеля. В тексте не говорилось, почему выбор пал именно на шоссе Шёнефельдер. Когда военные ворвались в камеру прослушивания, «все позволяло сделать вывод, что шпионы ретировались в панике, бросив свое оборудование». На флюоресцентных лампочках стояло английское клеймо «Оз-рам», «явно попытка навести на ложный след. Но отвертки и разводные ключи выдали позорную тайну: на всех были слова „Сделано в США“». Внизу страницы жирным шрифтом: «Представитель американских вооруженных сил в Берлине отвечает на вчерашний запрос: „Мне ничего об этом не известно!“»

Он бегло просмотрел все репортажи. Задержка сообщения о находке ящиков угнетала его. Возможно, газетчики рассчитывали придержать эту историю и тем самым добиться большего эффекта в дальнейшем. Наверно, расследование уже началось. Если бы не его дурацкая выходка в разговоре с Глассом, от заявления русских о том, что ими обнаружено расчлененное тело в двух чемоданах, легко было бы отмахнуться. Если восточногерманские власти втихую передали дело западноберлинской Kriminalpolizei, им стоит только спросить у американцев, и ящики сразу выведут их на Леонарда.

Даже если американцы откажутся сотрудничать, полиции несложно будет опознать Отто. Должно быть, по анализу любой ткани его тела легко определить, что он пил. Скоро заметят, что он не показывается там, где обычно ночевал, что он не явился за пособием, что он больше не заходит в свою излюбленную Кнейре, где свободные от службы полицейские угощали его пивом. Несомненно, после обнаружения трупа в полиции первым делом изучают список пропавших без вести. Между Отто, Марией и Леонардом существовали бесчисленные и сложные бюрократические связи: расторгнутый брак, спор о жилье, обнародованная помолвка. Но в этом смысле, разумеется, ничего бы не изменилось, даже оставь Леонард ящики на станции «Цоо». О чем они тогда думали? Сейчас трудно было вспомнить. Их станут допрашивать, но никаких противоречий в их рассказах не будет, и в квартире Марии не удастся найти ни единого следа. Возможно, на них падет подозрение, но и только.

Да и в чем, собственно, он виноват? В том, что убил Отто? Но это была самозащита. Он вторгся в спальню, он напал первым. В том, что не сообщил о его смерти? Но это было всего лишь самым разумным, если учесть, что им никто бы не поверил. В том, что расчленил тело? Но Отто все равно был уже мертв, так что какая разница. В том, что спрятал труп? Но это было абсолютно логичным шагом. В том, что обманул Гласса, часовых, дежурного офицера и Макнами? Но он просто хотел уберечь их от неприятных фактов, которые их не касались. В том, что выдал туннель? Печальная необходимость, с учетом всех предшествующих событий. А теперь и Гласс, и Макнами, и все прочие говорят, что это рано или поздно случилось бы. Это не могло длиться вечно. Они и так эксплуатировали туннель почти целый год.

На нем не было вины, это он знал. Так почему тогда у него дрожат руки? От страха, что его найдут и покарают? Но он хотел, чтобы это произошло, и как можно быстрее. Хотел перестать думать об одном и том же, хотел выговориться перед официальным лицом, чтобы его признание напечатали и дали ему подписаться под ним. Хотел дать подробный отчет о событиях, чтобы те, в чьи обязанности входит официальное закрепление истины, могли понять, что одно неизбежно вело к другому, что, несмотря на видимость, он не чудовище и не безумный потрошитель мирных горожан и что вовсе не сумасшествие

побудило его таскать свою жертву по Берлину в двух чемоданах. Время от времени он мысленно излагал факты перед воображаемыми обвинителями. Если эти люди привержены правде, они обязательно посмотрят на вещи с его точки зрения, пусть даже законы и условности будут вынуждать их наказать его. Он повторял свою версию, это было его единственным занятием. Каждую сознательную минуту он объяснял, вспоминал, уточнял, едва ли замечая, что это происходит не в действительности и что он уже проделывал все это десять минут назад. *Да, господа, я согласен с вами, я действительно повинен в убийстве, расчленении тела, обмане и предательстве. Но сейчас я расскажу вам, как все произошло, каковы были обстоятельства, приведшие меня к этому, и вы поймете, что я ничем не отличаюсь от вас, что я не испорчен и что я совершал только те поступки, которые считал лучшими.* Язык его защиты приобретал черты высокого стиля. Он бессознательно воспроизводил драматические судебные сцены из позабытых фильмов. Иногда он пространно изъяснялся в маленьком голом кабинете полицейского участка перед полудюжиной задумчивых старших чинов. Иногда обращался к притихшей публике со свидетельского места.

Выйдя на станции «Котбусер-тор», он сунул газеты в урну и двинулся по Адальбертштрассе. А как же Мария? Она только усиливала его позиции. Он вызвал к существованию адвоката, опытного законника, произносящего речь о любви и надеждах этих молодых людей, которые нашли в себе мужество повернуться спиной к жестокому прошлому своих родных стран и планировали начать совместную жизнь. Именно в этом можно было усмотреть ростки будущей Европы, освобожденной от насилия. Тут слово брал Гласс. А потом и Макнами давал свидетельские показания, сообщая, насколько позволяла секретность, о том, какую важную работу выполнял Леонард во имя свободы и как он один, не зная отдыха, изобретал специальные приборы для скорейшего достижения общей цели.

Леонард ускорил шаг. Бывали промежутки, длившиеся по нескольку минут кряду, когда в голове у него прояснялось и бесконечные повторы и хитросплетения его фантазий вызывали лишь тошноту. Никто не станет докапываться до истины. Представители власти, у которых по горло других хлопот, просто учтут имеющиеся данные, какими бы поверхностными они ни были, и будут только рады

возложить на него ответственность за совершенные преступления, передать дело в суд и забыть о нем. Едва он успевал додумать до конца эту мысль — тоже не в первый раз, — как в голову ему приходило новое утешительное соображение. Ведь это же правда, что Отто схватил Марию за горло. Я должен был остановить его, хоть я и ненавижу насилие. У меня просто не было выбора.

Он пересекал двор восемьдесят четвертого дома. Только сегодня он нашел в себе смелость вернуться. Он стал подниматься по лестнице. Его руки опять сильно тряслись. Трудно было держаться за перила. На четвертом этаже он остановился. Правда была в том, что ему до сих пор не хотелось видеть Марию. Он не знал, что ей сказать. Он не мог лгать, что удачно избавился от ящиков. Говорить, где они находятся на самом деле, тоже было нельзя. Это значило бы раскрыть секрет туннеля. Но ведь русским-то он сказал. Так что теперь мешает рассказывать об этом каждому встречному? Он подумал то же, что и прежде: раз он пока не в силах принимать решения, ему лучше помалкивать. Но, поскольку что-то сказать все равно придется, он скажет, что ящики на вокзале. Он крепче сжал рукой перила. Но притворяться он сейчас тоже не сможет. Он пошел дальше.

У него был свой ключ, однако он постучал и стал ждать. Изнутри тянуло запахом сигарет. Он уже хотел постучать снова, но тут дверь открылась, на площадку шагнул Гласс и, взяв Леонарда под локоть, отвел его к лестнице.

— Пока ты не вошел, — торопливо проговорил он — Нам надо установить, почему нас обнаружили, случайно или из-за утечки информации. Помимо всего прочего, мы беседуем со всеми неамериканскими женами и подругами. Не обижайся. Таков порядок.

Они вошли в квартиру. Мария встретила Леонарда на пороге комнаты, и они поцеловались сухими губами. Его правое колено дрожало, и он сел на ближайший стул. У его локтя на столе была полная пепельница.

— У тебя усталый вид, дружище, — сказал Гласс.

Он ответил сразу обоим.

— Я работал круглые сутки, — И потом только Глассу: — Надо было кое-что сделать для Макнами.

Гласс снял со стула пиджак и надел его.

— Я провожу вас, — сказала Мария.

Выходя, Гласс шутливо отдал ему честь. Леонард слышал, как он прощается с Марией.

Вернувшись, она сказала:

— Ты здоров?

Его руки по-прежнему лежали на коленях.

— Я не в своей тарелке, а ты разве нет?

Она кивнула. Под ее глазами темнели круги, у нее был такой вид, словно она давно не мылась. Он был рад, что его к ней не тянет.

— Я думаю, все обойдется, — сказала она.

Эта женская уверенность вызвала у него раздражение.

— Уж конечно, — ответил он. — Ящики в камере хранения на вокзале Цоо.

Она пристально посмотрела на него, и он не смог встретить ее взгляд. Она хотела что-то сказать, но передумала.

— Зачем приходил Гласс? — спросил он.

— Все было как в прошлый раз, только хуже. Уйма вопросов о моих знакомых, о том, где я провела последние две недели.

Теперь он посмотрел на нее.

— Ты не сказала ему ничего лишнего?

— Нет, — ответила она, но ее глаза смотрели в сторону.

Естественно, он не испытывал ревности, поскольку его не влекло к ней. Ему и так хватало переживаний. И все же он не удержался от привычной реакции. По крайней мере, это было хоть какой-то темой для разговора.

— Долго же он тут сидел, — Леонард кивнул на пепельницу.

— Да. — Она опустилась на стул и вздохнула.

— И снял пиджак?

Она кивнула.

— И он всего лишь задавал вопросы?

Через несколько дней ему предстояло покинуть Берлин, возможно, без нее, и вот как он с ней говорил.

Она перегнулась через стол и взяла его за руку, лежавшую на коленях. Он не хотел, чтобы она заметила дрожь, поэтому отнял руку почти сразу. Она сказала:

— Леонард, я правда думаю, что все обойдется.

Она словно хотела успокоить его одной лишь своей интонацией. Его собственный голос звучал насмешливо.

— Ну конечно. Пройдет несколько дней, пока они откроют ячейки, пока доберутся до нас, а ты ведь знаешь, что это неизбежно. Ты избавилась от пилы, и ножа, и ковра, и от всей одежды, которая была в крови, от ботинок и от газет? Ты уверена, что никто тебя не видел? Или меня, когда я уходил отсюда с двумя большими чемоданами или когда принес их на вокзал? А здесь все вычищено так, что ничего не унюхает даже тренированная собака? — Он понимал, что его несет, но не мог закрыть рот, — Разве мы можем быть уверены, что соседи не слышали драки? Будем мы наконец обсуждать, что скажем в полиции, чтобы не разойтись ни в одной мелкой детали, или будем просто сидеть тут и утешать друг друга?

— Я все убрала как следует. Не волнуйся. А наши ответы будут просты. Мы расскажем все как было, только без Отто. Мы вернулись сюда после ужина, легли спать, утром ты пошел на работу, а я взяла выходной и отправилась по магазинам, ты приходил на обед, а вечером поехал на Платаненаллее.

Это было описанием будущего, которое ждало их тогда. Счастливые влюбленные после помолвки. Теперь его естественность воспринималась как издевательство, и оба умолкли. Потом Леонард опять заговорил о Глассе.

— Он пришел к тебе в первый раз?

Она кивнула.

— Что-то он поторопился уйти.

— Не говори со мной так, — сказала она. — Тебе надо успокоиться.

Она дала ему сигарету и взяла сама. Вскоре он сказал:

— Меня отправляют в Англию.

Она затаилась и спросила:

— Какие у тебя планы?

Он не знал, какие у него планы. Его голова была все еще занята Глассом. Наконец он сказал:

— Думаю, нам стоит ненадолго разъехаться, чтобы привести мысли в порядок.

Ему не понравилось, как легко она согласилась с ним.

— Через месяц я могла бы прилететь в Лондон. Раньше не отпускают с работы.

Он не знал, насколько искренне она говорит и имеет ли это значение. Сидя рядом с пепельницей, полной оставленных Глассом окурков, он был не в силах думать.

— Послушай, — сказал он, — Я страшно устал. Ты тоже, — Он поднялся и сунул руки в карманы.

Мария тоже встала. Она хотела ему что-то сказать, но сдерживалась. Она казалась старше, ее лицо выдавало, каким оно будет спустя годы.

Они не сделали попытки продлить свой поцелуй. Затем он двинулся к выходу.

— Когда узнаю время рейса, я тебе сообщу.

Она проводила его до двери, и он не обернулся, спускаясь по лестнице.

Следующие три дня Леонард почти целиком провел на складе. Здание быстро пустело. День и ночь армейские грузовики вывозили мебель, документы и оборудование. Мусоросжигатель на заднем дворе работал без перерыва — трое приставленных к нему солдат следили, чтобы несгоревшие бумаги не уносило ветром. Столовая уже закрылась, и в полдень приезжал фургончик с сэндвичами и кофе. В комнате записи еще трудилось человек десять. Они сматывали кабели и укладывали магнитофоны в большие деревянные ящики, по шесть штук в каждый. Вся секретная документация была эвакуирована в считанные часы после появления русских. Действовали по большей части молча. Это было похоже на выписку из негостеприимного отеля: все хотели как можно скорее позабыть печальный опыт. Леонард работал один в своей комнате. Все следовало внести в инвентарные списки и упаковать. Отчитываться полагалось за каждую лампу.

Несмотря на эту деятельность и прочие хлопоты, Леонард не корил себя за предательство. Если разрешалось шпионить за американцами ради Макнами, то вполне можно было выдать туннель ради себя самого. Но дело было даже не в этом. Прежде ему нравился склад, он любил его, гордился им. Но теперь его чувства безнадежно притупились. После Отто кафе «Прага» уже ничего не значило. Он спустился в подвал, чтобы кинуть на все прощальный взгляд. Около ямы и на ее дне дежурили вооруженные охранники. Там же внизу, уперев руки в боки, стоял Билл Харви, шеф местной разведки и глава всей операции. Его слушал американский офицер с планшетом. Харви

словно выпирал из своего костюма. Он нарочито выставял напоказ кобуру, которая была у него под пиджаком.

Что до Гласса, то за все это время он не появился на складе ни разу. Такой странности стоило удивиться, но Леонарду некогда было поразмыслить над этим. Его мысли по-прежнему были заняты надвигающимся арестом. Когда его заберут? Почему они ждут так долго? Хотят связать все нити воедино? А может быть, советское командование решило умолчать о расчлененном трупе, чтобы не портить впечатление от своей пропагандистской победы? Скорее всего — и это казалось самым вероятным, — западноберлинская полиция выжидала, пока он предъявит свой паспорт в аэропорту. Он жил с двумя будущими. В одном он летел домой и начинал изгонять прошлое из памяти. В другом оставался здесь и начинал отбывать срок. Он все еще не мог спать.

Он послал Марии открытку с указанием времени и номера своего рейса в субботу после полудня. Она ответила обратной почтой, что приедет в Темпельхоф попрощаться. Она подписала ответ «люблю, Мария», и слово «люблю» было подчеркнуто дважды.

Субботним утром он не спеша принял ванну, оделся и собрал вещи. Ожидая уполномоченного, которому он должен был передать квартиру, Леонард бродил из комнаты в комнату, как бывало когда-то. От него здесь почти не осталось следов, разве что пятнышко на ковре в гостиной. Он помедлил у телефона. Теперь его беспокоило отсутствие вестей от Гласса, который должен был знать о его отъезде. Видимо, что-то неладно. Но он так и не смог набрать его номер. Он все еще стоял там, когда раздался звонок. Это был Лофтинг с двумя солдатами. Лейтенант казался неестественно счастливым.

— Мои ребята отвечают за опись и передачу, — объяснил он, когда они вошли. — И я решил воспользоваться случаем и попрощаться. Заодно раздобыл служебную машину, чтобы подбросить вас в аэропорт. Она ждет внизу.

Они вдвоем посидели в гостиной, пока солдаты пересчитывали на кухне чашки и блюда.

— Кстати, — сказал Лофтинг, — американцы опять вернули вас в наше подчинение. Теперь за вас отвечаю я.

— Очень хорошо, — сказал Леонард.

— Прекрасная была вечеринка на прошлой неделе. Знаете, я стал часто видаться с той девушкой, Шарлоттой. Она замечательно танцует. Так что я обязан вам обоим. В воскресенье она хочет познакомить меня с родителями.

— Поздравляю, — сказал Леонард. — Она славная девушка.

Солдаты явились с бумагами, которые Леонарду следовало подписать. Для этого он встал.

Лофтинг тоже поднялся.

— А как с Марией?

— Она отработает сколько положено до увольнения, а потом приедет ко мне.

Это прозвучало вполне правдоподобно.

Все формальности были закончены, настала пора уходить. Они вчетвером вышли в прихожую. Лофтинг показал на чемоданы Леонарда, которые стояли у двери.

— Вы не против, если мои люди отнесут ваши вещи к машине?

— Не против, — сказал Леонард. — Большое спасибо.

Водитель служебного автомобиля марки «хаммер», который ехал в Темпельхоф, чтобы встретить кого-то из Англии, не сделал попытки помочь Леонарду с чемоданами. Они были сравнительно нетяжелыми, и Леонард внес их в здание аэропорта без особых усилий. Однако сама подобная ноша уже вызывала ассоциации. Леонард чувствовал, что у него мутится рассудок, и к тому моменту, когда он занял место в длинной очереди, его тревога готова была перейти в панику. Отважится ли он поставить свою кладь на весы? Какие-то люди подошли за ним вслед. Сможет ли он покинуть очередь, не возбуждив подозрений? Публика вокруг него подобралась разношерстная. Впереди была сильно потрепанная жизнью семья — старики, молодая пара и двое маленьких детей. Их багаж состоял из огромных картонных ящиков и матерчатых узлов, перевязанных веревкой. Это, очевидно, были беженцы. Западноберлинские власти не могли пойти на риск и выслать их поездом. Все члены семьи молчали — то ли от страха перед полетом, то ли из-за того, что ощущали спиной присутствие высокого мужчины, подталкивающего ногой свои вещи. За ним громко разговаривали несколько французских бизнесменов, а дальше были двое английских офицеров — они стояли прямо и глядели на французов со сдержанным неодобрением. Всех этих пассажиров объединяло одно — их невиновность. Он тоже был невиновен, но это потребовало бы объяснений. Неподалеку, у прилавка с газетами, Леонард заметил дежурного в форме военной полиции, со сложенными за спиной руками и задранным подбородком. У входа на паспортный контроль стояли обычные полицейские. Кто из них выведет его из очереди?

Почувствовав прикосновение к своему плечу, он вздрогнул и обернулся чересчур быстро. Это пришла Мария. Она была в одежде, которой он никогда раньше на ней не видел. Ее новый летний костюм состоял из юбки в цветочек с широким ремнем и белой блузки с пышными рукавами и глубоким вырезом. Она надела бусы из фальшивого жемчуга — он и не знал, что у нее такие есть. Судя по ее виду, она хорошо выспалась. От нее пахло новыми духами. Они поцеловались, и она вложила свою руку в его. Ее рука была гладкой и

прохладной. К нему словно вернулось нечто легкое и простое — по крайней мере, тень этого. Может быть, вскоре его чувство к ней возродится. Уехав, он начнет скучать по Марии и постепенно отделять ее от памяти о том фартуке, терпеливом заворачивании и смазывании краев клеем.

— Ты прекрасно выглядишь, — сказал он.

— Мне лучше. А ты как — все бессонница?

Ее вопрос был неосторожен. Ведь кругом люди. Он подвинул чемоданы на свободное место, образовавшееся за беженцами.

— Нет, — ответил он и сжал ее руку. Настоящие жених и невеста, ничего не скажешь. — Мне нравится эта блузка, — добавил он. — Недавно купила?

Она отступила назад, чтобы он посмотрел. Даже в волосах у нее была новая заколка, на этот раз желтоголубая, еще более детская, чем обычно.

— Решила себя побаловать. А как тебе юбка? Она слегка повернулась для него. Она была довольна, возбуждена. Французы смотрели на нее. Кто-то позади присвистнул в знак восхищения.

Когда она подошла ближе, он сказал:

— Ты просто красавица, — Он знал, что говорит правду. Если он будет повторять это, пусть даже про себя, он почувствует, что это действительно так.

— Сколько людей, — сказала она. — Если бы сюда явился Боб Гласс, он бы придумал, как пропихнуть тебя без очереди.

Он предпочел пропустить это мимо ушей. На ней было кольцо, подаренное в день помолвки. Если они будут вести себя так, как того требует их положение, все остальное устроится само собой. Все станет по-прежнему. Пока никто за ними не пришел. Держась за руки, они медленно подвигались к стойке с контролером.

— Ты сообщил родителям? — сказала она.

— О чем?

— О нашей помолвке, конечно.

Он собирался. Хотел написать им на следующий день после вечеринки.

— Скажу, когда приеду домой.

Сначала ему надо будет снова поверить в это самому. Вернуться к тому моменту, когда они поднимались после ужина в ее квартиру, или

к тому, когда ее слова достигали его точно серебряные капельки, падавшие в замедленном темпе, прежде чем он мог уловить их смысл.

— Ты подала заявление об уходе? — спросил он.

Ее смех, казалось, прикрывал легкое замешательство.

— Да, и майор был очень недоволен. Кто теперь будет варить мне яйца? Кому я доверю нарезку солдатиков?

Они посмеялись. Как всякая молодая пара, они шутили, потому что им предстояло расставание.

— Знаешь, — сказала она, — он пытался меня отговорить.

— А ты что?

Она пошевелила в воздухе пальцем с обручальным кольцом. Потом сказала с шаловливой серьезностью:

— Я обещала ему подумать.

Они приблизились к стойке только спустя полчаса. Они были уже рядом с ней и все еще держались за руки. После паузы он сказал:

— Не понимаю, почему мы до сих пор ничего не услышали.

— Значит, и не услышим, — немедленно откликнулась она.

Опять наступило молчание. Контроль проходила семья беженцев со всеми их коробками и узлами. Мария сказала:

— Что ты собираешься делать? Где жить?

— Не знаю, — ответил он голосом киногероя. — У тебя или у меня.

Она громко рассмеялась. В ее поведении сквозило что-то неуправляемое. Британский чиновник, проверяющий документы, поднял глаза. Мария была чересчур свободна, почти развязна в своих движениях — возможно, от радости. Французы давно перестали говорить друг с другом. Леонард не знал отчего — может быть, оттого, что все они наблюдали за ней. Поднимая чемоданы на весы, он думал, что действительно любит ее. Они оказались легкими — оба вместе не потянули и тридцати пяти фунтов. Когда его билет был зарегистрирован, они с Марией прошли в кафетерий. Здесь тоже была очередь, и занимать ее уже не имело смысла. Осталось всего минут десять.

Они сели за пластиковый столик, заставленный грязными чашками из-под чая и тарелками со следами желтого крема, которые кто-то использовал как пепельницы. Она придвинула стул поближе к нему, взяла его под руку и прислонилась головой к его плечу.

— Не забывай, что я люблю тебя, — сказала она. — Мы сделали то, что должны были сделать, и теперь все будет хорошо.

Всякий раз, когда она говорила, что все будет хорошо, ему становилось не по себе. Так можно было накликать беду. Однако он сказал:

— Я тоже тебя люблю.

Объявили его рейс.

Она дошла с ним до газетного прилавка, и он купил «Дейли экспресс», прилетевшую сюда сегодня утром. Они остановились у барьера.

— Я приеду в Лондон, — сказала она. — Там обо всем и поговорим. Здесь слишком много...

Он понимал, что она имеет в виду. Они поцеловались, хотя это лишь отдаленно напоминало их прежние поцелуи. Он поцеловал ее прекрасный лоб. Пора было идти. Она взяла его руку и отпустила не сразу.

— О господи, Леонард, — воскликнула она. — Если бы я только могла сказать тебе. Но все хорошо. Правда.

Опять это. Проход охраняли трое дежурных из военной полиции, которые отвернулись, когда он поцеловал ее в последний раз.

— Я выйду наверх и помашу тебе, — сказала она и торопливо ушла.

Пассажиры должны были пересечь ярдов пятьдесят летного поля. Едва покинув здание аэропорта, он оглянулся. Она уже выбралась на плоскую крышу наверху была площадка для провожающих, и Мария стояла там, перегнувшись через парапет. Увидев его, она исполнила веселый маленький танец и послала ему поцелуй. Французы завистливо посмотрели на него, проходя мимо. Он махнул ей и двинулся к самолету. Вторично он обернулся только у трапа. Его правая рука уже пошла вверх, чтобы помахать. Около нее стоял человек, мужчина с бородой. Это был Гласс. Его рука лежала у Марии на плече. А может, он обнимал ее за плечи? Они дружно помахали ему, точно родители отбывающему ребенку. Мария опять послала ему поцелуй, она осмелилась повторить этот прощальный жест. Гласс что-то говорил ей, она улыбнулась, и они помахали снова.

Он уронил руку и быстро поднялся в самолет. Его место было у окна, со стороны здания аэропорта. Он занялся ремнем, стараясь не

глядеть туда. Удержаться было невозможно. Они словно знали, какое из маленьких круглых окошек его. Они смотрели прямо на него и махали, продлевая это оскорбительное прощание. Он отвернулся. Взял газету, раскрыл ее и попытался читать. Его жег стыд. Скорей бы они взлетели. Ей надо было все сказать ему сейчас, прямо в глаза, но она решила избежать сцены. До чего унижительно. Он покраснел и сделал вид, что читает. Потом и вправду начал читать. Статья была о «Хлопушнике» Крэббе, военном водолазе-разведчике, который шпионил за линейным кораблем русских, стоявшим в Портсмутской гавани. Обезглавленное тело Крэбба было выловлено из воды рыбаками. Хрущев сделал резкое заявление, что-то ожидалось сегодня в Палате общин. Пропеллеры слились в круг. Наземная бригада спешила прочь. Когда самолет тронулся с места, Леонард кинул в окно последний взгляд. Они стояли бок о бок. Наверное, она не могла толком разглядеть его лица, потому что начала поднимать руку, чтобы помахать, но тут же опустила.

И вскоре он окончательно потерял ее из виду.

Эпилог

В июне 1987 года Леонард Марнем, владелец небольшой компании по производству деталей для слуховых аппаратов, вернулся в Берлин. Чтобы привыкнуть к отсутствию развалин, ему хватило одной поездки на такси от аэропорта Тегель до гостиницы. Стало больше людей и зелени, пропали трамваи. Вскоре эти явные контрасты поблекли и город стал похож на все прочие европейские центры, где приходится бывать деловым людям. Его доминантой было уличное движение.

Едва расплатившись с водителем, он понял, что напрасно решил остановиться на Курфюрстендамм. В Англии он не удержался от соблазна продемонстрировать секретарше свои познания и назвать конкретное место. «Отель-ам-Цоо» был единственным, который ему удалось вспомнить. Теперь к его фасаду добавилась прозрачная наклонная пристройка. Внутри, по расписанной фресками стене, ехал стеклянный лифт. В номере Леонард распаковал сумку, запил водой сердечную таблетку и вышел прогуляться.

Гулять оказалось непросто, улицы кишели людьми. Он ориентировался по *Gedachtniskirche*^[45] и безо-

бразному новому зданию около нее. Он миновал «Burger King», «Spielcenter», «Videoclips», «Das Steak-Restaurant», «Unisex Jeans». Витрины ломились от одежды детских пастельных тонов — розовых, голубых, желтых. Его захлестнуло волной скандинавских детишек в картонных забралах из «Макдоналдс», которые протискивались к уличному продавцу за гигантскими серебристыми шарами. Стояла жара, толпа гудела без умолку. Повсюду были музыка диско и запахи жареного.

Он свернул на боковую улицу, думая пройти перед вокзалом Цоо и воротами парка, но скоро заблудился. Вышел на большой перекресток, которого не помнил, и решил отдохнуть в каком-нибудь кафе. В трех из них были заняты все пластиковые стулья до последнего. Публика бесцельно слонялась взад и вперед, и там, где столики из кафе были вынесены наружу, он пробирался с трудом. Ему попалась компания французских тинейджеров в одинаковых розовых теннисках с надписями «Fuck You!» на груди и спине. Он удивился тому, что

потерял ориентацию. Хотел спросить у кого-нибудь дорогу, но его окружали, похоже, одни туристы. Наконец он обратился к молодой паре, покупавшей на углу блинчики с мятной начинкой. Они оказались голландцами, и вполне дружелюбными, но они никогда не слыхали об «Отель-ам-Цоо» и сомневались насчет Курфюрстендамм.

Он нашел свою гостиницу случайно и полчаса сидел в номере, потягивая апельсиновый сок из минибара. Он пытался отогнать раздраженные воспоминания. *В мое время...* Поскольку он хотел сходить на Адальбертштрассе, лучше было сохранять спокойствие. Он вынул из портфеля письмо, присланное авиапочтой, и положил в карман. Он еще не знал толком, на что рассчитывает. Он поглядывал на кровать. Прогулка по Ку-дамм утомила его. Он с удовольствием вздремнул бы до вечера. Но он заставил себя встать и выйти снова.

В вестибюле он помедлил, отдавая ключ. Он решил испробовать свой немецкий на портье, юноше в черном костюме, похожем на студента. Стену возвели через пять лет после того, как Леонард покинул Берлин. Он хочет взглянуть на нее, пока он здесь. Куда ему пойти? Где самое лучшее место? Он ловил себя на элементарных ошибках. Но понимал он хорошо. Юноша достал карту. Лучше всего Потсдамерплац. Там удобная обзорная площадка, ларьки с открытками и сувенирами.

Леонард уже хотел поблагодарить его и отправиться прочь, но юноша сказал:

— Советую поторопиться.

— Почему?

— Недавно в Восточном Берлине была демонстрация студентов. Знаете, что они кричали? Имя советского вождя. А полиция разгоняла их дубинками и брандспойтами.

— Я читал об этом, — сказал Леонард.

Портье не унимался. Похоже, он оседлал любимого конька. Леонард дал бы ему лет двадцать с небольшим.

— Кто бы мог подумать, что имя советского генерального секретаря будет звучать в Восточном Берлине как провокация? Это невероятно!

— Пожалуй, — сказал Леонард.

— Недели две назад он приезжал в Берлин. Должно быть, вы и об этом читали. До его приезда все говорили, ну вот, он прикажет снести

Стену. А я знал, что нет, и вышло по-моему. Но может, в следующий раз или потом, лет через пять или через десять. Все меняется.

Из служебного помещения донесся предостерегающий кашель. Юноша улыбнулся и пожал плечами. Леонард поблагодарил его и вышел на улицу.

Он доехал на метро до «Котбусер-тор». Наверху ему пришлось бороться с горячим встречным ветром, который нес песок и клочки бумаги. На тротуаре его поджидала худошавая девица в кожаной куртке и брюках в обтяжку с узором из полумесяцев и звезд. Когда он проходил мимо, она пробормотала: «Haste mal'ne Mark?»^[46] У нее было симпатичное, но помятое лицо. Еще через десять ярдов он вынужден был остановиться. Может быть, он сошел с поезда не на той станции? Но поблизости висела табличка с названием. Дорогу на Адальбертштрассе впереди него оседлал чудовищный многоквартирный дом. Его бетонные опоры были размалеваны краской из распылителя. У ног Леонарда валялись пивные банки, обертки из-под еды навынос, куски газет. На обочине улицы, опершись на локти, лежали несколько подростков — он решил, что это панки. У всех были одинаковые ярко-оранжевые прически под могикан. Из-за относительной нехватки волос их уши и кадыки бросались в глаза, и это придавало им несчастный вид. Их головы были иссиня-белыми. Один мальчишка дышал чем-то из пластикового пакета. Леонард обогнул их, и они ухмыльнулись ему вслед.

Миновав арку под домом, он начал кое-что узнавать. Пустых мест вдоль улицы не осталось. Магазины, бакалея, кафе, турагентство — везде рябили турецкие названия. Люди, похожие на турок, стояли на углу Ораниенштрассе. Дружелюбная сонность Южной Европы казалась здесь ненатуральной. На зданиях, уцелевших при бомбежках, до сих пор были отметины от снарядов. На восемьдесят четвертом доме, над окнами первого этажа, по-прежнему виднелись следы пулеметного обстрела. Большую парадную дверь давным-давно перекрасили в голубой цвет. Во внутреннем дворе его взгляд сразу привлекли к себе мусорные баки — огромные, на резиновых колесах.

Во дворе играли турецкие дети, девочки с младшими братьями и сестрами. Увидев Леонарда, они перестали бегать и молча проводили его глазами до двери. Они не отреагировали на его улыбку. Этот большой бледнокожий взрослый, не по погоде одетый в жаркий

темный костюм, казался тут чужим. Какая-то женщина резко и повелительно крикнула сверху, но никто не пошевелился. Может быть, его приняли за представителя городских властей. Он собирался взойти на верхний этаж и, если это покажется удобным, постучать в квартиру. Но на лестнице было мрачнее и теснее, чем ему помнилось, а затхлый воздух был насыщен запахами незнакомой стряпни. Он отступил назад и глянул через плечо. Дети по-прежнему смотрели на него. Девочка побольше взяла младшую сестренку на руки. Он переводил взгляд с одной пары карих глаз на другую, потом прошагал обратно мимо них и вышел на улицу. Побывав здесь, он не приблизился к своим берлинским дням. Очевидно было лишь то, как далеко позади они остались.

Он вернулся на «Котбусер-тор», по пути дал девице бумажку в десять марок и поехал на Германплац, а оттуда в Рудов. Теперь можно было добраться до места через «Гренцаллее», прямиком на метро. Выйдя наверх, он уперся в шестиполосное шоссе. Оглянувшись в сторону центра, он увидел скопления высоких башен. Дождался зеленого света и пересек улицу. Впереди были низкие жилые здания, велосипедная дорожка из розового камня, аккуратные ряды фонарей и стоящие вдоль обочины автомобили. А разве могло быть иначе — что он рассчитывал увидеть? Те же пустынные равнины? Он миновал небольшое озерцо, память о сельском прошлом, забранную колючей проволокой.

Чтобы найти поворот, пришлось заглянуть в схему. Все удивляло чистотой и обилием людей. Нужная ему улица называлась Летсбергерштрассе, ее недавно обсадили платанами. По левую руку тянулись новые жилые дома, на вид не старше двух-трех лет. По правую, на месте старых хижин для беженцев, выросли причудливые одноэтажные коттеджики с ухоженными садовыми участками для отдыха берлинцев, живущих в городских квартирах. Семьи обедали в тени декоративных деревьев, на безупречной лужайке стоял зеленый теннисный стол. Он прошел мимо пустого гамака, подвешенного между двумя яблонями. Из-за кустов пахло жареным мясом. Брызги из дождевателей кое-где долетали до тротуара. Каждый миниатюрный клочок земли представлял собой чью-то гордость и воплощенную мечту, триумф домашнего комфорта. Несмотря на скученность

десятков семей, по всему району вместе с полуденным зноем была разлита удовлетворенная комнатная тишина.

Дорога сузилась и перешла в нечто вроде проселка, который он помнил. Школа верховой езды, богатые загородные усадьбы — и вот он завидел впереди новые, высокие зеленые ворота. За ними была пустая земляная площадка в сотню футов, а дальше, по-прежнему окруженные двойной оградой, развалины склада. Несколько секунд он стоял не двигаясь. Отсюда было видно, что все строения снесены. У широко распахнутых внутренних ворот белела покосившаяся сторожевая будка. На зеленых воротах прямо перед ним висела табличка с оповещением, что эта земля принадлежит огородному хозяйству, и просьбой к родителям не пускать за ограду детей. С одной стороны стоял толстый деревянный крест в память двух юношей, которые пытались перелезть Стену в шестьдесят втором и шестьдесят третьем и были «von Grenzsoldaten erschossen»^[47]. Позади склада, ярдах в ста от внешней ограды, взгляд упирался в светлый бетон, преграждающий доступ к шоссе Шёнефельдер. Он подумал, как странно, что ему довелось впервые увидеть Стену именно с этого места.

Ворота были слишком высоки для того, чтобы человек в его возрасте мог перелезть через них. Ему пришлось зайти на чужую подъездную аллею и уже оттуда перебраться через низкую стену. Он миновал внешнюю ограду и остановился у внутренней. Сам шлагбаум, конечно, исчез, но столбик от него сохранился и даже не зарос сорняками. Он заглянул в скособоченную будку. Там лежали какие-то доски. Старая электрическая проводка была еще на месте, она тянулась по стене изнутри, так же как и телефонный провод с оборванными концами. Он двинулся дальше. От зданий остались только крошащиеся бетонные полы, сквозь которые лезла трава. Строительный мусор сгребли бульдозерами в высокие груды на краю площадки, и за ними не было видно Стены. Кто-то решил в последний раз досадить русским.

Главное здание выглядело иначе. Он подошел и долго стоял около этого места. С трех сторон, за оградой и земляной площадкой, наступали дачные коттеджи. С четвертой была Стена. В чьем-то саду играло радио. Немецкая любовь к военным маршам ощущалась и в здешней поп-музыке. Кругом царила дремотная атмосфера уик-энда.

На месте главного склада зияла огромная яма, обнесенная стеной котлован в сотню футов длиной, тридцать шириной и футов в семь глубиной. Прежний подвал был теперь открыт небесам. Кучи земли, когда-то вынудой из туннеля, густо заросли сорняками. Пол подвала, видимо, находился еще футов на пять ниже этой земли, но проход между кучами был вполне различим. Вертикальную шахту в восточном конце засыпали камнями. Она была намного меньше, чем он помнил. Спускаясь вниз, он заметил, что за ним наблюдают в бинокль двое пограничников на вышке. Он прошел между кучами. Высоко над ним щебетал жаворонок, и тут, на самом пекле, это немного раздражало его. Он увидел пандус для автопогрузчиков. Здесь начиналась шахта. Он поднял кусок кабеля — старого образца, с тремя жилами из толстой, плохо гнущейся медной проволоки. Поковырял каменистую землю носком ботинка. Что он ожидал найти? Доказательство собственного существования?

Он вылез из подвала. За ним все еще наблюдали с вышки. Смахнув грязь с каменного края, он уселся, свесив ноги в подвал. Это место значило для него гораздо больше, чем Адальбертштрассе. Он уже решил не тратить времени на посещение Платаненаллее. Именно здесь, среди этих руин, он отчетливее всего ощущал груз лет. Здесь можно было вызвать к жизни далекое прошлое. Он вынул из кармана письмо с пометкой «авиа». Самый конверт, испещренный зачеркнутыми адресами, манил к размышлениям — биография, каждая глава которой означала очередную утрату. Письмо было прислано из Сидар-Рапидс в штате Айова и покинуло Соединенные Штаты семь недель тому назад. Сведения отправителя устарели на тридцать лет. Сначала письмо отправили родителям Леонарда для передачи в его руки, по тому адресу в Тотнеме, где он вырос и где они жили вплоть до смерти отца на Рождество 1957 года. Оттуда его переслали в дом престарелых, где провела последние годы жизни его мать. Потом оно ушло в Севенокс, где выросли его собственные дети и где он жил со своей женой, пока она не умерла пять лет назад. Нынешний владелец дома несколько недель держал письмо у себя, а потом отослал его вместе с пачкой реклам и другой макулатуры. Он открыл его и прочел снова.

1706 Самнер-драйв, Сидар-Рapidс 30 марта 1987 г.

Дорогой Леонард, я думаю, есть только один шанс из миллиона, что это письмо когда-нибудь доберется до тебя. Не знаю даже, жив ли ты, хотя я почему-то уверена, что да. Я пошлю его по старому адресу твоих родителей, а дальше пусть уж будет что будет. Я так часто писала его в мыслях, что теперь легко перенести его на бумагу. Если оно и не попадет к тебе, мне все равно станет лучше.

Когда ты в последний раз видел меня в аэропорту Темпельхоф, я была молодой немкой, хорошо говорящей по-английски. Теперь ты, пожалуй, мог бы назвать меня почтенной американской провинциалкой, школьной учительницей на самом пороге пенсии, а мои добрые соседи по Сидар-Рapidс уверяют, что в моей речи нет и следа немецкого акцента, хотя я думаю, что это всего лишь любезность. Куда делось столько лет? Я знаю, что этот вопрос задает себе каждый. Нам всем приходится разбираться со своим прошлым. У меня три дочери, и младшая закончила университет нынешним летом. Они все выросли в этом доме, где мы живем вот уже двадцать четыре года. Шестнадцать из них я преподаю в местной школе немецкий и французский. А последние пять возглавляю женскую организацию при нашей церкви. Вот куда ушли мои годы.

И все это время я думала о тебе. Не было недели, чтобы я не перебирала в памяти то, что мы могли или должны были сделать, и не мучилась вопросом: а если бы все сложилось иначе? Я никогда не говорила об этом. Наверно, боялась, что Боб догадается о силе моих чувств. Но может быть, он и так все знал. Я не могла говорить об этом ни с кем из моих друзей, хотя здесь принято откровенничать и есть хорошие люди, которым я

доверяю. Слишком многое пришлось бы объяснять. Все было так странно и жутко, что от человека со стороны я вряд ли добилаь бы понимания. Я тешила себя мыслью, что расскажу своей старшей, когда она подрастет. Но гг-то время, наше время, Берлин, кажется таким далеким. Не думаю, что Лора смогла бы по-настоящему понять меня. В общем, я жила с этим одна. Интересно — а ты?

Боб ушел из армии в 1958-м, и мы поселились здесь. Он занялся розничной торговлей сельскохозяйственными машинами и преуспел. Во всяком случае, на приличную жизнь нам хватало. Я стала учительницей только потому, что не привыкла бездельничать. О Бобе я и хочу тебе рассказать, кроме всего прочего. С тех давних пор я чувствовала в воздухе обвинение, молчаливое обвинение, исходящее от тебя, но ты должен знать, что оно не имеет никаких оснований. Мне просто необходимо наконец все прояснить. Дай бог, чтобы это письмо когда-нибудь дошло до тебя.

Теперь я, конечно, знаю, что ты работал вместе с Бобом в Берлинском туннеле. На следующий день после того, как русские обнаружили его, Боб появился на Адальбертштрассе и сказал, что должен задать мне несколько вопросов. Этого требовали правила секретности. Пожалуйста, вспомни поточнее, какая тогда была ситуация. Ты ушел с ящиками два дня назад, и я не имела от тебя никаких известий. Все это время я не спала. Часами отдраивала квартиру. Я отнесла нашу одежду на свалку. Съездила в Панков, где жили мои родители, и продала инструменты. Оттащила ковер за три квартала на строительную площадку, где жгли мусор, и кто-то помог мне бросить его в костер. Едва я закончила отчищать ванную, как пришел Боб со своими вопросами. Он видел, что я не в себе. Я пыталась притвориться больной. Он сказал, что не

отнимет у меня много времени, и, поскольку он был очень добр и внимателен, я не выдержала и расплакалась. А потом, сама не знаю как, все ему рассказала. Я просто должна была с кем-нибудь поделиться. Убедить кого-нибудь в том, что мы не преступники. Я все ему выложила, а он молча слушал. Когда я сказала ему, что ты вместе с ящиками отправился на железнодорожный вокзал два дня назад и с тех пор о тебе не было никаких вестей, он только качал головой и повторял «о господи» снова и снова. Потом он пообещал выяснить все, что сможет, и ушел.

На следующее утро он вернулся с газетой. Она вся пестрела материалами о вашем туннеле. Раньше я ничего о нем не слышала. Тогда Боб и сказал мне, что ты тоже участвовал в проекте и принес ящики туда, вниз, незадолго до появления русских. Не знаю, почему ты это сделал. Может быть, на день-два у тебя помутился рассудок. А кто на твоём месте остался бы в здравом уме? Восточные Немцы передали ящики западногерманской полиции. Очевидно, расследование убийства уже началось. Через считанные часы они должны были выйти на тебя. По словам Боба, он и еще несколько человек видели, как ты вносил туда ящики. Мы попали бы в серьезный переплет, если бы Боб не убедил своих начальников в том, что эта история будет плохой рекламой для западной разведки. Люди Боба заставили полицейских прекратить расспросы. Мне кажется, в то время город был практически оккупирован и немцы волей-неволей во всем слушались американцев. Благодаря Бобу факты не вышли наружу, и расследование по этому делу свернули.

Вот что он рассказал мне тем утром. Еще он взял с меня клятву молчать. Мне нельзя было говорить о том, что он сделал, никому, даже тебе.

Ведь он, можно сказать, помешал отправлению правосудия, да и ты не должен был знать, что я осведомлена о месте твоей работы, — так он объяснил мне свою просьбу. Секретность — это для него всегда было святое. Вот о чем мы говорили в то утро, когда вдруг появился ты, в ужасном виде и со своими подозрениями. Я хотела сказать тебе, что мы в безопасности, но побоялась нарушить обещание, которое дала Бобу. Может быть, и зря. Если бы я его нарушила, все могло бы сложиться совсем не так грустно.

А через несколько дней был Темпельхоф. Я знала, о чем ты думаешь, но ты очень-очень ошибался. Теперь, когда я пишу это, я понимаю, как сильно мне хочется, чтобы ты выслушал меня и поверил. Дай бог, чтобы ты получил это письмо. Правда в том, что Боб тогда весь день носился по городу со своей секретной проверкой. Он хотел попрощаться с тобой, но опоздал в аэропорт. И наткнулся на меня, когда я поднималась на крышу, чтобы помахать тебе. Вот и все. Я писала тебе и пыталась объяснить так, чтобы не нарушить своего обещания Бобу. Но внятного ответа не получила. Я думала поехать в Лондон и найти тебя, но знала, что не выдержу, если ты меня оттолкнешь. Шли месяцы, и ты совсем перестал отвечать на мои письма. Я говорила себе: наверное, после того, через что мы вместе прошли, нам уже невозможно создать семью. Тогда завязалась моя дружба с Бобом, с моей стороны основанная большей частью на благодарности. Постепенно она сменилась привязанностью. Время тоже сыграло свою роль, я ведь была одинока. Через девять месяцев после твоего отъезда из Берлина у нас с Бобом начался роман. Я похоронила свои чувства к тебе как можно глубже. В следующем году, в июле 1957-го, мы поженились в Нью-Йорке.

Он всегда говорил о тебе с искренней симпатией. Повторял, что когда-нибудь мы поедем в Англию и разыщем тебя. Не уверена, что у меня хватило бы на это духу. Боб умер от сердечного приступа в позапрошлом году, на рыбалке. Девочки очень тяжело перенесли его смерть, мы все страшно горевали, а младшая, Роза, до сих пор не оправилась от этого удара. Он был чудесным отцом. Отцовство шло ему, оно смягчало его. Но энергия всегда была в нем через край. Хлебом не корми — дай поиграть с девчонками. Когда они еще не подросли, наблюдать за ним было одно удовольствие. Весь город так любил Боба, что его похороны превратились в большое событие, и я очень гордилась им.

Я говорю тебе это потому, что ты должен знать: я не жалею, что вышла за Боба Гласса. Конечно, были у нас и тяжелые времена. Лет десять назад мы оба сильно пили, было и другое. Но мне кажется, что в общем мы справились. Я теряю нить. Мне нужно столько рассказать тебе. Иногда я думаю о Блейке — том самом, что жил внизу и приходил на нашу помолвку. Джордж Блейк. Я была поражена, когда его отдали под суд то ли в шестидесятом, то ли в шестьдесят первом. Потом он сбежал из тюрьмы, а потом Боб узнал, что одним из секретов, которые он выдал, был ваш туннель. Он участвовал в проекте с самого начала, еще на стадии разработки. Русские знали все еще до того, как наши первый раз копнули лопатой. Столько сил потрачено впустую! После этого известия Боб не переставал радоваться, что вышел оттуда целым и невредимым. Он сказал, что они, наверное, передавали самые важные сообщения по другим каналам, а туннель не трогали, чтобы не засветить Блейка и вынудить ЦРУ истратить побольше времени и людских ресурсов. Но почему они

захватили его именно тогда, в самый трудный для нас момент?

Я начала это письмо, когда собирались сумерки, а теперь уже давным-давно стемнело. Я несколько раз останавливалась, чтобы подумать о Бобе, и о Розе, которая до сих пор не может научиться жить без него, и о нас с тобой, и обо всем потерянном времени и непонимании. Странно писать такое незнакомцу за тысячи миль отсюда. Я гадаю, что стало с твоей жизнью. Думая о тебе, я думаю не только об ужасной истории с Отто. Я думаю о моем добром и милом англичанине, который совсем мало знал о женщинах, но так замечательно подтянулся по этой части! Нам было так легко, так хорошо вместе. Иногда мне кажется, что я вспоминаю детство. И хочется спросить тебя: а помнишь то, помнишь это? Как мы ездили по выходным на озера, как покупали мне обручальное кольцо у того здоровенного уличного торговца (я храню его до сих пор) и как танцевали в «Рези». Как стали чемпионами по джайву и выиграли приз, каретные часы, которые сейчас лежат у меня на чердаке. Как я впервые увидела тебя с розой за ухом и отправила тебе записку по пневматической почте. Как ты сказал замечательную речь на нашей помолвке, а Дженни — помнишь мою подругу Дженни? — подцепила там диктора с радио, чье имя я уже забыла. А разве Боб не подготовил для того вечера специальное выступление? Я очень любила тебя, ближе у меня никого не было. Не думаю, что это признание оскорбляет память о Бобе. Судя по моему опыту, мужчины и женщины все же не способны научиться по-настоящему понимать друг друга. А у нас действительно были особые отношения. Это правда, и я не могу позволить своей жизни пройти, не сказав этого или хотя бы не написав пером на бумаге. Если я хорошо тебя

помню, ты, наверное, сейчас хмуришься и говоришь: ох уж эта ее сентиментальность!

Иногда я сердилась на тебя. Ты не должен был уйти вот так, разозлиться и замолчать. Чисто по-английски! И по-мужски! Если ты решил, что тебя предали, надо было заявить об этом и попытаться отстоять свои права. Надо было обвинить меня, обвинить Боба. Разыгрался бы скандал, но мы выпили бы эту чашу до дна. Но я знаю: это гордость заставила тебя порвать со мной. И та же гордость помешала мне приехать в Лондон и женить тебя на себе. Я не могла смириться с возможностью неудачи.

Странно, что наш старый, привычный скрипучий дом незнаком тебе. Он белый, обшитый досками, вокруг дубы, а во дворе флагшток, поставленный Бобом. Теперь я уже никогда не уеду отсюда, хоть он для меня и великоват. У девочек здесь все, что связано с детством. Сегодня Диана, моя средняя дочь, привезет сюда своего малыша. Она родила первая. У Лоры в прошлом году был выкидыш. Муж Дианы математик. Он очень высокий, и когда он поправляет мизинцем очки на носу, я вспоминаю тебя. Помнишь, как я отняла твои очки, чтобы ты остался? А еще он отлично играет в теннис, что совсем на тебя не похоже!

Мои мысли снова разбредаются, да и поздно уже. Честно сказать, в последнее время я устаю по вечерам довольно рано, хотя за это, пожалуй, нет нужды извиняться. Но мне не хочется заканчивать этот односторонний разговор с тобой, где бы ты ни был и кем бы ни стал. Я не хочу отправлять это письмо в никуда. Оно будет не первым моим письмом к тебе, оставшимся без ответа. Я знаю, что рискнуть придется. Если все это покажется тебе неуместным и ты решишь не отвечать или если воспоминания гнетут тебя, позволь по крайней мере

своему двадцатипятилетнему «я» принять этот привет от старой подруги. А если это письмо никто никогда не получит, не откроет и не прочтет, прошу тебя, Боже, даруй нам прощение за наш страшный грех, будь свидетелем нашей прошлой любви и благослови ее.

Твоя Мария Гласс

Он встал, отряхнулся, сложил письмо и убрал его в карман, а потом начал медленно прохаживаться по участку. Чтобы попасть туда, где была его комната, ему пришлось протоптать тропинку в зарослях высокой травы. Теперь на этом месте был только маслянистый песок. Он поглядел на искореженные трубы и разбитые манометры, оставшиеся от подвальной бойлерной. Прямо у него под ногами валялись осколки бело-розовой плитки, которой, как он помнил, была облицована душевая. Он посмотрел через плечо. Пограничники на башне потеряли к нему интерес. Музыка, долетавшая сюда из коттеджа неподалеку, изменилась: теперь это был старомодный рок-н-ролл. Леонард до сих пор любил его и припомнил название песни: «A Whole Lot of Shakin' Goin' On». Ему она никогда особенно не нравилась, в отличие от Марии. Он пошел мимо зияющего котлована обратно к внутреннему забору. Миновал две стальные балки, преграждающие путь к бетонной яме с черной водой. Это был старый канализационный отстойник, в дренажную систему которого врубались прокладчики. Столько сил потрачено впустую.

Он был уже у забора и смотрел оттуда на холмистый пустырь, лежащий между ним и Стеной. Над ней возвышались зеленые кроны кладбищенских деревьев. Его время и ее время — точно эта незастроенная земля. Прямо у подножия Стены бежала велосипедная дорожка. По ней, перекликаясь, ехали дети. Солнце палило. Он успел позабыть эту липкую берлинскую жару. Он оказался прав: чтобы по-настоящему понять ее письмо, ему надо было проделать весь долгий путь сюда. Не на Адальбертштрассе, а именно сюда, к этим руинам. То, что он не способен был осознать в Суррее, в своей гостинице, стало вполне ясным здесь.

Он знал, что теперь сделает. Ослабив галстук, он промокнул лоб платком. Затем огляделся вокруг. Рядом с покосившейся сторожевой будкой торчал пожарный гидрант. Как ему не хватало и Гласса тоже, его руки на локте и пылкого: «Послушай, Леонард!». Гласс, смягченный отцовством, — вот бы посмотреть на это. Леонард знал, что он сделает, знал, что скоро уйдет, но не чувствовал нужды спешить, и его по-прежнему томила жара. Радио снова перешло на жизнерадостную немецкую поп-музыку в четком размере две четверти. Громкость, кажется, увеличили. Пограничник на дозорной вышке лениво поглядел в бинокль на замешкавшегося у ограды господина в темном костюме и отвернулся, чтобы продолжить разговор с напарником.

Леонард держался за ограду. Теперь он оторвался от нее и пошел обратно мимо большого котлована, в ворота и дальше по траве, к низкой белой стене. Перебравшись через стену, он снял пиджак и повесил его на руку. Он двигался быстро, и благодаря этому его лицо обвевал ветерок. Он шагал в такт своим мыслям.

Будь он помоложе, он пустился бы по Летсбергерштрассе бегом. У него сохранились кое-какие связи со времен старых командировок. Наверно, удобней всего полететь в Чикаго, а там воспользоваться местным транспортом. Он не станет посылать телеграмму, а вдруг что-нибудь не сложится. Он просто выйдет из-под тенистых дубов и зашагает мимо белого флагштока по облитой солнцем лужайке к парадной двери. Позже он назовет ей имя радиодиктора и напомнит, что Гласс действительно сказал на их помолвке замечательную речь о восстановлении Европы. И ответит на ее вопрос: они ворвались в туннель, потому что Блейк сообщил своему русскому связному о молодом англичанине, который собирается оставить там декодирующее оборудование только на один день. А она расскажет ему о соревновании по джайву, которого он не помнил, и они достанут с чердака полученные в награду часы, заведут и послушают их тиканье.

На углу Нойдекервег ему пришлось остановиться и передохнуть в тени платана. Они вернутся в Берлин вместе, это единственный способ. Жара не спадала, а до станции метро «Рудов» было еще с полмили. Он закрыл глаза и прислонился к молодому стволу. Его вес дерево могло выдержать. Они пройдут по старым местам и подивятся тому, как все изменилось, а потом им надо будет обязательно сходить

на Потсдамер-плац, подняться на деревянную площадку и как следует рассмотреть Стену, покуда ее еще не снесли.

Примечание автора

Берлинский туннель, построенный в рамках операции «Золото», был совместным предприятием ЦРУ и МИ-6 и функционировал чуть менее года, до апреля 1956-го. Во главе работы стоял начальник местного отделения ЦРУ Уильям Харви. Джордж Блейк, живший в доме номер 26 по Платаненаллее с апреля 1955 года, выдал проект русским, по-видимому, еще в 1953 году, будучи секретарем плановой комиссии. Все остальные действующие лица романа вымышлены. Большинство событий тоже, хотя я многим обязан описанию туннеля из великолепной книги Дэвида Мартина «Столпотворение зеркал». В эпилоге изображено место, каким я застал его в мае 1989 года.

Я хочу поблагодарить Бернгарда Роббена, который переводил с немецкого и провел многочисленные исследования в Берлине, и доктора М. Даниила, читающего лекции по патологии в Мертон-колледже, а также Андреаса Ландсхоффа и Тимоти Гартона Эша за их ценные замечания. Мне хотелось бы особенно поблагодарить моих друзей Галена Строусона и Крэга Рейна за внимательное чтение рукописи и множество полезных предложений.

И. М.

Оксфорд, сентябрь 1989 г.

THE INNOCENT



LE CARRE

На уже раскошегаренную «Амстердамом» публику вываливается шпионский детектив «Невинный, или Особые отношения» — захватывающий, как боевик про Джеймса Бонда, и тяжеловесный, как шекспировская трагедия. Во-первых, шпионский детектив — жанр перспективный необычайно: что может быть интереснее, чем распознавать в ближних агентов иностранных разведок. Во-вторых, Макьюэн, воспользовавшись выгодной жанровой оболочкой, не задохнулся в ней: «Невинный» — роман-метафора об Англии и «английскости» в новом политическом пространстве, когда Британская империя оказалась зажатой между двумя сверхдержавами.

*Лев Данилкин
(Ведомости)*

Черт его знает, где Макьюэн берет сюжеты, но только закручены они ловко. Это только у русских писателей из каждой строчки торчат автобиографические портки и тянутся коммунальные коридоры — современный западный писатель каждый раз шьет себе новый костюмчик. Чем берет Макьюэн в «Невинном...»? Правильно — деталями и сюжетом. Откуда, казалось бы, знать романисту 1948 года рождения подоплеку берлинских дел начала пятидесятых или принцип расчленения человеческого тела со всеми подробностями? А вот поди же ты: «Невинный, или Особые отношения»

На уже раскочегаренную «Амстердамом» публику вываливается шпионский детектив «Невинный, или Особые отношения» — захватывающий, как боевик про Джеймса Бонда, и тяжеловесный, как шекспировская трагедия. Во-первых, шпионский детектив — жанр перспективный необычайно: что может быть интереснее, чем распознавать в ближних агентов иностранных разведок. Во-вторых, Макьюэн, воспользовавшись выгодной жанровой оболочкой, не задохнулся в ней: «Невинный» — роман-метафора об Англии и «английскости» в новом политическом пространстве, когда Британская империя оказалась зажатой между двумя сверхдержавами.

Лев Данилкин (Ведомости)

Черт его знает, где Макьюэн берет сюжеты, но только закручены они ловко. Это только у русских писателей из каждой строчки торчат автобиографические портки и тянутся коммунальные коридоры — современный западный писатель каждый раз шьет себе новый костюмчик. Чем берет Макьюэн в «Невинном...»? Правильно — деталями и сюжетом. Откуда, казалось бы, знать романисту 1948 года рождения подоплеку берлинских дел начала пятидесятых или принцип расчленения человеческого тела со всеми подробностями? А вот поди же ты: «Невинный, или Особые отношения»

notes

Примечания

1

Оперетта англичан У. Гилберта и А. Салливана. *(Здесь и далее примеч. пер.)*

2

Пивная, закусочная (*нем.*)

Жареные сардельки с картофельным салатом *(нем.)*

Эй, молодой человек, ты, похоже, не из этих краев? Давай-ка выпей с нами. Эй, официант! *(нем.)*

Райнхард Гелен — фашистский генерал, член Генштаба с 1935 г. После войны предоставил в распоряжение американских оккупационных властей архивы тайной полиции и создал свою информационную службу («организацию Гелена»).

Гай Бёрджесс и Дональд Маклин — британские дипломаты, шпионившие в пользу Советского Союза; в 1951 г. сбежали из Англии и в 1956-м объявились в Москве.

7

Спички (*нем.*)

Продовольственный магазин (*нем.*)

Горячая сарделька (*нем.*)

«Красные паруса на закате» (*англ.*)

«Как вы удержите их на ферме?» *(англ.)*

«Вон там» (*англ.*)

«Слишком жарко» (*англ.*)

«Ночь и день», «Все позволено», «Просто одна из этих вещей»,
«Мисс Отис сожалеет» (*англ.*)

Алкогoльнoй нaпитoк из джинa, рaзбaвлeннoгo oсoбoй смeсью.

Адальбертштрассе, 84, первый флигель, пятый этаж справа (*нем.*)

Закусочная (*нем.*)

Коммунистам сюда нельзя! (*нем.*)

Коммунистам сюда нельзя! (*нем.*)

По-старонемецки (*нем.*)

Высококачественный твид ручного производства; вырабатывается на острове Харрис, Гебридские о-ва.

Гросс — 12 дюжин.

Ее нет! Она у родителей! *(нем.)*

«Рок круглые сутки» (*англ.*)

Курфюрстендамм.

Комиссионный (*нем.*)

Идет, идет! (*нем.*)

Рождественский обычай.

«Наафи» — британская военно-торговая служба.

Хлебная водка (*нем.*)

Не говори глупостей (*нем.*)

Ресторанчик.

Не говори глупостей (*нем.*)

Квашеная капуста (*нем.*)

Нет уж. На Платаненаллее, 26, вам получше будет.

Это неважно (*нем.*)

Магазин скобяных изделий (*нем.*)

Трупное окоченение (*лат.*)

Магазинчик (*нем.*)

Рил — шотландский народный хороводный танец, ламент — похоронная песнь.

42

27°C

Вы француз (*фр.*)

Немецкое радио (ГДР).

Мемориальная церковь (*нем.*)

Марки-другой не найдется? *(нем.)*

Застрелены пограничниками (*нем.*)

Table of Contents

[Иэн Макьюэн Невинный, или Особые отношения](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

[22](#)

[Эпилог](#)

[Примечание автора](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

47